

СИБИРСКИЕ ОГНИ

**Литературно-художественный
и общественно-политический
ежемесячный журнал**

ВЫХОДИТ С МАРТА 1922 ГОДА

УЧРЕДИТЕЛЬ:

Правительство Новосибирской области

Редакционная коллегия:

Б. Л. Аюшеев (Улан-Удэ)

А. Б. Байбородин (Иркутск)

Б. Я. Бедюров (Горно-Алтайск)

Т. Г. Четверикова (Омск)

Б. С. Дугаров (Улан-Удэ)

А. В. Кирилин (Барнаул)

Э. И. Русаков (Красноярск)

А. Б. Шалин (Новосибирск)

Г. М. Прашкевич (Новосибирск)

Н. М. Закусина (Новосибирск)

Е. Ф. Мартышев (Новосибирск)

А. Ф. Косенков (Новосибирск)

В. С. Никифоров (Новосибирск)

Владимир Титов (ответственный секретарь)

Виталий Сероклинов (зав. отделом прозы)

Марина Акимова (зав. отделом поэзии)

Михаил Косарев (зав. отделом критики)

Дмитрий Рябов (зав. отделом публицистики)

9/2015

Главный редактор: М. Н. ЩУКИН

Содержание

ПРОЗА

- Алексей ЛЕСНЯНСКИЙ. Дежурные по стране. Роман. Окончание. ..3**
Анатолий КИРИЛИН. Купите девушке цветы! Рассказ.87

ПОЭЗИЯ

- Сергей КУБРИН. «Пока мы живы и бессмертны...» Стихи.82**
Лея СЕРЕБРЯНАЯ. «Зимы корбочка пустая...» Стихи.98

ДРАМАТУРГИЯ

- Кристина КАРМАЛИТА. История одного убийства.**
Геомагнитная буря в пяти картинах. 101

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АРХИВ

- Николай ШИПИЛОВ. «От чужого огня до ненастного дня...»**
Стихи и песни. 134
Переписка Н. Н. Яновского и В. П. Астафьева.
1965–1979. Продолжение. 142

ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

- Екатерина КРАСИЛЬНИКОВА. Пляски на костях:**
разрушение исторического некрополя Западной Сибири
в памяти разных поколений. 174

Книжная полка

- Станислав СЕКРЕТОВ. Хорошо там, где нас нет.**
О романе Олега Ермакова «С той стороны дерева»..... 185

Картинная галерея «Сибирских огней»

- Светлана ГОЛИКОВА. «Рыбачий берег» Натальи Нагорской. 188**

- Авторы номера 191*

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. За достоверность фактов несут ответственность авторы публикаций. Их мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции. Редакция оставляет за собой право опубликовать присланное произведение в журнальном варианте. При перепечатке материалов ссылка на «Сибирские огни» обязательна.

Журнал зарегистрирован в Мининформпечати РФ. Свидетельство о регистрации № 01302 от 27 ноября 1998 г. Главный редактор, директор-руководитель ГБУ «Редакция журнала «Сибирские огни» М. Н. Щукин.

Алексей ЛЕСНЯНСКИЙ

ДЕЖУРНЫЕ ПО СТРАНЕ

Р о м а н*

Глава 11

1 января 2000 года. Республика X. Район Y. Деревня Z в восьмидесяти пяти километрах от города N. Тридцать один день до времени «Ч».

— Здорово, братан! С наступившим тебя! — обнимал Васю Молотобойцева двоюродный брат Иван. — Какими судьбами? С лета ко мне носа не казал, с покоса самого не виделись. Отодрать бы тебя как следует... Совсем к старшему дорогу забыл. Как батька? Мамка как? Ванюша?

— Что напал-то? Все живы-здоровы вроде... Вы тут как?

— Помаленьку, Васёк. Я, как видишь, бороду отпустил. А работы... работы, сам понимаешь, нет. Хозяйством выживаем. Тут с Людкой двух бычков и свиноматку прикупили. Герефордов двух, значит, и ландрасиху на развод. Мясные породы. Бычки — не бычки, а натуральные квадраты. Пойдем в стайку, оценишь приобретение. Заодно корму задам... А че на куртехе повязка красная? Прикол, что ли, городской?

— Вроде того... — ответил Вася. — Дежурный я. По твоим стайкам дежурный. Авгиевы конюшни чистить приехал.

— Одобряю. Пожри с дороги, а там и приступим. Я пока к Людке в магазин сгоняю, она там продавцом второй месяц работает. Водки куплю, а вечерком раздавим бутылочку, приезд твой вспрыснем. Лады?.. Банька, соответственно...

— Заметано.

После плотного обеда братья Молотобойцевы чистили стайки. Вася начал оттаивать после шумной суеты города; в деревне он чувствовал себя в своей тарелке, не стеснялся быть самим собой: простым, грубоватым и прямодушным.

* Окончание. Начало см. «Сибирские огни», 2015, № 8.

— Ваня, а ты свое хозяйство любишь? — спросил Вася. — Ведь никуда от него не отойти. Пашешь тут без выходных и проходных. Коров держишь, коней, бычков, гусей, кур, цесарок...

— Я как-то об этом не думал, — опершись на подборную лопату, ответил Иван. — Тут не любовь... Мне просто на душе спокойней, когда животины сыты и здорова. Мы же с ней друг от дружки зависим. Вы вот собачек и кошек в городе для забавы заводите, от скуки там или от одиночества, а у нас все при деле, все — полноправные члены хозяйства. Собака сторожит дом, кошка мышей ловит, а о коровах я забочусь, потому что они мне молоко взамен дают, а быки — мясо. В общем, круговорот в природе. Быть накормленным, чтобы потом меня кормить... без остатка себя, к примеру, через мясо отдать. Они вправе отрывать меня от суббот и воскресений, и я никогда не злюсь на них за это, не нервничаю, так как своей хозяйской волей определяю, когда наступает их черед меня кормить. Каждый из нас выкладывается по очереди: сначала я, потом — они. Так испокон веку идет.

— А почему землю не пашете? Почему поля у вас пустуют?

— Техники нет.

— А будь у вас техника — пахали бы?

Иван отрицательно покачал головой и сказал:

— Нам уверенность нужна, что продукцию сдадим. За землей еще пуще, чем за скотиной, догляд нужен. Некогда на сбыт отвлекаться. Это тебе не город, что до пяти отработал — и свободен.

— А почему водку жрете?

— Потому и жрем, что по земле тоскуем. Уменьшились мы, половинчатыми стали. До размеров деревни уменьшились, а ведь поля, реки, леса — тоже деревня. Этого тебе никто не скажет, слов не подберет... Я тебе сейчас о том говорю, что в подкорке у всех сидит.

— Допустим, будет и сбыт. Возьметесь?

— И тут не возьмемся. Здоровая гордость за самое главное, за хлебное дело убита. Нас сейчас за самых последних считают. Попрыгунчиков с эстрады восхваляют, актеришек, политиканов. Пустьшки на умы влияют. Мне вот тридцать четыре года всего, а и то знаю, что нам каюк придет, они — следующие на вылет. Не смех и аплодисменты, а харчки пожнут.

— Хорошо... К примеру, пригласят тебя на какую-нибудь передачу. Что ты в прямом эфире скажешь?

— С какого перепуга я к ним ехать должен?! — полосонул Иван. — Пускай сами ко мне в гости приезжают. Накормлю, напою, спать уложу — не беспокойся. Не мы для них, а они для нас. Хотя бы только потому, что нас больше. И говорить мне особо ничего не надо. Пусть в деле меня снимают. За рулем комбайна, за окучиванием картошки, за ремонтом сенокосилки. Я им тогда в двух словах смысл жизни выражу, а земля за меня то доскажет, о чем в ее близости умолчу по необразованности. Нет, не по необразованности даже, а из уважения к ней, к земле...

Только ты не думай, что у меня все кругом крайние. Крестьянин сегодня справедливо страдает.

— За что?

— За что, за что... За все хорошее. За то, что от пашни отступился, за то, что тряпкой стал. А ведь и похуже, Вася, времена были. Хоть девятнадцатый век возьми... Барщина. Сам знаешь, что наши предки дармовой рабочей силой у помещиков были... и все равно продолжали сеять и убирать. А после отмены крепостного права крестьяне безземельными остались. И не жаловались, не ныли, а старались у хозяев землю выкупить. Работали, Вася. С утра до ночи пахали. Ты мужику в то время говенную глину во владение предложи — он бы из нее конфетный чернозем сделал. И нашел бы, на чем пахать. Сам бы при надобности в плуг впрягся... У нас ведь сейчас земельные паи есть, а мы...

— Что же делать-то теперь? — перебил Вася.

— Стайки чистить, — отрезал Иван.

Весь оставшийся день Вася мучился, не зная, с чего начать работу на своем участке. На свежем деревенском воздухе его энтузиазм начал улетучиваться, ведь одно дело — загореться какой-нибудь идеей, произвести в запале красивые речи и совсем другое — претворить задуманное в жизнь. Он знал для чего, но не имел ни малейшего понятия — как. И тут Вася вспомнил Мальчишку, который предупреждал, что в начале пути будет много трудностей, которых не следует опасаться.

Вечером Вася позвонил приятелю.

— Здорово, Лимон. Ты хотел купить мою иномарку. Не передумал?

— Нет.

— Отдам ее за сто пятьдесят кусков. Нахожусь в восьмидесяти пяти километрах от города по синегорской трассе. Деньги нужны завтра. Спросишь у деревенских, как найти Ивана Молотобойцева, они покажут.

— Йес, офкос. Пока.

— Бывай.

Братья Молотобойцевы парились в жарко натопленной бане. Городская грязь и сомнения выбрасывались из Васи вон. Хлебный дух, заполнивший парилку после того, как Иван поддал парку из ковшика, доверху наполненного домашним квасом, чудодейственным бальзамом умастил сердце студента экономического факультета. И Вася, не имея ни сил, ни желания сопротивляться накотившему блаженству, отрекся от города и присягнул деревне.

Когда братья, орудуя березовыми вениками, подобно удалым казакам на джигитовке, по очереди отхлестали друг друга, Вася перестал сдерживать чувства и, окатив себя холодной водой, пробасил:

— Все! К чертям собачьим учебу! Фуфайку мне! Фуфайку, дедовскую рубаху с косым воротом, галифе и сапоги хромовые! Сегодня, братан, пить будем! Гулять до зари и душу рвать! Расчехлить гармонь, гитару к бою! Хотя нет... Не надо гитар и гармоней... Петь будем, просто петь!



После бани братья Молотобойцевы пили водку. Они степенно закусывали родимую салом с прослойками, ядреными огурцами из кадки и строганиной, разжижая всю эту сухомятку наваристым бульоном из курицы, зарубленной гостеприимными хозяевами в честь приезда городского родственника.

— Вот что, Люда, — обратился Вася к хозяйке, опрокинув в организм шестую стопку и занюхав ее душистой головой Ивана. — Скажи-ка мне, какая проблема стоит перед вашим селом в данное время?

— Муженек мой дорогой к стопке часто стал прикладываться, — затараторила Люда, обрадовавшись возможности почесать язык и излить душу. — Ты бы хоть, Вася, повлиял на него, черта рыжего. Опуститься ведь недолго. Хоть Стёпку Плошкина возьми — ведь за три месяца мужик скурвился. Я Ване всегда Смирнова Димку в пример ставлю, а он и слышать о нем не хочет, говорит: «Хапуга твой Димка, я ему рожу набью». А он уже и машину купил, и сына в город пристроил.

— Цыц, баба, — стукнул кулаком Иван. — Че тебе вечно не хватает? В город он сына пристроил, видите ли... Наш Андрейка, как вырастет, при мне останется. Если потребуется, вдвоем с ним тута куковать будем, а с дедовой земли шага не ступим. Заруби это себе на носу! Рассказывай Ваське про общие проблемы села, а то человек ей про Фому, а она ему про Ерёму талдычит. Одно слово — баба: вместо языка — понос. — Иван смачно выругался.

— Можно и об этом, — вмиг утихомирилась Люда. — Главная проблема у нас такая, что мясо сдать не можем. Как зима, массовый забой, так рынки и колбасные цеха начинают цену ронять. А мы ж ведь сейчас только скотиной и живем. В общем, ждут все; большинство животину пока колоть не начинало. Другая проблема — сдать молоко. У населения председатель совхоза по три с половиной за литр скупает, а с молокозаводом по восемь рублей отбивается. Вот такая арифметика... Душат нас со всех сторон, а поделаться ничего не можем.

Вася ворочал стеклянными глазами. У него путались мысли, но сердце не пьянело и учащенным пульсом долбило по ушам: «Докатились... докатились... докатились...»

Ночью деревню накрыл Васин голос. В глубоком, пронзительном и светлом миноре разливались по улицам старинные и современные русские песни. В домах горел свет. Никто из деревенских и не думал ложиться спать, так как то, что начинается в ночь с 31 декабря на 1 января, может обуздать только старый Новый год, выпуская веселье отряды ряженой нечисти. Перед выходом из дома Вася поклялся себе, что сегодня он будет петь в последний раз, что раздарит свой голос жителям, речке, полям, лесам и лугам, что песня за песней выстроит на пригорке за огородами церквушку с маковками небывалой красоты и зарядит воздух народными напевами на годы и годы вперед.

Вася был услышан. Молодежь, направлявшаяся в сельский клуб на елку, останавливалась и замирала. Взрослые и старики прерывали раз-



говоры и выходили на улицу. Тысячи лучших певцов России возродились в Молотобойцеве. Колокольный перезвон, соловьиная трель, неизбывная тоска, колыхание дремучих лесов, журчание рек, дыхание пшеничных полей, народная мудрость, смиренная молитва святого, нелегкий труд пахаря — все это восстало из пепла, чтобы укрепить Веру, подарить Надежду и вознести на небывалые высоты Любовь.

До утра не умолкал Вася, посещая дома, гуляя по улицам в сопровождении десятков сельчан. Он пел настолько хорошо, что некоторые оказались еще не совсем готовы принять в свое сердце магическую силу песни, почему Васе досталось на орехи.

Дело было так. На заре один из десяти парней, выдержавших песенный марафон, произнес:

— До талого душу разбередил, Васька. Сейчас или заплачу, или на костыляю тебе... Выбирай.

— Лучше врежь, а завтра поговорим по трезвянке.

Загадочная русская душа в момент раскрытия напоминает пленника, освобожденного из мрачного подземелья. Душу ослепляет яркий солнечный свет, дразнит свежий воздух, поэтому, освободившись от материальных пут, она часто ведет себя непредсказуемо. Вася знал народный инстинкт, поэтому дал себя поколотить. Сам тоже в долгу не остался, украсив лица трех парней темно-синей краской. Потом компания выпила мировую и отправилась к Ивану. Четыре человека, не вязавшие лыка, были взвалены на плечи, доставлены до Молотобойцева-старшего, разложены на полу валетом и бережно укрыты одеялами. Остальные семь человек улеглись рядом, и уже через минуту в хате раздавался здоровый храп простых и честных людей.

Утром парней разбудил Иван:

— Рота, подъем! Все на улицу! Гольный торс! Устроим обтирание... Это вам плата за ночлег, ха-ха-ха!.. А ты, Васёк, иди во времянку. К тебе дружан из города приехал. Чай гоняет, деньги, говорит, какие-то привез.

Вася прошел во времянку. Там Лимон за обе щеки уплетал пирожки с картошкой.

— Здорово, Андрюха.

— Хай, жиган, — с набитым ртом ответил Лимон, выпил кружку парного молока и продолжил: — Реальное сельпо. Доярки — кровь с молоком. Я уже присмотрел тут пару девок, пока тебя разыскивал... Вот что, Васёк. Давно мечтаю покувыркаться с деревенскими телками на сеновале. Подгонишь какую-нибудь красотку, а?.. Сам-то, наверное, уже оторвался здесь по полной программе, всех перетоптал...

— Ну... половину точно оприходовал, — хвастливо заявил Молотобойцев.

— Зачем тебе столько бабок? — спросил Лимон.

— Развlechься хочу... по-крупному.

— Не понял...

— Деревню с потрохами куплю.

— За сто пятьдесят косарей?
 — Это я еще завысил цену... Бары, девки — все надоело. Экстрима хочу.

— Понимаю.

— Ни фиги ты не понимаешь.

— А тачку не жалко? Тебе же ее родоки на восемнадцать лет подарили. Между прочим, на их деньги иномарка куплена, — куснул Лимон.

— А ты на кровно заработанные гуляешь! — огрызнулся Вася в ответ.

— Ладно, не кипятись. — Лимон открыл спортивную сумку. — Здесь все до копейки. Пересчитывать будешь?

— Верю... Короче, Андрюха, просьба у меня к тебе есть.

— Говори.

— У тебя же вроде батя на госзаказе сидит.

— Но.

— Не в курсе, по какой цене мясо скупает?

— Говядина — девяносто четыре рубля за килограмм. Слышал, как он с поставщиками по телефону базарил.

«На двадцать четыре рубля больше, чем предлагают деревенским перекупщики», — подумал Вася, а вслух сказал:

— Мне нужно сдать двадцать тонн.

— Где столько возьмешь?

— С этой деревни соберу.

— Зачем тебе это?

— Финансовый интерес имею. Если поможешь, скину цену с тачки. Не за сто пятьдесят, а за сто двадцать отдам. Тридцать кусков уступлю... Подумай.

— Заманчивое предложение, — вяло произнес Лимон. — Только сначала объясни, че у тебя на рукаве. Я такую же повязку видел у Левандовского. Фишка, что ли, новая?

— Вроде того... Что думаешь насчет моего предложения?

— Заметано... Только вот что... Иномару куплю за сто пятьдесят, как договаривались.

У Васи поднялись брови:

— А скидка за услугу? Рождественская, Лимон. Я же от чистого сердца.

— Пошел ты со своей скидкой, Молотобоец. Ты меня, как вижу, за продажную тварь принимаешь. А почему не пятьдесят сбросил? Почему не двадцать, а именно тридцать? Иудушку во мне увидел, да?.. Думаешь, что я уже просто так помочь не могу? Думаешь, у меня язык отсохнет, если я два словечка за тебя перед батей замолвлю?

— Прости, Андрюха. Я ведь думал...

— Плевать мне, что ты думал, — резко произнес Лимон. — Иван в отличие от тебя — здоровый мужик. Считаю, что я у твоего брательника за



тридцать кусков пирожки с молоком купил. С ним есть о чем потолковать. С тобой же мне базарить не о чем. — Лимон поднялся и пошел к двери.

— Андрюха, тормози. Мне ведь твой отец нужен, чтобы...

— Содрать с деревенских три шкуры, так?.. — развернувшись в дверях на сто восемьдесят градусов, бросил Лимон. — Эх ты... Ладно, по-могу. Может, когда наварись на них, совесть в тебе проснется, хотя...

— За базаром следи! — вспыхнул Вася.

— За своим паси! — ответил Лимон в пику Молотобойцеву и вышел.

Вася заметался по времянке как тигр в клетке. Он был вне себя от ярости. Два противоречивых чувства боролись в нем. С одной стороны — ненависть к Лимону, за то что этот человек не захотел его выслушать, с другой — глубокое уважение к приятелю, который на поверку оказался не таким уж плохим парнем, каким его все привыкли считать.

«Докатился, блин, — сев на табуретку, подумал Молотобойцев. — Вроде всегда отличал правду от лжи, добро от зла. А теперь негодяи под нормальных работают, нормальные — под негодяев косят, чтобы выжить, запутать всех, сохранить душу в неприкосновенности. Маскарад... Карнавал почище бразильского; как хочешь, так и разбирайся, кто перед тобой... Лимон, Лимон... Думаешь, я забыл, как однажды, напившись в умат, ты декламировал нам свои стихи... В них было столько искреннего чувства и понимания жизни во всех ее тонкостях, что мы опешили. Зачем же ты, закончив чтение, сказал нам, что это творчество наивного поэта Эрнеста Окаянного из Пензы? Зачем? Зачем ты высмеивал самого себя, с пеной у рта доказывая нам, что это не ты, что такую доблестную чепуху в наше время могут нацарапать только выжившие из ума идиоты? Почему ты начал доказывать нам, что сейчас надо писать о силе денег, красивом времяпрепровождении в Куршевеле, диких оргиях в клубах и барах?.. Тогда твои аргументы были очень убедительны, Лимон, и мы соглашались с тобой. Ненавидели тебя и себя, но со всем соглашались, а потом клялись, что заработаем миллионы и купим всех с потрохами, потому что только с набитыми карманами нас будут любить женщины и уважать мужчины... Только вот любить и уважать нас никто не будет; нам станут лишь завидовать, вот и все...»

Вася вышел на улицу и погрузил голову в сугроб. Под надзором Ивана деревенские парни заканчивали обтирание.

— Пацаны, будете работать у меня? — спросил Вася.

— Смотря сколько забашляешь... Если две тыщи заплатишь, я готов, — сказал Максим Кичеев, парень двадцати двух лет с копной соломенных волос на бедовой голове.

— Что-то ты свою работу ни во что не ставишь, Кичей. Два косяка — предел мечтаний, что ли?.. По пять тысяч на рыло даю. Если согласны, представьтесь кратко, а то я некоторых не очень хорошо знаю. Имя, фамилия, год рождения, навыки, умения...

Парни переглянулись и стали представляться.



— Кичеев Серёга, восьмидесятого года рождения. На тракторе могу и по хозяйству... Давай, Дрон.

— Ильюха Дронов. С восемьдесят третьего я. И украсть могу, и покараулить. Своих пацанов не сдаю. Также батя плотничать научил, но это, я думаю, не пригодится... Следующий.

— Лёха Гаршин. Семнадцать с гаком мне. В машинах шарю, в мотоциклах. Движки, короче, за пять секунд перебираю. Если не веришь, у всех спроси... Давай теперь ты, Колян.

— Николай, для своих — Колян. А фамилию тебе знать не обязательно. Че скажешь — сделаю. Все могу, а по железу — ваще все...

— А меня ты, децл, знаешь. По лету пару раз бухали с тобой. Миха, если забыл. Удар у тебя здоровый. Уважаю.

— Нам тоже представляться? — в голос сказали пять оставшихся парней, один из которых продолжил: — Глупо. С детства друг друга знаем. Помнишь, как подсолнухи у деда Зырянова ночью воровали? А как на речке с теми же Антохой и Бульгой?

— Не помню, — произнес Вася и продолжил: — Мы с вами, может, и зажигали по детству, но никогда не работали вместе. Вместе гулять и вместе работать — не одно и то же, так что прошу представиться всех.

— Ха, всех так всех, шеф... Теперь, наверно, так придется тебя называть. Ладно, от меня точно не убудет. Вовка Остапенко. Я с восемьдесят первого, как и ты. За пять кусков в ад за тобой пойду, если потребуется. Грешники нападут — прикрою. Надо будет — там и останусь. Чутье у меня, что неспроста ты нас вербуешь. Глаза у тебя блестят, башка у тебя какая-то ненормальная стала.

— Антон Варфоломеев. Фронт работы обозначь. Грабить, как я понял, никого не будем. Говори, что за работа, а то я уже нервничаю.

— Петруха Бульгин. Десантура. Разведзвод. Достаточно.

— Васёк, ну мне ли тебе представляться... Две недели вместе на «Сорокозерках» жили. Я тебя еще сети ставить учил... — Молотобойцев строго посмотрел на приятеля. — Понял. Все понял, Васёк. Забыл так забыл... Федя я. Фёдор Гуснетдинов. Спец в охоте и рыбалке. Все места знаю.

Иван Молотобойцев терялся в догадках, чего же хочет добиться от парней его брат. Он уже понял, что после завершения работы Вася заплатит ребятам деньги, полученные от продажи автомобиля, но какой будет эта работа — вот вопрос. Иван еще вчера заметил, что Вася очень изменился после того, как они с ним расстались четыре месяца назад...

— Иван! Иван! Ваня! Брат! — сложив ладони лодочкой, кричал Вася в ухо брату. — Где витаешь? Очнись! Сколько уже можно орать... Красная материя есть или нет?

— Оставайся у меня, Вася, — невпопад ответил Иван и глупо улыбнулся. — Построиться помогу. Заживем.

— Нет, я не смогу здесь жить, — серьезно сказал Вася. — Я ведь у тебя в гостях энергией подзаряжаюсь, потому что все мы родом из дерев-



ни. Тут наши корни, Иван. После того как у тебя побываю, город больше люблю. Если с концами в деревне поселюсь — затоскую. Оставшись — привыкну. Привыкнув — захрясну. Мне ведь деревня для сверки необходима. Пульс вырабатываю. У города — учащенный, у вас — слабый пока, а мне нормальный нужен, чтобы хорошо себя чувствовать. Нигде мне в полном объеме не нравится, поэтому и мечусь туда-сюда. Полугородской или недодеревенский — вот весь я... Короче, это все философия, а мне красная материя требуется. Пацанам на повязки. Найдешь?

— У Люды спросить надо, однако. Думаю, что найдется для тебя кумач. Горн, случаем, не требуется? А то прямо пионеры какая-то.

— С горном — тоже тема. И барабан бы. Я учился в музыкальной школе, немного умею играть, — ответил Вася. — А частичку знамени, галстук, на рукав переместим, чтоб не душил. Кто начнет задавать глупые вопросы, зачем, мол, мне все это надо, будет сразу уволен без объяснения причин. Ваша задача — выполнять то, что я скажу... Говоришь, в ад за мной пойдешь, Вовка?

— Угу.

— Так вот... в ад не надо. Достань горн и барабан. Хоть всю деревню перетряси, а сегодня же принеси мне инструменты.

— Хорошо, Васёк. Считай, что они уже у тебя.

— Вот и славно, — потянувшись, произнес Вася. — Вижу, что ребята вы толковые. Сработаемся. С Остапенко — горн и барабан, остальным — точить ножи, готовить паяльные лампы, забыть на месяц о спиртном, найти еще десять нормальных пацанов, которые согласятся на меня работать. Как протрублю «Зорьку», считайте сезон массового забоя крупного рогатого скота открытым. Это может произойти в любой момент, так что вымойте сегодня уши. И скажите родителям, что цена за кило — девяносто четыре рубля, за базар отвечаю. Как свою скотину заколете, начинаете помогать односельчанам. В деревне много стариков, которые по немощности вынуждены нанимать забойщиков; вы же будете колоть их бычков и телок бесплатно. Если узнаю, что кто-то из вас взял с пенсионера деньги, выбью зубы, не цацкаясь. Миха вчера опробовал мой удар. Напомню, что моя фамилия — Молотобойцев. Она происходит от словосочетания «молотом бью». Если вопросов нет — свободны. Ждите сигнала.

Вечером братья совершили конную прогулку по деревенским окрестностям. Вася ехал на спокойной рыжей кобыле, Иван — на холеном сером жеребце. Остановившись в лесопосадке, от которой в обе стороны тянулись запорошенные снегом поля, помолчали. Застывшие в седлах, с устремленными вперед взорами, братья напоминали былинных богатырей на пограничье.

— Так и жизнь наша, Вася, — заметил Иван. — Полоса белая, лесополоса, полоса белая, лесополоса. Солнце закатывается. Тронули, пока не стемнело.

— Ага.



— Ничего мне напоследок сказать не хочешь?

— Нет вроде.

— Ладно, пытаться не стану. Только послушай меня. Видишь, как вокруг нас деревья плотно посажены? Сосны копейным частоколом стоят, древко к древку. Ширина лесопосадки — всего шесть метров, а с маху пройти — не пройдешь. Один, конечно, продерешься, протиснешься, но с тобой ведь конь, тебе о нем тоже думать надо. Выйдешь в чисто поле один — конец и тебе и коню. При всем желании ума земле не дашь, так как один управляет плугом, другой его тащит. Так испокон веку поставлено. В тебе — ум, в коне — сила. Ум без силы — ничто, как и сила без ума. В общем, напрямки у тебя вряд ли получится. Тысячу метров, может быть, надо будет вдоль лесополосы двигаться, пока нормальный проход не найдешь. Понимаешь, о чем я?

— Нет.

— Врешь. Все ты понял, насквозь тебя вижу. Смотри теперь. Распустишь сопля — грош тебе цена тогда.

Прошло два дня. Лимон не подвел. В обед третьего января в деревню приехал представитель его отца; он разыскал Васю и сказал, что завтра в шесть часов вечера из города придут рефрижераторы. Иван, присутствовавший при разговоре, уточнил закупочную цену и пошел оповещать односельчан, но Вася остановил брата:

— Не вмешивайся. Тебе лишь бы мясо сдать, а мне сказка нужна, чудо, если хочешь. Сам знаю — когда, что и как.

Представитель, с недоверием посмотрев на Васю, произнес:

— Из говядины, что ли, сказку сделать хочешь? Что-то мне все это не нравится. Завтра будут задействованы люди, машины, деньги. Ты уверен, что выдашь мне двадцать тонн? Это приблизительно сто голов. Это тебе не шутки шутить, Шарль Перро. Это серьезное дело. Это госзаказ, парень.

— Да не волнуйтесь вы так, Александр Семёнович, — сказал Вася. — Я прекрасно понимаю, что такое госзаказ. Я его выполню. Точно и в срок. У меня двадцать парней с руками и мозгами. Двадцать тонн для двадцати парней — не проблема. Завтра к 18:00 ждем рефы.

— Хорошо, — сказал Александр Семёнович. — Знай, что за тебя поручился своей головой сын шефа. Не буду скрывать, что лично я был против сотрудничества с тобой. Ветреная и безответственная сейчас молодежь. Если сорвешь предприятие, многим не поздоровится: твоему другу, его отцу, мне и многим другим... Кстати, тебе просили передать кое-что... — Александр Семёнович вытащил из внутреннего кармана пиджака красную повязку и вручил ее Васе. — Держи, парень. С ума все походили, что ли?.. Ничего не понимаю. Может, объяснишь?

Вася поднялся со стула и снял кофту.

На левом рукаве голубой рубашки краснела повязка, ничем не отличающаяся от той, которую передал студенту Александр Семёнович.

— Пожалуйста, скажите Андрею, что Молотобойцев не подведет, — произнес Вася. — Пускай за город переживают, а за моих не надо... Хотите чайку?

— Нет, спасибо. Мне пора.

— Я провожу, — засуетился Иван. — Не волнуйтесь, все будет по плану...

В ночь с третьего на четвертое января Вася спал спокойно. Его не мучили кошмары. И та самая Россия, о которой Молотобойцев и его друзья с недавнего времени думали и говорили не иначе, как о живой женщине, стояла у изголовья своего сына и охраняла его сон...

Утро для Васи Молотобойцева началось затемно. Иван сорвал с брата одеяло, терпеливо подождал, пока младший брат расклеит глаза, и сказал:

— Завтрак на столе, лежебока. Кто рано встает, тому бог дает.

Добрую минуту студент хлопал глазами, силясь понять, где он находится и почему его подняли так рано.

— Одно слово — город... Все не как у людей. Днем спят, ночью шарятся... Природный уклад нарушаете, поэтому ничего не успеваете. Вечером у вас бессонница, а утро почему-то в обед начинается, — сказал Иван.

— Сова я, — буркнул Вася. — Особенности организма знать надо, биологические ритмы. Совы и жаворонки. Наука.

— Соня ты, а не сова, — улыбнулся Иван. — Хочешь, всю вашу науку одним ведром колодезной воды под хвост пущу? Мигом жаворонком станешь!

Угроза подействовала эффективно. Вася вскочил с постели и начал лихорадочно одеваться. Иван с ехидством наблюдал за братом, который никак не мог попасть ногой в штанину.

— Кому суетишься? — спросил Иван. — Мысли у тебя рваные. Думай о том, что в данный момент делаешь. Суета — помеха для дела. Всему тебя учить надо, студент.

Умывшись и позавтракав, Вася взял музыкальные инструменты, которые ему принес Вовка Остапенко, и вышел во двор.

— Как жить-то хорошо! — с восторгом произнес студент. — Петухи, песню запевай!

И тут произошло маленькое чудо, о котором Вася будет вспоминать всю жизнь. Началась переключка деревенских часовых. Выпучив глазные мячики, вытянув горло, первым заголосил пестрый забияка брата Ивана. Сдвинув алую пилотку-гребень набок, подхватил знакомый мотив черный соседский петух. Потом вступили задиристые горлопаны деда Кузьмы...

Вася снял фуфайку, зашвырнул в огород шапку, перекинул через плечо барабан, приладил к горну насадку, чтобы на морозе не прилипали губы, и полез на крышу.

— Стой! Куда попер? — крикнул снизу вышедший на крыльцо Иван. — А-а... давай, пропади все пропадом!.. С богом, брат.



А потом произошло событие, о котором уже никогда не забудет деревня. В тишине морозного утра, раздирая завесу ночи, выплеснулись на зарю призывные звуки пионерского горна. Разбрызгав ноты на четыре стороны света, выкрасив округу в радужные цвета, духовой инструмент замолчал, уступая место товарищу из ударной когорты. Прошло три секунды, и разговелся после длительного поста в пыльной школьной каморке барабан. Разогрев затяжной дробью заоченевшие на холоде руки, студент обернулся назад и отдал приказ невидимым полкам:

— Развернуть знамена! Первая колонна вперед — марш! Сомкнуть ряды, держать строй, четче шаг, рядовые переходного периода! Трусам — позор, павшим — слава, победителям — почет!.. Эх, Левандовский, видел бы ты это...

— Бравый барабанщик, бравый барабанщик, бравый барабанщик по-ги-бал! — выбивал ударный инструмент, салютуя зорьке, уведомляя деревню о начале массового забоя крупного рогатого скота.

Целый час Вася трубил и барабанил, не переставая наблюдать за тем, что происходит вокруг. Заспанные сельчане выходили за ворота; они ежились от холода, переминались с ноги на ногу и с недоумением пожимали плечами, стараясь понять, какая нелегкая занесла молодого человека на крышу. Одни с удовольствием слушали музыкальные марши, другие крутили у виска, третьи, озадачившись, несли свои вопросы к соседям, которые тоже разводили руками. А Вася ждал только своих ребят. Его бросало то в жар, то в холод. Он никогда и никого так не ждал.

И они показались. На всех улицах и в переулках замелькали люди с красными повязками на рукавах; они перебежали от дома к дому и что-то объясняли односельчанам.

— Через два часа буду, баб Мань, — выпалил соседке Лёха Гаршин. — Жди. Как своего Борьку заколю, так сразу за твоего Мишку возьмусь. Час твоего быка пробил, бабуля.

— С чего это, касатик?

— Долго объяснять. Сдашь мясо по девяносто четыре рубля за кило. Слово.

— Не может быть, родненький!

— Точно тебе говорю. Посмотри на мою руку. У нас у всех такие повязки. На госзаказ работаем.

— Тимуровцы, че ль?

— Кто такие?

— Так это, сынок, таки пионеры, каки...

— Некогда мне про твоих тимуровцев слушать, других предупредить надо. В общем, жди, — перебил старушку Гаршин и выбежал из дома.

Забой прошел без срывов, потому что в успешном завершении дела были заинтересованы все участвовавшие стороны: деревня, государство и Молотобойцев. За день Вася многому научился. Он с интересом и восхищением наблюдал за тем, как быстро и качественно сельчане разделявают туши, как преображаются лица людей, когда дело доходит до работы, и

думал о том, что интеллигенция всегда будет отставать от крестьянства: литература, искусство, живопись, наука — всего лишь производные от человека, идущего за плугом...

— Что-то в тебе есть, Василий, — сказал Александр Семенович, когда рефрижераторы были заполнены мясом. — Прощай, что ли...

— Если что-то есть, тогда не прощайте, а до свидания. В две тысячи четвертом выпускаюсь, а в стране такая безработица, такая безработица...

— Намек понял. Хочешь, чтобы я тебя без стажа на работу взял?

— Нет, я уж как-нибудь сам. Лучше кого-нибудь другого возьми. Сразу и без лишних вопросов. Так и скажите парню или девчонке: «О твоём трудоустройстве позаботился один студент четыре года назад. Ты его не знаешь, он тебя тоже». Пообещайте, пожалуйста, что выполните мою просьбу...

— Добро... Только мне кажется, что страна должна знать своих героев. Я назову твое имя.

— А вот этого не надо. Пусть будущий молодой специалист думает, что ему помог кто-то из города; в каждом встречном тогда хорошего человека видеть будет.

— Да, недооценил я тебя... Держи пять, студент. Интересно, много вас таких?

— Какова вероятность, что вы встретите слона в Сибири? — вопросом на вопрос ответил Вася.

— Не знаю. Мизерная, наверное...

— Не угадали. Пятьдесят на пятьдесят — или встретите, или не встретите... В общем, как вы поняли, нас таких ровно половина.

— Хэ... — хмыкнул Александр Семёнович. — Это радует. Спасибо. Если все-таки будешь нуждаться в работе — обращайся.

— Не благодарите меня. Я сейчас говорил в стиле своего друга Яши. Шесть человек во мне сидит. Один во всех, и все — в одном.

Вася ликовал, сегодня был его день: все задуманное удалось осуществить. Он поблагодарил парней и отправил их по домам, сказав, чтобы завтра они подошли к Ивану к восьми часам утра.

— Будем без опозданий, — ответил за всех Илья Дронов. — Мы же не слепые. Видим, что для всей деревни стараешься, а нам еще и деньги платишь. Ты запретил спрашивать тебя о чем-либо, но нам все-таки интересно, какую цель преследуешь?

— Ты уволен, — бросил Вася.

— Я пошутил. Че так сразу-то?

— Снова принят. Все свободны.

Парни стали расходиться. Они изредка оборачивались назад, при этом их лица с наморщенными лбами хранили вопросительно-озабоченное выражение.

«Загадал я им загадку, — подумал студент. — Теперь до смерти разгадывать будут. Думайте, терзайтесь и делайте выводы сами... Я — тер-



пеливый старатель. Деревня — прииск. Вы — золотой песок, который надо намыть. Задача нелегкая, но выполнимая. — Вася закурил сигарету. — Я не могу вместо вас засеять поля, потому что в сельском хозяйстве ничего не смыслу. Поэтому буду сеять в сердцах. Завтра же начнете работать у своих односельчан, парни. Все нуждающиеся получают от нас необходимую помощь. Бабушек, малообеспеченных, многодетных — всех за этот месяц обойдем...»

В девять часов вечера Вася спросил у брата, где проживает директор совхоза, и отправился по указанному адресу. У ворот усадьбы, обнесенной двухметровым кирпичным забором с бойницами, студента переполнило чувство негодования; он долго топтался на одном месте, пока не потушил ярость и не привел мысли в порядок. Успокоившись, засунул два пальца в рот и свистнул. Залаяли собаки. Через минуту из ворот вышел человек, похожий на откормленного хряка.

— Че рассветелся, молокосос?.. Кто такой?

— А представляться уже не надо, — ответил Вася. — Я действительно молокосос. С этой деревни молоко теперь сосать буду я... и других молокососов-конкурентов рядом с собой не потерплю.

— А-а, узнаю, узнаю... — сказал директор, сцепив пухлые руки в замок. — С госзаказом связан. Вася Молотобойцев. Наслышан. Неплохо ты дельце провернул.

— Знаете что... — мечтательно перебил Вася. — Такие же хоромы хочу. Такой же дворец, такие же кремлевские стены, чтобы от всякой дряни отгородиться и жить себе припеваючи... Кстати, собаки какой породы?

— Волкодавы.

— Понимаю. Волков, значит, позорных давят. Это хорошо. Таких же хочу. Главное, чтобы на хозяина не бросались.

— Чего тебе надо, парень? — зло спросил директор.

— С завтрашнего дня будете закупать молоко по семь рублей.

— С какой стати?

— С такой. Не стану рассказывать, что в наше время значат связи наверху. Я в деревне всего четыре дня, а уже кое-что успел сделать. Если останусь здесь навсегда — вам крышка. Пара звонков — и все.

— По семь не пойдет. Затраты на горючее, зарплата шоферам, запчасти для машин... Плюс молоко разводят водой... Шесть рублей.

— Отлично, — сразу согласился Вася. — Я же не мироед какой-нибудь, все понимаю. Только смотрите... как вас там?

— Михаил Дмитрич.

— В общем, смотрите, Михаил Дмитриевич. Дело под личный контроль беру.

— Зачем тебе все это надо, студент? — пробуравив Васю взглядом, спросил директор. — Мутный ты какой-то.

— Сговорились вы все, что ли? Зачем, зачем... Мне самому интересно — зачем. А если серьезно, то на свет рождаются два типа людей. Достигнув зрелости, один тип определяется на работу, другой — на служ-

бу. Если найдете между этими понятиями десять отличий, получите ответ на свой вопрос.

— Не пудри мне мозги. Военные служат... Чиновники, менты, священники, врачи.

— А вот и нет. Многие из них сейчас работают, а не служат. Следовательно, вместо них начал служить кто-то другой, потому что свято место пустовать не должно.

На следующее утро Вася поздоровался за руку со своими товарищами, собравшимися возле дома Ивана, после чего задал несколько вопросов:

— Сколько отсутствующих?.. Причины?.. По какой цене час назад закупалось молоко?.. Разбавлялось ли водой?

Васе ответили, что отсутствующих двое, которые просили передать, что выйдут на работу через три дня, когда мало-мало оклемаются после гриппа. Насчет молока Ильюха Дронов заметил:

— Как бодяжили, так и будем бодяжить, потому как директор — сволочь и вор, хоть и скупал сегодня по шесть рублей за литру.

— Понятно, — произнес Вася. — Делайте что хотите, а на мою помощь можете больше не рассчитывать. Хочешь как лучше, а получается как всегда. Скажите всем, что если станут и дальше разбавлять, то директор снова обвалит цену. Теперь абсолютно от каждого зависит, какой будет конечная жирность продукта. Из-за одного нечистоплотного человека могут все пострадать. Я бы на месте директора с каждого литра пробу брал, но он этого не делает, потому что ему проще дешево молоко закупать, чем нервы себе и вам трепать.

— Кружку на ведро всего. Че такого? — буркнул Дронов. — А он-то тебе, наверно, расписал, что мы наполовину разводим. Его бабенки, которые за приемку молока отвечают, тоже ведь шарят. Нюх у них, без лаборатории обходятся... В общем, нет у нас таких, которые бодяжат.

— А зачем тогда врешь, что разбавляете? — взъелся Вася.

— А че ты веришь этому борову?! — зло бросил Дронов. — Он тебе лапши на уши накидал, а ты и раскис. Меня это задело, поэтому и сказал, что разводим.

Вася сделал вывод, что голова у деревенского жителя устроена как-то по-другому, поэтому впредь решил быть осторожней в речах и поступках.

Восьмидесятилетняя бабушка Агафья, о которой уже несколько лет не вспоминала единственная дочь, растапливала печку, когда услышала на улице крики. Старушка вздрогнула и засемила к окну. Раздвинув зажатые мухами занавески, она прильнула к стеклу и всплеснула руками, потому что у нее зарябило в глазах от людского столпотворения перед ее палисадником.

«Господи, че стряслось-то... Иль война? — подумала Агафья. — Одни напасти... Скорей бы уж Бог прибрал».

Она вытерла желтые высохшие руки о фартук, поправила на голове зеленый платок и, шаркая по деревянному полу негнувшимися ногами, поспешила на улицу.



Вася на секунду опешил, когда из калитки вышла маленькая сморщенная старушка, трясущийся подбородок которой шел на соединение с крючковатым носом.

— Здравствуй, бабушка, — сказал Вася.

— Здравствуй, мил человек.

— Помогать тебе пришли. Запустишь нас... или как?

— Да у меня не прибрано, сынок. Грязища кругом.

— Затем и пришли. За пару часов из твоей избушки на курьих ножках дворец царский сделаем.

— Чаво? Недослышу я...

— Хоромы, говорю, из твоей развалюхи отгрохаем! — прибавил громкость Вася.

— Иль президент тебе наказал? Не может того быть! Неужто... сам Борис Николаич?

— Нет больше Ельцина.

— Свят, свят, — закрестилась Агафья. — Преставился, сердешный. Какой-никакой, а человек все ж таки был. Царство ему небесное.

— Куда там, — рассмеялся Вася. — Живее всех живых.

— Ну?! — не поверила старушка.

— Вот тебе и «ну», бабуля. На пенсии он теперь. Путина вместо себя назначил. Так и сказал народу: «Верьте этому человеку, как мне».

— И верят?

— Как будто у нас выбор есть, — сказал Вася. — Верят, конечно.

— Так это, выходит, он тебе телеграмму отбил, чтоб мне помочь-то?

— Он самый. Так и написал мне: «Василий, ты, конечно, в курсе, какое мне досталось наследство. Государство наше большое, и я не справляюсь. Ты уж постарайся, чтоб я о бабушке Агафье и думать забыл, не до нее мне. Передаю тебе все полномочия. С глубоким уважением, и. о. президента Путин».

Парни, стоявшие за спиной студента, давились от смеха. Бабушка Агафья качала головой. Вася же никогда не был так серьезен, как сейчас.

— И плату не возьмете? — спросила старушка. — А то вчера Антошка Варфоломеев с Колькой Кудрявцевым кормилицу мою закололи, помогли сдать ее, значит, а потом расчет потребовали... Одной вы артели?

Вася изменился в лице, и в гулкой тишине, наступившей после слов бабушки, был отчетливо слышен хруст его шейных позвонков. Парни попятились назад. С каждой секундой пространство вокруг Васи расширялось.

— Суки... Гниды... Мочить тварей... С божьего одуванчика содрали... Отдай их нам... Уроем гадов! — донеслось до студента.

«Пойду на поводу у толпы — конец... Растеряюсь сейчас — конец... Дам волю ярости — конец. Позволю разгадать себя — конец... Не подведи, бабушка!»

Вася повернулся назад через левое плечо, словно настоящий солдат, и спокойно произнес:

— Колян, Антоха, идите-ка сюда.

Провинившиеся парни отделились от толпы, подошли к студенту и потупили головы.

— Баб Гаша, — ласково начал Вася, — ты, пожалуйста, вспомни, что сама деньги парням вручила. Они упирались, а ты на своем настаивала. Ведь было же такое? — Старушка подняла выцветшие глаза на студента и увидела на его лице такую немую скорбь, что ее сердце тут же наполнилось беспричинной жалостью к парню и тревогой за него.

— Припоминаю, сынок. Все было... как ты говоришь. Запомню-ла я. Я им — берите, а они ни в какую. Еле взять уговорила.

— Ничего страшного, со всяким бывает, — сказал Вася и поблагодарил старушку взглядом.

Деревенские парни оторопели. А Варфоломеев с Кудрявцевым вообще испытали шок, потому что не понимали, какими мотивами руководствовался студент, когда решил взять их под свою защиту.

А потом сельская молодежь дружно работала на подворье у бабушки Агафьи. Ребята красили, белили, мыли, кололи, скребли, колотили, сверлили, чистили, переносили, строили, готовили, чинили и подметали. Вася только успевал отсчитывать деньги на необходимые материалы, которые покупались в промышленном отделе центрального магазина. В течение пяти часов в хозяйстве забытой всеми старушки не умолкала деловая перебранка плотников и маляров, каменщиков и сварщиков, монтажников и электриков, трубочистов и печников. Студент с радостью отметил про себя, что нет ни одной рабочей профессии, которой бы не владел хотя бы один из двадцати его парней...

Так прошло еще двадцать пять дней. О Васе Молотобойцеве судачила вся деревня, а он только посмеивался и помогал людям.

Ранним утром 31 января к нему пришел Вовка Остапенко.

— Уезжаешь? — спросил Вовка.

— Да.

— А мы?

— Сами теперь, — ответил Вася. — Кстати, где остальные? Сегодня день полочки, если что.

— Я за всех... Мы вчера с пацанами побакланили и решили, что денег не возьмем. Я говорить не умею, Васёк, но ты меня понял. В общем, спасибо тебе за все.

— Деньги возьмете, иначе я их по ветру развею. И вот что... Приезжайте-ка завтра в город. Прошвырнитесь по рынку, сходите в кино, а вечером отправляйтесь на Советскую, 132.

— Че за адрес?

— Адрес «Надежды».

— Какой еще Надежды?

— На лучшее, Вова.

— Опять тайны?

— Не опять, а снова. Завтра всё поймете.

Через два часа Вася оставил деревню. От ста пятидесяти тысяч у него осталось восемьдесят рублей на обратный проезд...

Глава 12

6 января 2000 года. Город N. Парикмахерская. Двадцать шесть дней до времени «Ч».

— Какую стрижку хотите, молодой человек? — вежливо спросила симпатичная девушка, кокетливо прикоснувшись к плечу Левандовского. — Может, модельную? Вам очень пойдет.

— Моделей и так хватает, — улыбнувшись, ответил Алексей. — Раньше метили в наполеоны, теперь — в модели. Надоело. Побрейте меня наголо.

— Совсем? — удивилась девушка.

— Я же не Самсон, у которого вся сила в волосах, — ухмыльнулся Левандовский. — Повторяю еще раз: под Котовского. Под глобус. Под ноль.

— В армию готовитесь?

— Да... Только в нацистскую.

— Шутите...

Покинув парикмахерскую лысым полуфашистом, студент почувствовал, что его самоуверенность и отвагу состригли вместе с русой шевелюрой. Он стал говорить самому себе, что надо продолжить перевоплощение в полноценного фашиста, иначе его примут за призывника-добровольца, готовящегося к службе в армии.

«И как им не страшно нацистами становиться? — думал Левандовский. — От недостатка информации, что ли? Об одном только Бабьем Яре вспомню — мурашки бегут... А взрослые люди с равнодушиемзирают на подростковую и юношескую дьяволиаду. Нет, не с равнодушием даже, а с молчаливым одобрением...»

В ночь перед Рождеством отец выгнал Алексея из дома.

— Где шарахался опять? Одиннадцатый час ночи. Сколько мать может мучиться с тобой? — начал выговаривать отец. — И что за одежда на тебе?

— Я теперь скинхед, папа.

— Что?

— Ты не ослышался. Я примкнул к нацистам по идейным убеждениям. Целиком и полностью разделяю их взгляды.

— Целиком и полностью? — съязвил отец.

— Да.

— Разделяешь?

— Разделяю.

— Чтобы через минуту духу твоего в моем доме не было. Иди куда хочешь, а на глаза мне больше не попадайся! — произнес отец. — Убирайся и благодари мать, что я тебя не убил!

Оказавшись на улице, студент впал в отчаяние. Погруженный в грустные раздумья, Левандовский прошагал мимо мэрии, драматическо-

го театра, сети магазинов «Далалар», загса, удачно форсировал напряженный перекресток и вышел на широкую улицу, тянущуюся до аэропорта. Миновав пятизвездочную гостиницу «Дружба», оставив позади Дворец молодежи, ноги Левандовского трусцой понесли его шестьдесят семь килограммов в сторону Преображенского храма.

— Господи, в Твоем доме переночую, — вмиг разрешились сомнения Алексея. — Сегодня же Рождество. Двери храма круглосуточно открыты для всех. Священники в праздничном облачении, свечи горят...

Перед резными воротами Алексей остановился, лихорадочно выгреб из кармана все деньги и раздал их нищим.

— Знать, припекло, фашист, раз пожаловал, — пригвоздил старушечий голос сзади. — Хоть бы одежду бесовскую скинул, коль каяться надумал. Я тебя сразу узнала. Намедни казали по телевизеру, как ты людей убивал...

— Это не я, — пробормотал Левандовский. — Господи, это не я! Не верь ей, Господи! — схватившись за голову, закричал Левандовский и бросился прочь.

Ему казалось, что за ним кто-то гонится, и он запретил себе оборачиваться назад. Он мчался по ночному городу, огибая дома, перепрыгивая через выроставшие на пути заборы, сторонясь случайных прохожих. Ему хотелось завить от отчаяния, но голос отказывался повиноваться ему и только жуткий хрип с присвистом от искаленного бегом дыхания вырывался из его груди.

Он поскользнулся и упал. Собравшись с духом, Алексей поднял голову и обмер: перед ним вновь высился храм Преображения Господня, подпирая куполами звездное небо.

— Господи... — с умилением произнес Левандовский. — Чудо маловерному дал. Я теперь недостоин молиться в доме Твоем. Кичился своей верой перед друзьями, а меньше всех верил, знаменья ждал...

— С кем говоришь? — услышал Алексей голос.

Он поднялся на ноги и обернулся. Перед ним стоял мужчина лет сорока, одетый в поношенное осеннее пальто, вельветовые штаны и рваные летние туфли. Его широкий лоб с волнообразными складками, глубоко посаженные глаза, греческий нос, тонко очерченный рот и густая черная борода выдавали в нем мыслителя.

— С Богом, — замаявшись, ответил Алексей.

— И отвечает? — серьезно спросил мужчина.

— Нет, но все слышит... А вы — бомж?

— Да... Когда-то меня называли Владимиром Сергеевичем.

— А почему от вас не пахнет помойкой?

— Потому что регулярно моюсь. Не хочу, чтобы из-за ненависти ко мне у людей завоняли души.

— А вы разве не боитесь меня? Я же фашист.

— Боюсь, но только не боли, а того, что через меня новый грех в мир войдет. Он ведь не только на тебя, но и на меня падет.



— Почему? Я же вас бить буду, а не вы меня...

— Тихо, — приложив палец к губам, перебил бомж. — В Вифлееме зажглась путеводная звезда... Он родился...

Они опустили на колени и молились до утра.

Алексею было тепло. Сначала он не понимал, откуда взялся огонь, ставший согревать его изнутри, но с каждой минутой его духовное око, которое с годами запорошило пустынным песком человеческих страстей, очищалось все больше и больше, пока пелена полностью не спала.

После рождественской ночи Левандовский поселился у Владимира Сергеевича в подвале дома № 45 по улице имени маршала Победы Жукова, который, глядя с таблички, уже не мог помешать проникновению фашиста на свою территорию. Алексею сразу понравился сырой климат подземелья, потому что он никогда не был в Санкт-Петербурге, о котором грезил с детства; теперь же его мечта начала осуществляться. Он так и прозвал подвал — «Мой Питер». И пусть от Невы, бежавшей по канализационным трубам, несло зловонными продуктами человеческой жизнедеятельности, зато какие здесь были люди! Не люди — блокадные ленинградцы, которые жили в книгах огромной библиотеки бомжа Владимира Сергеевича, когда вся страна перестала жить в книгах и обоживалась в телевизорах. Левандовский не знал ни одного питерца, поэтому жадно набросился на пыльные тома и читал, читал, читал... Знакомство с жителями Северной столицы не разочаровало студента, потому что все они были сплошь героями. Положительными и отрицательными, но героями, а не зажиревшими и скотоподобными буржуа из Москвы.

В воскресенье Левандовский разыскал конспиративную штаб-квартиру РНЕ с помощью знакомого частного детектива. Поначалу он опасался, что из-за слабой идеологической подготовки его сразу выставят вон, но страхи оказались напрасными: дежурный скинхед, открывший Левандовскому дверь, ограничился простым вопросом:

— Ты за Россию для русских?

Получив утвердительный ответ, нацист проводил студента в огромную квадратную комнату. Сев на кожаный диван, Алексей начал осматриваться. Черные и красные цвета, преобладавшие в комнате, раздражали глаза. На стенах висели плакаты фашистской направленности. Маленькие бумажные флажки с пластмассовыми древками, напоминавшие уменьшенные копии знамен, сожженных советскими солдатами у подножия кремлевских стен на Параде Победы, окаймляли поверхность обшарпанного холодильника «Бирюса», в котором, словно в застенках Бухенвальда, томилось пленное немецкое пиво, готовясь отощать, превратиться в стеклотару и погибнуть, разбившись о чью-нибудь голову. Без Гитлера тоже не обошлось: гипсовый бюст фюрера с культями вместо рук с недовольством глядел с тумбочки и молча курировал деятельность русского филиала давно распущенной организации. Адольф только никак не мог взять в толк, где его откопали в таком захолустном городишке и почему, откопав, не только не отреставрировали, но и явно поглумились

над ним, прилепив под носом какую-то несуразную мочалку вместо отколовшихся усов.

«И после этого они борются за право называться фашистами; даже салфетку под туловище не подстелили, — казалось, думал гипсовый калека. — Тривиальные отморозки. Мюллера на вас нет».

Кроме Левандовского и дежурного скинхеда, в квартире никого не было. Активисты, вероятно, или работали на производстве, или, словно полицаи времен ВОВ, патрулировали улицы. Из разговора с дежурным Алексей выяснил, что средний возраст национал-патриота — семнадцать лет и один месяц.

— Такие молодые, а уже фашисты, — произнес Левандовский и с восхищением присвистнул, чтобы не вызвать подозрений.

На это бритоголовый не без гордости заметил:

— Фигня. С каждым годом средний возраст растёт. Дай срок. Как исчезнет последний ветеран, подомнем под себя всех, от мала до велика. Средняя продолжительность жизни в стране работает на нас.

К двум часам дня в квартиру стали подтягиваться скинхеды. Дежурный фашист приветствовал их выбрасыванием правой руки, они отвечали ему тем же. К Левандовскому никто не подходил: он был новеньким, и ему пока не доверяли. Из-за высокой концентрации фашистов на квадратный метр Алексею стало казаться, что он попал в гестапо и что вот-вот вокруг него зазвучит чистая немецкая речь. Но этого не случилось. Обрывки фраз, которые Левандовский с трудом выдергивал из нечленораздельного шума, были до боли знакомым сорным русским языком, которым он владел в совершенстве. У Алексея сразу отлегло от сердца, потому что с этой стороны провала можно было не бояться. К трем часам собрались все двадцать три человека, являвшиеся членами неонацистской организации. Последним подошел бригадир. От рядовых фашистов лидер отличался нарукавной повязкой, на которой помимо свастики блестел металлический значок «Веселого Роджера», какой Левандовский видел на пиратских стягах и околышах фуражек гитлеровских офицеров.

Алексей никак не мог запомнить молодых людей в лицо. Бритоголовые, одетые в одинаковую униформу, они виделись ему суррогатной призывной командой, прибывшей в воинскую часть для прохождения службы.

Дежурный скинхед показал на Левандовского лидеру группировки — Виталию Стегову, худощавому подтянутому парню с властным и решительным взглядом. Бригадир внимательно посмотрел на Алексея и спокойным голосом сказал:

— У нас боевое пополнение, господа. Еще один маменькин сынок решил, что...

— Лёха, — с вызовом перебил Левандовский. — Меня зовут Лёха.

— Еще один маменькин сынок Лёха, — продолжил Стегов, — решил, что имеет право носить форму нациста, будучи трусом и хлюпиком.

— Проверь меня.

— Проверим, не волнуйся. РНЕ — это тебе не институт благородных девиц. Здесь все связано кровью черномазых и железной дисциплиной. Беспощадное уничтожение врагов нации, беспрекословное подчинение командирам боевых «пятерок», личное мужество — законы для национал-патриота. — Фанатичная вспышка в глазах, выброс правой руки вперед. — Зиг!

— Хайль! — взревели скинхеды.

— Они занимают наши рынки, трахают русских баб! Зиг!

— Хайль!

— Сбивают наркоту, травят людей пойлом! Зиг!

— Хайль!

— Образуют преступные сообщества, проникают в высшие эшелоны власти! Зиг!

— Хайль!

— Отнимают рабочие места, мусорят в городах, плюют на наши законы! Зиг!

— Хайль!

У Левандовского волосы встали дыбом. Заурядная идеологическая накачка, за каждым словом которой стояла непримиримая ненависть и звериная жестокость, нашла одобрение в душе Алексея, и он ужаснулся своей слабости. Забылась горячая молитва у ограды храма, ускакала на задворки памяти цель, с которой он пришел в РНЕ. Вспомнился азербайджанец, торгующий спиртом возле виадука в самом центре города, цыгане, промышляющие героином и ханкой, и Алексей заорал «хайль» вместе со всеми.

Вооруженные автоматами злобы, опоясанные патронташами мести, скинхеды вышли на улицы города, чтобы разрядиться и посеять страх и панику в сердцах иностранцев.

Морозный воздух отрезвил Левандовского.

«У Стегова за каждым лозунгом — ненависть, — покатился с горы снежный ком мысли. — Ни слова о любви и созидании. Все построено на одном разрушении, пронизано отрицательной энергией. Разве этому учили Пушкин и Лермонтов?..»

Левандовский не заметил, что произнес последние слова вслух.

— К чему ты о поэтах? — повернувшись к Алексею, спросил шедший рядом Стегов.

— Не понял.

— Понял, не понял — отвечай, когда бригадир спрашивает. Честно и прямо. Твои мысли — мои мысли. Так мною определено.

— А мои сомнения? — нашелся Левандовский.

— И твои сомнения.

— Короче... так, Виталя, — включил дурака Левандовский. — Пушкин — потомок эфиопа, Лермонтов — шотландца. Как к ним относиться?..

— В натуре, объясни, Витальбас, — заинтересовались скинхеды, услышавшие разговор. — Пацан в тему спросил. Пушкин с Лермонтовым вроде за нас.

Стегов приказал бритоголовым остановиться и, впившись в наивно-пустые глаза Левандовского, произнес:

— Не парьтесь, пацаны. Пушкин — та еще тварь. Выступал за отмену крепостного права, а своим крестьянам вольную не давал, последние соки с них высасывал. Около декабристов околачивался, которые против царя перли, а сам на Сенатскую площадь выйти зассал, съехал с участия в восстании. Они вышли, а он — нет. Африканская кровь, твою мать! — Стегов, сплюнув, выругался. — А у Лермонтова строчки такие есть: «Люблю Отчизну я, но странною любовью! Не победит ее рассудок мой». Странною, пацаны. Странною любовью!

«Умен, змий. Ничего, пободаемся еще», — подумал Левандовский, а вслух выдал:

— Против фактов не поперешь.

Скинхеды пошли дальше. Когда они проходили мимо детского парка «Орленок», Левандовского заметили два его приятеля по институту. Парни проводили бритоголовую шайку взглядом, но Алексея не окликнули.

«Всё, — подумал Алексей, — разнесут по всему институту, что я теперь со скинами. Вот она — слава Герострата. Сбылась мечта идиота».

Из закуской «У Оли» навстречу фашистам вывалила полупьяная компания офицеров, служивших в мотострелковой бригаде, расквартированной в городе.

«Схлестнемся, — подумал Левандовский, — как пить дать. Кажется, вечер перестает быть томным».

Расстояние между компаниями сокращалось.

Журналист республиканской газеты, притаившийся за углом закуской в надежде на сенсационный кадр, не вынес развязки исторической встречи фашистов с офицерами. Он был честным человеком, поэтому опустил фотоаппарат. То, что произошло на его глазах, нельзя было снимать, как нельзя снимать порнографические сцены с детьми даже в том случае, если за них предлагают миллионы долларов, прижизненную славу и рай на небесах.

Скинхеды не приняли в сторону. Не отвернули и русские офицеры. В мертвой тишине строй бритоголовых прошел сквозь строй офицеров как нож сквозь масло. Компании продолжили свой путь.

* * *

Прошла неделя. Владимир Сергеевич и Левандовский пили чай в ка-морке подвала. У Алексея было скверное настроение, потому что сегодня его ждало серьезное испытание.

— Почему грустный такой? — сделал глоток, спросил бомж.



— Человека надо будет избить. Это правило вступления в организацию.

— Думаешь, что не сможешь переступить через себя?

— Надо переступить, — бросил Левандовский. — Обязан переступить.

В каморке, каких в подвале было множество, горела керосиновая лампа. Несмотря на удрученное состояние духа, Алексею было хорошо и спокойно в гостях у Владимира Сергеевича. После совместной молитвы у ограды храма они редко разговаривали друг с другом. Между ними установилось такое взаимопонимание, которое возникает только между очень близкими людьми, коим легко и приятно думать рядом, просто думать, не испытывая при этом никакой неловкости за отсутствие общения. О Владимире Сергеевиче знали все жители дома, они называли его «хранителем подземелья». Бомж содержал подвал в чистоте, помогал людям ремонтировать квартиры и подъезды, ухаживал летом за цветочными клумбами, разбитыми во дворе, и ему платили по сто рублей в месяц с лестничной клетки. Неделю, которую Левандовский провел у Владимира Сергеевича, они вдвоем занимались благоустройством четвертого подъезда. После работы Алексей уходил к скинхедам, убивал с ними время, а поздней ночью возвращался под гостеприимный кров бездомного друга. С зажженной керосиновой лампой и связкой ключей, словно дворецкие старого замка, они совершали традиционный ночной обход подвальных помещений, читали книги, принесенные в каморки жильцами дома, и ложились спать.

— Могу я тебе чем-нибудь помочь? — спросил Владимир Сергеевич.

— Вырежьте из меня жалость и сострадание к ближнему. Эти вещи мешают мне продолжить миссию.

— Это можно устроить, Алексей, только потом придется оперировать совесть, иначе после содеянного зла тебя хватит инфаркт. Впрочем, совесть нельзя удалить. Она либо есть, либо ее нет, поэтому люди делятся на духовных и бездушных.

— Вы уж простите, Владимир Сергеевич, но не до философских рассуждений мне... Как быть-то?

— Кажется, кое-что можно сделать, — подумав, сказал Владимир Сергеевич. — Куда планируете идти?

— В Шанхай собирались.

— Буду там. Насколько я знаю, нацисты на дух не переносят бомжей.

— Не понял...

— Что тут непонятного? Буду рыться в мусорных баках, и ты со своими наткнешься на меня...

— Они мне не свои! Не надо меня с ними сравнивать! — гневно перебил Левандовский.

— А здесь ты не прав. Проще всего ненавидеть нацистов, полюбить их — сложнее. У них же больные, покрытые язвами души. Больное тело

лечится лекарствами, душа — любовью... Сегодня будешь бить меня. Я так хочу.

— Я не смогу.

— Сможешь. Это мой скромный вклад в общее дело. Сегодня ты утопишь меня в крови, чтобы даже худшие из них поразились твоей жестокости. Я знаю, что тебе нужна еще неделя.

— Да, мне требуется еще дней пять, и я буду на коне.

— Точно?

— Точнее не бывает. Я о скинах почти всю информацию собрал, родственника из ФСБ подключил.

— Тогда я к твоим услугам.

— Страшно мне, — сказал Левандовский и поднялся. Его била дрожь.

— Долг — это всегда страшно. Долг — не веселый полет на карусели с карамелькой за щекой. На исполнение долга всегда идут добровольно, никто не может заставить тебя идти вперед против желания. Долг — удел только свободных людей, рабов — никогда.

Шанхай считался самым неблагополучным кварталом. Старые двухэтажные бараки с гнилым и вонючим нутром, улицы, заваленные мусором, не были обозначены на карте города, потому что давно подлежали сносу. В тесных комнатах с протекавшими потолками и наспех слепленными печками ютились нищие и опустившиеся семьи отверженных; здесь люди плодились как кролики и мерли как мухи. Повальный алкоголизм, наркомания, убийства и кражи, укоренившиеся в Шанхае, закрепили за кварталом дурную славу. О жителях бараков привыкли говорить только в прошедшем или будущем времени: «Умер, спился, скололся, сел в тюрьму... Вот-вот умрет, сопьется, сколется, сядет в тюрьму». Шанхайские дети и подростки были бесстрашны, потому что не цеплялись за жизнь, от которой не видели ничего, кроме побоев, голода и ненужности. Взрослых обитателей квартала боялись даже участковые милиционеры, ссылавшиеся сюда за нерадивую службу.

Оказавшись на территории Шанхая, фашисты построились «свиной» — излюбленным боевым порядком рыцарей Тевтонского ордена. Левандовский и Стегов шли в «пяточке», олицетворяя собой ноздри шелудивого животного.

— Виталя, вон бомж в мусорке роется. Опустилась тварь, русскую нацию позорит. Может, его? — произнес Левандовский.

— Можно и его, — согласился Стегов. — Только я покрупней птицу вижу.

— Где?

— Позырь направо. Жирная еврейская гнида из трущоб вырулила.

Когда Левандовский повернул голову, у него внутри все оборвалось. В полном парне, спускавшемся с барачного крыльца, Алексей узнал своего друга — Яшу Магурова.



— Это не еврей. Местный, скорей всего, — справившись с волнением, равнодушно произнес Левандовский.

— С фи́га ли местный, когда я его знаю, — бросил Стегов и приказал «свинье» остановиться. — Наши отцы вместе шубами мутят. Товарищество с ограниченной ответственностью, блин.

— И что? Отец этого еврея безответственный, что ли?

— Нет, но тебя это колебать не должно. Ты чего-то много вопросов задаешь. Иди... боевое крещение принимай. Или сдрейфил?

Левандовский выпал из строя и отправился к Магурову. «Свинья» осталась наблюдать со стороны.

— Привет, брат, — поприветствовал друга Магуров и покосился на фашистов, которые стояли метрах в пятидесяти. — Рад тебя видеть на своем участке.

— Я по твою душу, — сказал Левандовский. — Один из скинов указал на тебя.

— Понятно... Бей, пока я не передумал, Лёха. Я выдержу.

— Не могу.

— Ты с самого начала знал, что мы не в игры играем. Бей.

— Нет.

— Бей!

Левандовский замотал головой и попятился назад.

— Назад, собака бритоголовая!

— Яша, ты что? Мы же с тобой за одной партией...

— Ха, за одной партией, — ухмыльнулся Магуров. — Помнишь, как у тебя деньги из папки исчезли?

— Так это ты?!

— Я!

— Врешь!

— Это русский может врать, а для нас, евреев, ложь — непозволительная роскошь, потому что вы сразу всех собак на нас вешаете.

— А ты очень изменился, Яша.

— Ты тоже, Лёха... Не в игры играем.

— Ты же меня сейчас просто разозлить хочешь.

— В яблочко, — бросил Магуров. — Я не нуждаюсь в твоей сопливой дружбе. Из-за таких вот драных гуманистов африканские дети с голодухи пухнут, на Югославию с воздуха гадят. Иди в Генеральную Ассамблею Организации Объединенных Наций, там твое место. Тусуйся с этими человеколюбивыми пустомелями, а с моего участка — вон! Бей, Лёха, пока я не приравнял тебя к ним!

Удар Левандовского раздробил Магурову нос. Кровавые ошметки взметнулись в воздух, упали в снег и растопили его. Алексей продолжил яростную атаку, и уже через минуту местность на лице Якова изменилась до неузнаваемости. Алексей ничего не мог поделать: дежурные по стране несли потери, а целый и невредимый враг стоял в сторонке, ехидно улыбался и комментировал удары и пинки. Но даже озверевшие от вида



человеческой крови фашисты содрогнулись бы, если бы услышали диалог наших героев, состоявшийся после того, как все было кончено.

С глухими рыданиями Алексей опустился на колени перед ветошью, в которую превратился его друг после избияния, и произнес:

— Я проклят... Я ведь не для профформы, а из ненависти тебя бил. — Левандовский упал на спину Магурова и тихо-тихо завыл.

— Знаю, Лёша, — расклеив запекшиеся в крови губы, сказал Магуров. — Знаю и то, что твоя ненависть... сейчас вышла... Иди к ним... И не кори себя...

* * *

После встречи с другом Левандовский перестал есть. Он мало спал и быстро терял в весе. Его глаза ввалились и горели лихорадочным огнем, исстрадавшаяся душа мечтала о смерти. Алексей ненавидел и боялся себя. Владимир Сергеевич не докучал ему разговорами, понимая, что рядом с ним живет человек, сердце которого не нуждается ни в одобрении, ни в понимании, ни в поддержке со стороны людей.

После шанхайской истории Левандовский собирал компромат на фашистов. Попутно он успел провалить восемь рейдов боевых «пятерок», заранее предупреждая милицию о маршрутах передвижения скинхедов по улицам города.

— Чего-то легавых развелось... — недоумевали бритоголовые, не догадываясь о том, что милицейские кордоны на пути следования черных отрядов выставлял Алексей.

Двадцатого января 2000 года, находясь в штаб-квартире РНЕ, Левандовский почувствовал, что его презрение к самому себе достигло Эвереста. Алексей посмотрел вниз: под ним проплывали облака. Ему было легко и спокойно, он не испытывал страха. Алексей долго стоял на пике, наслаждаясь ласковым солнцем, а потом, когда вокруг него начала сгущаться тьма, вырвал флаг из снега и начал спуск. Внизу его ждали люди.

— Это я вас ментам сдавал, — сказал Левандовский.

Среди скинхедов произошло замешательство. Только спустя минуту Стегов заговорил:

— Ты знаешь, как поступают с предателями.

Фашисты поднялись с дивана, стульев и вынесли приговор:

— Смерть!

— Ты все слышал, Лёша, — произнес Стегов. — Раз сознался сам, мы тебя не вздернем, а расстреляем. — Бригадир посмотрел на часы, они показывали половину первого ночи. — Самое время. Если готов — поехали.

— Поехали. Мне уже все равно, как умирать.

Левандовского отвезли в березовую рощу и приказали ему рыть могилу. Замерзшая земля не поддавалась лопате, и Алексей развел костер. Он сказал скинхедам, что никуда не собирается бежать, поэтому им

лучше посидеть в теплых машинах, пока он не приготовит себе могилу. Посоветовавшись, фашисты решили, что из-за крещенских морозов Левандовский разогреет землю не раньше утра, и разошлись по автомобилям, оставив с пленником двух караульных.

Потекли часы ожидания. Это была последняя ночь для Левандовского, и он упивался ею. Догадываясь о том, какая участь постигнет его за предательство, он еще до прихода к скинхедам подвел итоги прожитой жизни, мысленно попросил прощения у друзей и напрямую — у Бога.

Три человека молча сидели у костра и думали о своем. Лунный трансформатор работал на полную мощность, и на лесной полянке было светло. Лампочки в звездных бра, не выдерживая напряжения, сторали, вычерчивая хвостатые следы на космическом полотне.

— Вроде оттаяла земля, — произнес Левандовский. — Пойду с Россией попрощаюсь, а потом могилу рыть начну.

— Где ты ее тут найдешь? — ухмыльнулся Крест. — Темный лес кругом.

— Так он и есть Россия... Березки в двух шагах, с ними и попрощаюсь.

— Пусть сходит, если ему надо, — буркнул Бром. — Лишь бы не сбежал.

— Не бойся, не слиняет, — авторитетно заметил Крест. — Такие не сбегают. У него это на роже написано. Правильно я говорю, приговоренный?

— Правильно. Некуда мне бежать. Я даже углубляться в лес не стану, а то вас потеряю. Рядом постою, чтобы вы меня видели, а я — вас.

— Только нюней там не разводи, — посоветовал Бром. — Москва слезам не верит. Жестко надо, без лишних слов: прощай, березовая Россия, а я помирать пошел... Уяснил?

Наступил молочно-розовый рассвет. Дежурный по стране стоял возле свежерытой могилы.

— Это хорошо, что яма неглубокая, — заметил Алексей пасмурным фашистам, высыпающим из машин. — Подснежники по весне прямо из меня расти будут. Человечина — отличное удобрение. Только бы успеть разложиться, только бы успеть... И ведь не успею же, черт вас всех подери! Зима-то вон какая лютая. Надо было летом к вам податься. Если бы в июне к вам заглянул — в июле бы грохнули, уже бы на исходе августа полностью сгнил. А теперь лежи в земле ледниковым мамонтом, как бесполое.

— Готов, Лёха? — спросил Крест.

— Готов... Быстро отошли все от меня, а то Крест кого-нибудь из вас зацепит.

— Не зацеплю. Я на кошках натренировался.

— Только вот что... — произнес Левандовский. — В вашей поганой одежде я помирать не согласен. Брезгую. Погибну дежурным по стране, в родной форме. Она у нас небогатая, но в мильен раз лучше вашей.

— Дежурный?! — воскликнули скинхеды.

— Да... А теперь напушу чуток пафоса, чтобы нагнать на вас страху... Смотрите, заблудшие, как умеют умирать наши рядовые, чтобы вам оставалось только догадываться, какие у нас маршалы.

Левандовский снял кожанку и остался в белой рубашке с красной повязкой на рукаве. Он не испытывал страха. Его чувства обострились до предела, и Алексей подумал, что иногда стоит умирать, чтобы вот так вот, как ему это легко удастся сейчас, с наслаждением дегустировать тонкое вино лесных запахов, зримых и незримых прелестей русских березок, редких звуков, осязательного биения сердца с терпким привкусом жизни. У него открылось шестое чувство: он ясно понял, что скинхед по прозвищу Сизый хочет заполучить его золотую печатку, но не решается сказать об этом.

— Иди сюда, Сизый, — позвал Левандовский. — Хочу подарить тебе печатку, ты давно о ней мечтал.

— Откуда ты знаешь? — поразился скинхед.

— Не знаю, а чувю. Наверно, близость смерти сказывается. — Алексей попытался снять печатку с безымянного пальца, но она не поддавалась. — Проклятый металл, намертво прикипает... Сизый, тащи топор.

— Не н-надо... — застучал зубами скинхед.

— Дурак! — оборвал Левандовский. — Зачем мертвому палец? Тем более безымянный. Все пальцы как пальцы, а этот — без роду и племени, на вас смахивает, пацаны. Вроде на одной руке вместе со всеми живете, а именем вас пока не удостоили.

— Стреляй, Крест! — закричал бригадир. — Я приказываю!

— Успею, Виталя. Обещаю, что прикончу его. Сначала посмотрим, как палец рубить будет.

Фашисты притихли... Левандовский потрогал острие топора, положил палец на березовую ветку и ударил наискось. Брызнула кровь, самопроизвольно дернулись веки, и помутилось в глазах. В состоянии шока Алексей подул на обрубок, потом поднял палец с земли, подстрогал его, как чопик, снял кольцо и бросил золотую безделушку Сизому.

С отсутствующим взглядом Левандовский стал подниматься на земляную насыпь. В его глазах заоченела пустота, на бледном лице не было ни одной морщинки, как у спящего ребенка. Выпрямившись на кургане, он повернулся к бритоголовым, прочертил обрубок кровавую полосу на лице и скомандовал:

— Товьсь! — Крест поднял пистолет. — Цельсь! — Крест поймал Алексея в прицел. — От российского информбюро! Крестов Николай Анатольевич, 1981 года рождения, уроженец Первомайского района города Новосибирска, русский. Член фашистской партии с 1998 года. Характер нордический. С товарищами по работе сдержан. В связях, порочащих его, замечен не был. Дед: Крестов Фёдор Михайлович, 1918 года рождения, уроженец Новосибирской области, русский. Двадцать седьмого июня 1941 года добровольцем ушел на фронт. В составе



двести сорок второй стрелковой сибирской дивизии участвовал в битве под Москвой. Поднявшись из обледенелых окопов в сорокаградусный мороз, в рядах отдельного лыжного батальона перешел в контрнаступление. В боях с немецко-фашистскими захватчиками был награжден медалью «За отвагу». В сражении за деревню Смирновку подбил вражеский танк ценой собственной жизни. Пал смертью храбрых... Пли!

В глазах Креста потемнело. Он сам не понял, как его рука согнулась в локте, а палец нажал на курок. В березовой роще раздался выстрел в воздух.

Крест бросил пистолет Брому и встал рядом с Левандовским.

— Товьсь!.. Цельсь!.. Сорок второй год. Сталинград. Высадка роты балтийских морпехов на берег Волги. «Город взят», — празднуют победу в гитлеровской ставке. Ты меня слышишь, Бром? Город взят. Так уже думали все, кроме ста реалистов из упомянутой мною роты, которой командовал твой дед — капитан Браминский. Он и его матросы были уверены в том, что Сталинград — не Гитлербург, еще минут двадцать, а если повезет — тридцать. Повезло, Бром. Они прожили сорок минут. Матросы комроты Браминского погибли счастливыми людьми, Стас, потому что были реалистами... Романтики и реалисты, оптимисты и пессимисты, умные и не очень — они продлевали жизнь Сталинграду на десять, двадцать, сорок минут, пока не сделали его бессмертным. Пли!

Бром выстрелил в воздух, бросил пистолет в снег и встал рядом с Левандовским.

— Подбери, Сизый. Твоя очередь... Товьсь!.. Цельсь!.. Не знаю, что с тобой делать, парень. У тебя бабушка — армянка. Армянка, фашист. Она у тебя армянка, нацист! Ты меня понял? Она вынесла с поля боя пятьдесят четыре солдата всех родов войск. Пехотинцев, Сизый, танкистов, Сизый, эстонцев, Сизый, евреев, Сизый, азербайджанцев, Сизый, и прочих, не помнящий родства... по имени Юра. Ее все звали сестрицей, а она их — братишками. Ты меня понял? Ее медалями и орденами можно засыпать яму, которую я вырыл. Знаешь, что она сказала, когда ей отняли отмороженные руки и ноги в медсанбате в сорок третьем? Она сказала: «Ничего, доктор. Я спасла пятьдесят четыре солдата. И в запасе у меня осталось еще сто восемь ног, которые будут ходить по всему Советскому Союзу... Рук меньше. Их только девяносто четыре. У некоторых отняли, доктор, но ведь и одной рукой можно собирать виноград». Твой русский дед носил ее на руках до пятьдесят третьего года. Так не носят на руках даже здоровых женщин, парень.

Стегов подлетел к Сизому, вырвал у него пистолет и произнес:

— Командуй, Левандовский! Давай! Я вас всех перецелкаю. Одного за другим. Мой дед — власовец! Стрелял по коммунистам, сгнил в сталинских лагерях... Смелей!

— Товьсь!.. — Бригадир навел пистолет на Алексея. — Цельсь!.. — Пистолетная мушка села на грудь. — У тебя было два деда, нацист.



У человека всегда два деда, фашист. Один твой дед стоил другого, скинхед. Вся Россия отразилась в твоей семье. Медаль «За взятие Берлина» имеет две стороны. На лицевой стороне — твой первый дед, Крутой-ров Евсей Петрович, член РСДРП с 1916 года, участник Гражданской войны на стороне красных. На оборотной стороне — твой второй дед, Стегов Александр Иннокентьевич, 1901 года рождения, монархист, участник Гражданской войны на стороне белых... Твой дед, Виталя, воевал в отделе сержанта Егорова, а грузин Кантария был его лучшим другом. Знамя, водруженное над Рейхстагом Егоровым и Кантарией, было пятым по счету. Не все это знают, но вы теперь знаете.

Виталий Стегов снял с рукава повязку с нацистской свастикой и бросил ее в яму. Его примеру тут же последовали другие. По лицу бригадира текли слезы.

— Знаешь, почему я не пристрелил тебя?.. Совсем не за красивые глазки и проникновенные речи, полуфантазер. Нет, не за это. За наглую уверенность в победе добра над злом, Лёха. За вызывающую, бестактную, упертую, ехидную, даже подлую уверенность в торжестве правды и справедливости... Гениальная партия, Лёха. Ты меня прочитал. Клянусь, что теперь не трону ни одного человека и буду творить добро... Как палец?

— Нормально. Зарою его в могилу. Прошлого не воротить.

— Но обрубок следует прижечь, чтобы не началось заражение крови. Я костер разведу. Как начнем прижигать, кричи от боли и радости за нас, за великое прошлое России. Теперь не можно, а нужно. Ты... мы все пока легко отделались. Раз слава дедов досталась нам бесплатно, за их грехи рано или поздно придется платить.

Глава 13

21 января 2000 года. Больница города N. Одинокaя вип-палата. Одиннадцать дней до времени «Ч».

Избитый Магуров лежал на койке и мысленно благодарил Левандовского за то, что через отбитые внутренности Алексей освободил его от работы в Шанхае. Он наивно полагал, что выбрал самый сложный участок, тогда как его товарищи по тайному обществу — Яша не сомневался — теперь загорают.

— Да, я не справлялся, — успокаивал себя Магуров, — но там бы никто не справился. Шанхай — полноценный ад безо всяких оговорок, поправок и скидок, потому что в этом квартале в нечеловеческих условиях живут отборные грешники, которые люто ненавидят друг друга и мечтают о смерти, как о рае. Пусть они и не горят пока на страшном огне, зато мерзнут, так как уже употребили на дрова последнюю щепку в округе... Я честно ушел из Шанхая. Не сбежал, просто красиво ушел. Помог Левандовскому, загородив его от провала собственным телом, которое, между прочим, до сих пор ноет и болит. Да если бы не я — конец Лёхе, а так сейчас со скинами, небось, пиво глушит, сушеной воблой закусывает,



по ходу дела развенчивая фашизм. А Вася в деревне, наверное, уже раздобрел на пирожках и парном молочке. Про Артёма и говорить нечего, ему вообще больше всех повезло, в малину попал: эротический сектор — это вам не Шанхай... Мальчишке тоже повезло. Он пошел к детям, к будущим продолжателям нашего дела. Пока с ними Вовка, все будет нормально. Он ведь к своим пошел, в детдоме ему будет легко... Лёне легче всех: с элитой работает, в молодежном парламенте ему ничего серьезного не угрожает... Боже, я свихнулся, наверное. В любом случае... мне больше всех не повезло. Я самый несчастный в мире человек.

— Здорово, Яшка! О чем задумался? Я уже тридцать минут тут нахожусь, а ты меня не замечаешь.

— Лёшка? — удивился больной и присел на кровати.

— Собственной персоной.

— Лицо у тебя какое-то странное.

— Не бери в голову. У тебя фиолетовое, у меня — странное. У всех разные лица.

— Ты осунулся с момента нашей последней встречи.

— Лучше осунуться, чем осучиться. Я сегодня просто не выспался.

Не шел сон, Яха, вот хоть убей. Думаю, дай-ка я в лес сгоняю, костерок разведу, за жизнь на свежем воздухе подумаю. Знаешь, до смерти захотелось пошептаться с березками. Пацаны из РНЕ с понятиями оказались, сразу согласились подвезти. Видят же, что человек при любом раскладе до утра не дотянет, если его немедленно до леса не подбросить... Вот такие сердечные люди, а мы про них — фашисты, фашисты...

Левандовский улыбнулся и стал доставать из пакета фрукты. Магуров отшатнулся от протянутого ему мандарина, увидев, что на руке Алексея недостает безымянного пальца.

— Брат, что у тебя с пальцем?

— Ничего страшного, — спокойно сказал Левандовский. — Я его нечаянно отрубил, когда дрова для костра заготавливал. И вообще, чего ты ко мне прикопался? То лицо ему мое не нравится, то отсутствием пальца я ему не угодил... Спроси лучше, как у меня со skins.

— Как у тебя со skins? — задал вопрос Магуров, не сводя глаз с обрубка.

— А чего skins? Я им: «Ребята, давайте жить дружно, как Леопольд учил. Кот плохого не посоветует».

— А они?

— А они... «Кто грызунов наказывать будет?» — говорят. А я им в ответ: «Бог накажет. Он шельму метит»... А как у тебя в Шанхае?

— Полный завал, Лёха, — начал жаловаться Магуров. — Не разгрести, кажется. Я пытался им что-то рассказывать, к чему-то их призывать, но все бесполезно. Даже слушать не хотят. На нищету ссылаются, а потом посылают.

— Это ничего, — успокоил друга Левандовский. — Я-то думал, что все гораздо хуже будет, а тут — нищета.

— Так они же ею прикрываются. Мол, пьем, потому что бедные, воюем, потому что никому не нужны.

— А они, между прочим, на тебя похожи. Сущие хитрецы, — рассмеялся Левандовский. — Нищетою, значит, прикрываются? Умора. Посмотрим, что они станут говорить, когда мы лишим их этой защиты. Не факт, что лучше станут. Богатые свои злодеяния деньгами и телохранителями прикрывают, бедные — отсутствием таковых. Не страна — сплошной бронезилет. Весело живем. А в том, что они посылают тебя на три буквы с твоими душеспасительными беседами, усматриваю добрый знак. Если словам не верят — поумнели. Без высшего образования, без книг, безо всего — поумнели. Заметь, что для России от этого одна экономия. Зачем вкладывать деньги в просвещение, если все и так просветится?

— Циник, — бросил Магуров.

— А ты — нытик и хлюпик. Они тебя послали, и ты сразу руки опустил. Что ты так моего цинизма испугался? Не надо уподобляться святошам, которые от страха за свою нравственную чистоту шарахаются от зла, равно как и от добра. Интеллигенция пропитана этим пороком, как торт — кремом. Она хочет отсидеться за крепостными стенами, когда страна гибнет. И белый флаг выбросить не желает, и выйти к народу не хочет, и впустить его к себе не соглашается, потому что в грязи замараться боится. А я вот и с плохим, и с хорошим человеком дружбу водить буду. Буду делать добро, а думать — о зле. В убийцу, вора, насильника мысленно перевоплощусь, чтобы изучить технологию зла, его первопричины и следующие шаги, чтобы ничему не удивляться, ничего не бояться и успешно бороться. Если знаешь болезнь досконально, найдешь противоядие. Не знаешь, страшишься ее — неминуемо заразишься.

— Докатились, Лёха, — вздохнул Магуров. — Мне иногда кажется, что наша дружба только на боли за Россию держится. По-моему, таких разных людей, как мы, объединяет только страна. Только о ней и говорим. Скандалим, ругаемся, спорим только из-за нее. Ведь есть же еще девчонки, вечеринки...

— Я с тобой полностью согласен. Девчонки, вечеринки, водка — это тоже Россия. Россия, в которой мы будем отдыхать от трудов праведных. А Шанхай, фашисты — это Россия, в которой мы будем работать... А ты воспользовался мной, чтобы сбежать из Шанхая.

— Твое личное мнение, — забежали глаза у Магурова.

— Не юли. Я уже одного парня в твой район направил. Поможем... чем сможем. Ты выгнал из меня беса фашизма, теперь моя очередь за твоих лукавых чертенят братьяся.

— Как ты мог обо мне такое подумать? — надулся Магуров.

В это время кто-то ударом ноги открыл дверь в палату и втолкнул в проход мужика лет тридцати, одетого в спортивный костюм, поверх которого был накинут застиранный больничный халат, какие выдают родственникам и друзьям перед тем, как пропустить их к больному. Следом зашел Стегов и бросил:



— Принимай военнопленного, Лёха. — Бывший бригадир посмотрел на Магурова. — Здорово, Яша. Заочно тебя знаю. Наши отцы вместе шубами торгуют. Прости меня за все, ведь это я тогда Левандовскому приказал тебя избить. Лёха мне уже рассказал, что ты тоже дежурный. — Стегов заскрежетал зубами, его глаза налились кровью, а ноздри расширились и побелели, когда он перевел взгляд на мужика, которого привел в больницу под дулом пистолета. — На твоём участке сорняки растут, Яша. Вот один вырвал и сюда притащил. Рассказывай дежурным, шанхайский бурьян, за какие заслуги я тебя сюда приволок.

— Осади, Виталя, — сказал Левандовский. — Говори толком.

— Хорошо. Освободи меня от клятвы, которую я дал тебе утром. Если бы не она, я бы этого уroda ещё в Шанхае шлепнул. Без суда и следствия. Рассказывай пацанам, лебеда шанхайская, как ты жену дубасишь, как ещё беременной лупил её по животу, как она забивается под кровать, чтобы накормить ребенка молоком! В подробностях, собака!

— Щененка от другого прижила, сука! — глухо зарычал мужик. — Если бы не твоя пушка, я бы тебя сам в Шанхае положил. Узнал бы тогда, как в чужую семью нос совать.

Стегов бросил пистолет на пол и потребовал:

— Забери слово, Лёха. Я с этим чертополохом на кулаках разберусь.

Левандовский подошел к Стегову, взял его за грудки и, поразив и без того опешившего Виталия северным сиянием в глазах, сухо произнес:

— Мало крови пролил, скинхед? Слово, данное мне в березовой роще, назад не беру.

— Лёха, ты сдурел? Если мы тебя несправедливо расстрелять хотели, то с этим мужиком... он же беременную женщину бил! Что с этой шанхайской падалью делать?

— С этой секунды ты приходишься ему родным братом, Виталия.

— Братом?

— А ты как думал? Плоть от плоти, кровь от крови.

— Лучше пристрели меня!

— Обрыбишься! Раз не дорожишь ни своей, ни чужой жизнью, будем учиться трепетно любить и свою, и чужую.

— Что предлагаешь?

— Поселишься с ним под одной крышей.

— Вы че, совсем офигели? — заартачился мужик. — Тамбовский волк ему брат! Я его ментам сдам, если он ещё раз ко мне сунется.

— Пасть завали, брат, — вежливо произнес Левандовский. — Все люди — братья, брат. Ты — старший, Стегов — средний, а я — младший. Сдашь его ментам — застрелю, брат.

— Психи! — не на шутку перепугался мужик. — Вы тут все — психи.

— Заткнись, брат, — улыбнулся Стегов и обратился к Левандовскому: — Продолжай.

— В общем, все уже сказал. Живешь с ним, Виталя. Помогаешь ему во всем. Начнет приставать к нашему племяннику — огонь на поражение. Рыпнется на свою жену — огонь на поражение. Нецензурная брань — огонь на поражение. Нажрется — огонь на поражение. В нашей большой российской семье, дорогие братья, скоро воцарится мир и покой. А если кому-то вдруг захочется прибегнуть к помощи третьих лиц, написать жалобу в милицию, например, то он очень пожалеет о своем необдуманном решении.

Во время этого разговора Магуров постепенно отошел от потрясения, вызванного известием о несостоявшемся расстреле Левандовского. Яша понял, что Алексей, заглянувший в глаза смерти прошлой ночью, открыл в себе какие-то внутренние резервы, которые помогают ему оставаться адекватным и спокойным даже сейчас.

— Все ясно, — произнес Стегов. — Мы с моим шанхайским братом уходим. Осталось только выяснить его имя.

— Вадим Евгеньевич, — пробурчал мужик. — Почаще и с улыбочкой.

— Пошли, дорогой Вадик. Я уже успел привязаться к тебе. Пошевеливайся. Мне не терпится познакомиться с племянником. Кстати, надо будет забежать в магазин и купить мальчонке игрушку, а то не по-людски как-то. Устроим маленький безалкогольный праздник в узком семейном кругу.

— Это почему — безалкогольный? — воспротивился мужик.

— Можно и алкогольный, только потом я прострелю тебе позвоночник. Обездвижу, так сказать, до полной парализации, чтобы ты какое-то время ходил под себя, а потом умер в собственных испражнениях, из которых я тщетно пытался тебя вытащить, брат.

— И еще, — сказал Левандовский. — Если вдруг выяснится, что жена нашего любимого брата — шалава, родила племянника от соседа, то отомстишь за поруганную честь семьи, Виталя.

— Огонь на поражение? — уточнил Стегов.

— Да, в этом случае пристрелишь всех: и Вадима Евгеньевича, и его жену, и ребенка.

Только сейчас Стегов понял, что Левандовский затеял новую игру на грани фола, и решил подыграть ему:

— Пожалуй, надо было вчера тебя грохнуть, Лёха. Ты совсем лишился рассудка.

— Да вы че, пацаны! — заскулил мужик, упал на колени и пополз к Левандовскому. — Какая же она шалава... Ни с кем она не путалась. Мой ребенок. Мой! Оговорили ее, не надо никого убивать... Пожалуйста! Я все осознал!

— Тише будь, непутевый брат, — спокойно сказал Левандовский. Он присел на корточки, погладил мужика по голове и произнес: — Возвращайся к семье, Вадим. Мы тебя изредка навещать будем. Можем помощь оказать, можем и убить. Вот такие у тебя жестокие, но справедливые родственники.

— Спасибо, братя, — униженно прошептал мужик. — Я теперь... ни-ни.

Когда шанхаец вышел, Левандовский сказал Стегову:

— В такое время живем, что надо или всех подчистую к стенке ставить, или всех поголовно любить. Второе предприятие выгоднее первого по следующим соображениям. Во-первых, не посадят. Во-вторых, никаких затрат на пули и похороны. В-третьих, если всех перебить, то некому будет работать... В общем, в народ надо душу вкладывать. Он живет из рук вон плохо, сам даже пальцем не хочет пошевелить, чтобы улучшить свою жизнь. В силу сложившихся традиций ему требуются духовные лидеры, чтобы тянуться к ним и гордиться ими. Когда народ увидит, что есть такие Ильи Муромцы, Добрыни и Алёши, он сам такой подвиг совершит, что и Христос удивится. Всего-то надо триста человек на город... и два-три на деревню.

— Экий ты шустрый, — заметил Стегов.

— Лёха, я в деле, — поднявшись с кровати, неожиданно произнес Яша. — Мне не нравится твой энтузиазм, поэтому я включаюсь в работу. Ты явно переоцениваешь народ. Вот скажи, Лёха, что ты собираешься делать дальше?

— Выйдем на площадь перед Домом правительства, забросаем министерские окна кирпичами и булыжниками. Мгновенный успех у народа...

— Дурак. У толпы, но не у народа, — оборвал его Магуров. — И вам сразу ласты скрутят, а горожане даже не успеют понять, с какой целью вы вышли на баррикады.

— Сам дурак! — вступился Стегов за Левандовского. — Шанхай надо сносить. Людям срочно нужны новые квартиры — и мы привлечем внимание общественности к этой проблеме.

— Два дурака! — разозлился Магуров. — Оба — в квадрате, в кубе, в четвертой степени! Власть в тыщу раз сильнее вас. Менты, гэбня, суды, пресса — все под ней. Вас посадят, а потом выставят провокаторами и подонками. У нас же ничего даже отдаленно напоминающего гражданское общество нет, поэтому подавляющее большинство горожан вас не поймут. Если даже поймут, то не примкнут к вам... Левандовский, сознайся же, что ты просто хочешь покуражиться, с революционным флагом поскакать, под брандспойтами помыгаться, покидать бутылки с зажигательной смесью! Ты выступаешь за социализм, но больше за его атрибуты: красное знамя, обвязанную голову и кровь на рукаве.

— Как у Щорса? — не удержался Алексей от радостного восклицания.

— Что и требовалось доказать, — довольно улыбнувшись, поставил мат Магуров. — Ладно, неумные, так и быть — сделаю из вас мучеников и героев, но мирных и обстоятельных. Я-то сначала подумал, что вы — обычная шантрапа, а присмотрелся — Александры Невские и Дмитриии Донские.

— Не знаю, что бы мы без тебя делали! — с восхищением произнес Левандовский.

— Умыл, чертяка, — присоединился к похвалам Стегов. — Рули, Яша. Двадцать штыков под твои знамена ставлю.

— Только не надо обольщаться, пацаны, — сказал Магуров. — Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Лёха, вспомни Мальчишку, который говорил о неудачах и о железе, закаляющемся не на Лазурном побережье, а на страшном огне.

— Все помню, Яша, поэтому победы не жду. Гражданское общество за неделю не построить. Нас точно ждет поражение. Только между бессмысленным провалом и красивой неудачей я выбираю второе. Как видишь, неприхотливым становлюсь.

— Помирать — так с музыкой, — поддержал Стегов. — Что там у тебя в загашнике, Яха? Моцарт? Штраус? Бах? Вынимай скорее.

Магуров засунул руку в карман больничной рубашки, которая сидела на нем детской распашонкой, сделал вид, что достал бумажку, и вслух прочел:

— «Это пройдет. Царь Соломон».

— Что пройдет? — спросил Стегов.

— А все пройдет, — улыбнулся Левандовский. — И хорошее и плохое. Это универсальная формула, с которой в счастье будет грустно, в горе — радостно. Я правильно понял эпитафию к твоей затее, Яков Израилевич?

— Ни прибавить, ни отнять. В скором будущем радость прикипит к нам, как смола.

* * *

Яков, 22 января 2000 года.

Решил вести дневниковые записи. Сегодня мы вышли на Первомайскую площадь перед республиканским Домом правительства и начали строительство гражданского общества. У нас мало что получается, но если вдруг возведение сего непонятного здания — это мерзнуть на тридцатиградусном морозе с плакатами «Шанхай — под снос», «Каждой шанхайской семье — по благоустроенной квартире», «Стыдись, республика!», «Долой трущобы тридцатых годов!», то мы на правильном пути.

Два бывших фашиста уже пострадали за правду. Они отморозили носы, и Стегов обвинил их в членовредительстве, так как вчера вечером все были предупреждены о том, что перед выходом на площадь следует тепло одеться. Виталий покрыл ребят трехэтажным матом, но потом растер им носы, предупредив, что в следующий раз эти самые носы расквасит.

Левандовский прочел длинную лекцию по технике безопасности, главный пафос которой заключался в одной-единственной фразе: «Сибиряк — это не тот, кто не мерзнет, а тот, кто тепло одевается». Алексей помирился с родителями и со вчерашнего дня живет дома. Даже не знаю,



как ему удастся скрывать от матери отсутствие пальца. Впрочем, я никогда не сомневался в том, что у меня разносторонне одаренные друзья; сегодня, например, выяснилось, что Алексей еще и талантливый фокусник. Робеспьер в нем пока дремлет, но это ненадолго. Должен сказать, что у меня вырабатывается странное отношение к другу. Нам тяжело быть вместе, но при этом ни я без него не могу, ни он без меня. В данной ситуации я напоминаю моряка, который тоскует по морю на берегу, а в плавании мучится от морской болезни. В общем, меня от Левандовского качивает. После расстрельной ночи он пользуется непререкаемым авторитетом у бывших скинхедов, и я боюсь, что будет достаточно одного его слова, чтобы наша мирная акция переросла в январское восстание. Клянусь памятью предков, что это произойдет только через мой труп. Если республиканские власти не пойдут нам навстречу, то жить мне осталось дней пять, не больше. Что ж, придется умереть, чтобы отсрочить революцию еще дня на три, ведь ребятам надо будет похоронить меня честь по чести: я ведь дежурный, один из них. Я даже не допускаю мысли, что наверху проигнорируют наши требования, что там всем наплевать, в каких условиях живут люди. Хочется верить, что в республиканском бюджете просто не запланированы средства на строительство. Отсюда следует вывод, что все эти дни власти будут звонить в Москву, договариваться с ней насчет выделения денег, а это дело долгое и муторное. Нехорошо будет, если федеральный центр начнет раскошелиться, а мы тут бунтуем. Столица у нас обидчивая, поэтому не стоит портить с ней отношения...

Какой я все-таки хитрый. Буду полеживать в гробу и контролировать ситуацию. Мы с тобой, Россия, никому не скажем, что сыны Израиля даже в мертвом виде могут править бал.

В час дня я вызвал съемочную группу: завтра о нас узнает весь город. Чтобы отвлечь Левандовского от опасных мыслей, которые набухают в его голове, пришлось натравить на него журналистов. Дав интервью, он расстрелял весь свой революционный боезапас и успокоился, но завтра мне опять придется что-то придумывать. Наверное, приглашу правозащитные организации. Если им удастся утихомирить моего друга, то при-знаю, что от них есть реальная польза.

Подходили менты. Они сказали, что мы организовали несанкционированную акцию, поэтому приказано нас разогнать. Стегов ответил, что никто из его ребят не сдвинется с места, пока шанхайцев не переселят. Менты пригрозили нам дубинками, на что мои разбойники рассмеялись им в лицо, заметив служителям закона, что если хоть один волос упадет с головы кого-нибудь из нас, то остальные подожгут себя. Менты стали жаловаться, что в случае невыполнения приказа их уволят с работы, но мы были неумолимы. Но не очень долго, так как они стали прикрываться своими детьми, которые умрут с голоду, если их отцов оставят без средств к существованию. Это был удар ниже пояса, и мы поняли, что наши неприступные бастионы сразу превратятся в преступные, если мы не войдем в положение людей в погонах. Пацаны расстроились и начали



потихоньку сворачиваться, но сволочному майору этого показалось мало. Он стал добивать нас Достоевским, который писал, что вся правда мира не стоит слезы ребенка. Это он зря. Я имею в виду майора, а не Фёдора Михайловича. В общем, пацаны ускорили сборы. Когда мы стали расходиться, офицер допустил непростительную ошибку: он ехидно улыбнулся. Это вывело Стегова. Виталья решительным шагом подошел к милиционеру, сорвал с него погоны и закричал: «Оборотень! Он смеется над нами! Назад! Все — назад! Построиться в боевой порядок! С места не сойдем! Лучше твоему сыну вообще остаться без кормильца, чем иметь такого отца!» Это была провокация. Я здорово струхнул, но не растерялся и повалил Стегова на землю: из-под меня сложно выбраться, сто пять килограммов все-таки. Все произошло так быстро, что менты не успели встать за офицера, а пацаны — за Виталю. Благодарю Бога, что всегда нахожусь рядом с тем местом, где может произойти что-то не то.

Пока Левандовский и Бром связывали ремнями разъяренного Стегова, у меня родился план. Я написал записку, в которой говорилось о том, что мы совершим акт саможжения, если нам будут мешать проводить акции протеста. Потом пацаны подписались под моими словами, и я передал записку сержанту, сказав ему, чтобы он предъявил наш ультиматум начальству. Менты поблагодарили меня за охранную грамоту и ушли. Майор, конечно, долго чертыхался, что он этого так не оставит: Стегов, видите ли, его честь задел. Но как можно задеть то, чего нет?

Яков, 23 января 2000 года.

Власти почему-то мало интересуются нами. Странно. Очень странно. Весь день дул пронизывающий ветер, но никто из ребят не жаловался. Пацаны были одеты в форму фашистов: они решили не снимать милитаристскую одежду, пока не искупят вину перед Россией. Еще месяц назад я даже в самых радужных мечтах не мог себе представить, что буду стоять рядом с ними, а теперь вот стою. До встречи с Левандовским души этих ребят напоминали грецкие орехи в скорлупе, но с помощью отбойного молотка моему другу удалось добраться до ядрышек, и парни стали голыми. Им стыдно, и это делает их беззащитными, я боюсь за них. Если при мне кто-то посмеет упрекнуть их прошлым, то я за себя не ручаюсь.

Левандовский становится опасным. Он боец баррикадного толка. Таким людям надо или все, или ничего. Он неистово любит Родину, а так нельзя. Если она не ответит ему взаимностью, он убьет и ее и себя.

О нас уже знает весь город. Знает, но молчит, и это расстраивает парней, хоть они и делают вид, что им все равно, что народ безмолвствует. А я рад, что события развиваются именно так, а не иначе. За нами внимательно наблюдают. Люди должны убедиться в том, что наш протест — это искренняя жертва Авеля, а не искусственная — Каина. Интересно, как долго нас будут проверять? Я готов ждать столько, сколько потребуется, потому что мне нужно, чтобы нас поддержал народ, а не радикальные элементы, ненавидящие существующий строй.



* * *

Яков, 24 января 2000 года.

На гражданском фронте без изменений. Чтобы избежать провокаций со стороны проснувшихся властей, мы обложились журналистами, как студенты книгами. Теперь нас, кажется, никто не тронет, так как в этой стране все еще демократия, несмотря на то что многие с этим не согласны.

Сегодня мы не выкрикивали лозунгов, ни с кем не вступали в разговоры, никому не давали интервью. Стояли молча... и наговорили своим молчанием на тысячу книг. Горстка людей становится совестью города. Тридцатиградусный мороз закрепил на наших лицах выражение олимпийского спокойствия, с которым мы вышли на площадь в семь часов утра и разошлись в час ночи. Челюсти застыли. Брови, ресницы в инее. Грозная картина. Если за окном было минус тридцать, то наша компания выглядела на все шестьдесят ниже нуля. Завтра мы будем давить под восемьдесят, послезавтра перевалим за сотню...

Заболел Крест. У него поднялась температура, он еле стоял на ногах. Когда мы предложили ему пойти домой, он послал нас туда, где за свою короткую жизнь мы уже не раз бывали и еще не раз побываем. И после всего этого кто-то смеет списывать Россию: героев у нас на тысячу лет вперед припасено. Мы связали Креста, постановив, что отвезем его в больницу силой, но не тут-то было. Он начал кричать, что покончит с собой, если ему не дадут спокойно сдохнуть за шанхайцев. Крест хочет быть таким, как дед, а для этого, по его словам, надо непременно за кого-нибудь сдохнуть. Мы начали его уговаривать, напирая на то, что сейчас мирное время, умирать за людей совсем необязательно, а он твердил, что времена всегда одинаковые и что он крепко решил сдохнуть, иначе дед, погибший на фронте, будет лучше его. Вот такое у Креста наивное соревнование с предком. Короче, мы отошли от больного и заняли свои места, потому что на таких ребят не действуют никакие аргументы. В ту минуту я подумал, что если республиканские власти не разродятся сегодня, тогда завтра мы будем стоять, а Крест — лежать.

Сцену с Крестом оператор местного телевидения снял на камеру, но ему пришлось отдать нам пленку, так как мы не хотим ни показухи, ни того, чтобы горожане поддержали нас из жалости к больному парню. Даже мне было бы противно увидеть по телевидению самопожертвование нашего товарища, несмотря на то что я обещал сделать парней мучениками. Когда Крест потерял сознание и упал, мы не подняли его и запретили подходить к нему журналистам. Стегов произнес:

— Пусть лежит. Он прилег отдохнуть, потому что просто устал со всеми нами. Если сейчас хоть кто-нибудь из наблюдателей сдвинется с места, чтобы помочь нашему товарищу, то завтра город будет хоронить двадцать молодых трупов.

Полагаю, что в тот момент у нас были такие лица, посмотрев на которые люди перестали сомневаться в том, что Виталий выразил мысль

всех дежурных без исключения. Через пять минут Крест пришел в себя, самостоятельно поднялся и, виновато улыбнувшись, попросил прощения за то, что вздремнул на посту. Этот парень не из тех, кого надо жалеть. Он сам кого хочешь пожалеет.

Левандовский подошел к больному, похлопал его по плечу и, осклизнувшись, пригрозил:

— Мой тебе совет, друг: еще раз заснешь — лучше не просыпайся, потому что за халатное отношение к гражданским обязанностям в мирное время мы тебя все равно пустим в расход.

Черный юмор вызвал у журналистов тихий ужас, но нам на это плевать, потому что тихий ужас — это не беспощадные фразы Алексея, а сорок миллионов наших соотечественников, живущих за чертой бедности...

Боже, что нам делать? Где народ? Почему город молчит? Неужели погибать нам?! Неужели мы прокляты?!

Креста лихорадило, а он улыбался. Чему он улыбался? У него никого нет. Его родители погибли в автомобильной катастрофе, и сегодня он поклялся маме, что завтра выйдет на площадь. Мы отвезли его домой. Стегов остался с ним. Сейчас я пишу дневник, а Виталий поит его сильнодействующими таблетками, которые мы в складчину купили в круглосуточной аптеке.

За нами установили слежку. Хвосты удалось отсечь. К черту все! Спать.

Яков, 25 января 2000 года.

09:00. Веду дневник прямо на передовой, потому что сегодня мы уже не разойдемся, будем стоять насмерть.

Лютый мороз. Ручка быстро застывает. Мне приходится постоянно нагревать ее на огне парафиновой свечки; горячее дыхание я тоже использую.

В семь утра на площади появились менты и федералы. Они хотели помешать нашей акции, но мы оказались хитрее, так как заняли круговую оборону у памятника Ленину за час до их прихода. В 7:30 они попытались взять нас штурмом, но вопль Брома остановил их. Он закричал: «Стоять, а то мы вспорем себе животы!» Эти слова выбили из колеи даже издававший виды ОМОН. Хорошо, что Первомайская площадь освещается фонарями, иначе в темноте нас бы точно положили лицом в брусчатку. Словом, неразберихи не произошло. Когда омовцы начали выскакивать из автобусов, мы уже держали руку на пульсе, а ножи — на животе. Несчастный Шанхай стоит того, чтобы дежурный по стране сделал ради него харакири.

Мы опоясали памятник вождю колючей проволокой и украсили ее разноцветными флажками. Конечно, нелепо, когда на военном атрибуте висят мирные бумажки, раскрашенные в цвета радуги, зато теперь мы уверены в том, что нас признают сумасшедшими. Безумцы опаснее бомб,

так как непредсказуемы. И вообще, народ, который мы ждем, прислушивается к юридическим.

12 часов дня. Площадь кишит зеваками и журналистами, а народа все еще нет. Подождем. Люди смотрят на нас как на диких зверей в зоопарке. Что ж, их можно понять, так как мы действительно редкий вид. Хорошо, что пока на нас просто показывают пальцем. Переживем. Другое дело, если кому-нибудь захочется просунуть руку в наш вольер. В этом случае, не церемонясь, отхватим любопытную корягу по самый локоть, потому что мы дикие животные, нас может приручить только народ, которого до сих пор нет.

Мы стоим по кругу на расстоянии трех метров друг от друга; рядом с каждым дежурным — канистра с бензином. Стоят не все. Крест, закутанный в пуховое одеяло, как гусеница в кокон, лежит на раскладушке. Ему совсем плохо, и он вряд ли превратится в бабочку. Ленин сидит на постаменте. От нашей акции протеста ему не жарко и не холодно, но он с нами. Глупо злиться на него за то, что он сделал с нашей страной в прошлом веке, потому что уже все равно ничего нельзя изменить.

Боже мой, как же мы обрадовались, когда час назад в нашу клетку попросилась сердобольная бабушка! Она принесла нам чай в термосах. Мы впустили старушку к себе, но от горячего напитка наотрез отказались, несмотря на то что от холода наши зубы беспрестанно выстукивают морзянку. «Титаник» с дежурными на палубе медленно уходит под воду, но мы бодримся и играем (беззвучно) веселые произведения, как те отважные музыканты, погрузившиеся в морскую пучину, не выпустив из рук оркестровые инструменты. Нам не нужны спасательные шлюпки. 22 января 2000 года мы столкнулись с айсбергом, но никто не дождался от нас того, что мы станем делить город на казаков и разбойников.

Дежурных не надо жалеть. Жалуют глупых, а мы в свои семнадцать лет дадим фору академикам. Людям, наверное, кажется, что наши мысли, слова, действия загадочны и непредсказуемы, но это не так. Если бы они выключили ум и сознание и включили бы сердце и подсознание, то прочитали бы нас от корки до корки. К слову, тогда бы отпала всякая необходимость в дежурных. К примеру, Левандовский, трудившийся над фашистами, благодарит судьбу за то, что она лишила его пальца, а не головы. Сегодня утром Алексей сам признался мне, что он не стал бы легендой переходного периода даже в том случае, если бы погиб в борьбе с национализмом.

3 часа дня. Сорок минут назад подходили коррупционеры. Вернее, конечно, чиновники, но коррупционеры — слово звучное, нельзя не употребить.

Коррупционеры, отозвавшие меня в сторону, оказались очень интеллигентными людьми. Не скрою, что именно такими я их себе и представлял. Наисимпатичнейшие люди. Пожалуй, составлю их словесный портрет... Но вот загвоздка: они абсолютно ничем не отличаются от нас.

Я даже уверен, что они, как все нормальные люди, осуждают коррупцию, когда видят ее по телевизору. На экране она выглядит образцово-показательным злом. «Ай-ай-ай, — качает головой среднестатистический взяточник. — Разве так можно? Да я, по сравнению с этими негодями, почти не беру. Я честный человек, служу Отчизне, а эти... Тьфу! Глаза бы мои не видели! Согласен, что и ко мне приходят посетители, просят, конечно, чтоб помог. Конвертики приносят, не без этого. А как отказать? Скажите, как отказать человеку, который без тебя погибнет? Вы бы смогли?.. Вот и я не могу. Бывало, слезы так и брызнут, так и брызнут, когда услышишь, через какие тернии прошел человек, но так ничего и не добился. А я помогу! Сажайте меня, делайте со мной, что хотите, а я все равно не брошу человека в беде. А он, конечно, отблагодарит за услугу. А вы бы разве не отблагодарили, если бы вас провели за ручку через все инстанции, как ребенка? Разве это взятка? Чуть собачья! Подарок благодарного посетителя благородному государственному мужу... А вот некоторые приходят в присутственное место без подношения в белом конверте. Таким намекну, что так не делается. Если они хотят, чтобы я потратил время на решение их личных вопросов в ущерб государственным, то мой труд обязательно должен быть вознагражден. А как же иначе... Служебные дела отставляю в сторону, чтобы помочь человеку».

Коррупционеры предложили мне деньги в обмен на то, что мы с парнями уйдем с площади. Каково, а?! Это дежурному по стране-то! Это они бойцу переходного периода с трехнедельным стажем эволюционной борьбы! Это они человеку, который за свои идеалы так же легко расстанется с жизнью, как с очередной подружкой после ночи любви. Это они небоскребу чистых помыслов, Александрийскому столпу патриотизма, Останкинской башне целебных преобразований! Как смели они!..

Конечно, я не задумываясь взял. Если есть возможность заработать деньги на строительстве гражданского общества, то ее надо использовать. Взять-то взял, но только своих обязательств не выполнил: мы остались на площади. Коррупционеры были в бешенстве. Понятно, что им хотелось кричать о том, что я без зазрения совести засунул в карман тысячу долларов, поклявшись, что мы уберемся с глаз долой. Но кругом, простите, журналисты, тут не поорешь. Пятнадцать минут я наслаждался бессильной злобой чиновников, но потом сжалился над ними: чтобы немного согреться, мы с пацанами развели костер из валюты. Люди за колючей проволокой были в шоке, увидев то, как мы безобразно распорядились деньгами. Замечу, что они явно переоценивают силу доллара: баксы горели ярко, но тепла не дали; от обыкновенных дров было бы больше проку.

Сейчас в трех метрах от меня плачет Стегов, доказывая лежащему на раскладушке Кресту, что это не слезы, а пот. Какой там пот: на улице тридцать два градуса ниже нуля!

Кажется, что-то сейчас будет. Возобновлю записи позже...

* * *

— Колян, ты че? Помирать, что ли, собрался? Ты это брось. Мы же с тобой уже два года...

— Как зло творим, Виталья, — продолжил Крест и закрыл глаза. — Кажись, сдохну я. Трясет всего. Горю... Кончай слезы лить.

— А ну заткнись, — бросил Стегов. — С чего ты решил, что это слезы? Просто пот от твоей наглости прошиб. Ты, значит, помрешь, а мы тут сопли морозь, так?! Не имеешь права!

— Мамка ночью звала. В белом вся.

— В натуре?

— Да... У меня все нутро сгнило. Не хочу жить.

— Больной, что ли? Мы еще повоюем. Скоро народ подтянется, а ты тут дохлый. Это невежливо, негостеприимно это... Провоняешь еще.

— За это не переживай. Тридцатник давит. Не протухну. Иди на свой пятак, а то еще заразишься от меня.

— Чем от тебя можно заразиться? Разве что только унынием. Другой болезни я в тебе не наблюдаю.

— Как это?

— Так это... А теперь лежи и смотри, как у деревни Крюково будет геройски погибать взвод.

Стегов оставил больного и начал обход дежурных. Он тихо объяснил каждому парню, что они будут делать дальше. Ребята заулыбались. Им понравился план, который предложил Виталий. Удивлению людей, стоявших за колючей проволокой, не было предела, когда они увидели, как дежурные стали снимать шапки, куртки и сваливать их в кучу у памятника Ленину. Стегов снял с рукава красную повязку, сложил ее вдвое и перевязал правый глаз. Львиный рев, вырвавшийся из горла новоиспеченного Кутузова, отбросил зевак, журналистов и милиционеров на пятьдесят метров от колючей проволоки:

— Раздевайся, пацаны! Бой за Шанхай будет жарким! Левандовский!

— Да, капитан!

— Где народ?! Ты обещал подкрепление! Где оно?

— Не могу знать!

— А как выглядит твой народ? Скажи, какого цвета у него штаны?!

— Черт его знает!

— А глаза какие?

— Бесстыжие, капитан!

— А какого черта мы тогда ждем?! Взво-о-од, к бою! Занять круговую оборону! Зарыться в брусчатку! Живо!.. Браминский!

— Я!

— Облить бензином колючку! Возьмешь в помощь первое отделение! Пустишь красного петуха по команде!

— Есть!

— Тайсон!

- На месте, кэп!
- Как у нас с боеприпасами?
- Китайские бомбочки! Дымовые шашки! Новогодние фейерверки!

Ракетницы!

- Раздать бойцам! Огонь по команде!
- Есть! — крикнул Тайсон и бросился выполнять приказ Стегова.

Площадь замерла. Зеваки, омовцы, не ожидавшие такого развития событий, растерялись. Никто из присутствовавших в тот день на площади не мог припомнить ничего подобного. Включились камеры.

Магуров подбежал к Стегову и бросил:

— Господин фельдмаршал, разрешите обратиться к рядовому Левандовскому!

— Христос с тобой, Безухов! — Кутузов перекрестил толстяка. — Валяй!

— Левандовский! — сложив ладони рупором, изо всех сил закричал Магуров, хотя прекрасно видел, что друг лежит в каких-то трех метрах от него.

- Я! — откликнулся Алексей.
- Возможно, нас будет штурмовать ОМОН!
- Получат отпор!
- Уверен, что ты будешь драться до последней капли крови!
- Не сомневайся!
- Этого делать нельзя!
- Пошел ты!
- Кровь мента — братская кровь!
- Теперь все равно! Шанхай гибнет!
- Побойся бога!

— Сволочь! Магуров, ты — сволочь! Будь проклят тот день, когда ты стал моим другом! Будь я проклят, если хоть один волос упадет с головы моего соотечественника! — Левандовский зажал уши и сжался в комок.

— Клянись, дежурный! На площади! Принародно!

— А-а!

— На колени, Лёха!.. Все дежурные по стране — на колени! Повторять за мной!.. Клянусь на лобном месте всем святым, что у меня есть, что в борьбе за светлое будущее Отчизны не пострадает ни один человек, кроме меня! Клянусь в этом своими родителями, прахом предков, верой, которую исповедую! Отныне и во веки веков!

— Отныне и во веки веков! — поднялось в небо над площадью.

После того как парни повторили за Магуровым слова клятвы, Стегов отдал приказ о начале боя против превосходящих сил равнодушия. Загорелась колючая проволока. Вспыхнула брусчатка. Пошла в ход пиротехника, приготовленная ребятами для встречи с народом, на поддержку которого уже не рассчитывал ни один дежурный. Алые языки пламени начали лизать и оптимизм Левандовского, и пессимизм Магурова.



Пала лошадь по имени Вера. Не выдержав бешеной скачки, отбросила копыта Надежда. И только Любовь, самая жизнеспособная и выносливая кляча из всей тройки, продолжала нести карету с дежурными и мертвых подруг по ухабистым дорогам России.

Дым от шашек занавесил бойцов гражданского фронта от людей, которых нельзя было назвать даже дезертирами, так как они ни разу не были на передовой. Яростные крики солдат перекрывали разрывы китайских бомбочек и хлопки ракетниц.

То, что происходило у памятника Ленину перед Домом правительства, было одновременно и веселым, и грустным зрелищем. Театр военных действий, насыщенный спецэффектами и бутафорией, давал спектакль с участием талантливых актеров, которые с каждой минутой все больше и больше покоряли зрительские сердца. С затаенным дыханием люди следили за развитием событий. На улыбавшихся лицах горожан блестели слезы.

Сон смешался с явью, когда на площади раздался пронзительный крик Стегова:

— Крест ранен! Магуров, вынести товарища с поля боя!

— Нет! Я не ранен! Я болен! Я остаюсь с вами!

— На войне не бывает больных! Или раненые, или убитые!.. Магуров, у него сквозное ранение легких! Уже наверняка началось воспаление! В санбат!.. И передай там врачам и медсестрам, Крест, что мы не в силах повисить им зарплаты, но обещаем уступать им место в общественном транспорте и при встрече кланяться в пояс даже в том случае, если они будут младше нас на пятьдесят лет! Врачи — дворянское сословие! Нищее, но дворянское! И пусть теперь попробуют угробить тебя только потому, что их труд не оплачивается!

Магуров взвалил Крестова на плечи и покинул поле боя, направившись в республиканскую больницу.

Тишина. Дым рассеялся. Тридцать один градус ниже нуля. На ледяной брусчатке лежали полураздетые молодые люди. Артисты балаганной труппы стали трупами. Хлопьями повалил снег, он стал присыпать дежурных. Загипнотизированные горожане ждали, что будет дальше. Шок от представления, показанного на площади, был настолько сильным, что к парням никто не осмеливался подойти. Пар клубился над головами большинства дежурных, доказывая, что они все еще живы. Над некоторыми дымок уже не курился: вероятно, они впадали в зимнюю спячку, как медведи.

Тут и конец первопроходцам гражданского общества, если бы не дивный женский голос, разлившийся по морозной площади весенним ручьем:

— Мальчики, вставайте! Просыпайтесь, мальчики! Как же я без вас?!

Трупы поменяли позы, но не поднялись, дав понять, что одной девушки на всех не хватит. Тогда добрая фея, одетая в белую шубку, отороченную беличьим мехом, запела:

Слышу голос из прекрасного далека,
 Он зовет меня в чудесные края.
 Слышу голос — голос спрашивает строго:
 «А сегодня что для завтра сделал я?»

Так никогда не споют звезды отечественной эстрады, голосовые связки которых, надрываясь, разгружают вагоны с деньгами. Так могут петь лишь свободные люди, талант которых никогда не попадал в рабство ни к продюсеру, ни к фонограмме, ни к славе, ни к золотому тельцу. Чистый голос девушки, повиновавшийся только бескорыстным порывам ее сердца, совершил невозможное: парни ожили. Зеваки превратились в народ, который начал скандировать:

— Шан-хай! Шан-хай! Шан-хай!

* * *

Яков, 6 часов вечера.

Возобновляю дневниковые записи. Холодная брусчатка Первомайской площади — это вам не лежбище морских котиков в арктических широтах. Дежурный Валуев, дежурный Коробейников и дежурный Стецович госпитализированы, но нас все равно сто шестнадцать человек. Без комментариев.

9 часов вечера. Нас триста, как спартаковцев у Фермопил.

* * *

Яков, 26 января 2000 года.

Половина первого ночи. Нам нет счета. Скоро площадь не сможет вместить всех людей, желающих присоединиться к спартаковцам.

3 часа ночи. К нам присоединились молодые шанхайцы. Мы вручили им красные повязки у всех на глазах. На мой взгляд, тайное общество исчерпало себя, так как явно наметились ростки гражданского.

4 часа утра. Подпалив свои бараки, старые шанхайцы сожгли мосты. Назад пути нет.

10 часов утра. В супермаркетах скуплена вся мороженая виктория, потому что победа. Мы пьем шампанское, едим ягоду и радуемся. Я всегда знал, что две пятиэтажки в четвертом микрорайоне были построены как раз для шанхайцев. Ради того, что мы сделали, стоит жить. Через сорок лет я буду рассказывать своим внукам о том, как их прапрадед, воевавший в партизанском отряде, избавил людей от верной смерти, а дед, дежуривший на пограничье тысячелетий, — от невыносимой жизни... Нам крупно повезло, потому что новички, как известно, фартовые ребята. Весь город гудит.

11:45. Страшное время. Боже, мы теперь с Левандовским смерти искать будем. Точи косу, старуха, мы готовы. Не жизнь это, не жизнь. Хорошо, что Мальчишки не было рядом, он бы не вынес.



Только что подходили заплаканные девочки-близняшки и сказали:

— Папочка просил передать, что он стоял в очереди на квартиру пятнадцать лет, а теперь ее отдают другим.

Лёха спросил:

— Где папа-то ваш?

Малышки ответили:

— Он просил передать, что его уже нет.

Будь мы прокляты!

Глава 14

26 января 2000 года. Город N. Квартира. Шесть дней до времени «Ч».

Бочкарёв лежал на диване и смотрел вечерние новости на местном канале. После того как кончился блок, в котором на Первомайской площади показывали Левандовского и Магурова, Артём поднялся с дивана и стал наматывать круги по комнате. Бочкарёв совсем не ожидал увидеть своих друзей по телевизору, поэтому долго не мог справиться с волнением. Убавив громкость, Артём почесал пультом под носом, принял горизонтальное положение и занялся детальным восстановлением репортажа.

Бочкарёв в мельчайших подробностях запомнил показанный сюжет, от первого до последнего эпизода. Вспомнив клятву, произнесенную дежурными на Первомайской площади, Артём зевнул, так как слова товарищей по тайному обществу не зажгли его, а вызвали апатию. Бутафорскую баталию, организованную ребятами перед Домом правительства, Бочкарёв окрестил про себя неврастенической войнушкой от мороженых. А красивую девушку, которая исполнила подростковую песню эпохи совка, он прозвал романтической дурехой. Бочкарёва интересовали вопросы, имеющие косвенное отношение к делу. Почему люди, находившиеся перед Домом правительства, одеты в нестильные шапки, куртки и шубы? Где работает цирюльник, убедивший Левандовского в том, что лысая голова — это последний писк моды? Каким одеколоном брызгался Магуров перед выходом на площадь? Почему пацанскую тусовку не разбавили реальными телками?..

Бог наделил Бочкарёва таким количеством талантов, что их хватило бы на добрую сотню человек. Часть способностей парень зарыл в землю, а другой частью пользовался не по прямому назначению. Младенец, увидевший свет на стыке исторических плит, должен был стать генератором новых идей, но выродился в потребителя, усевшегося на шею богатой матери. Его менее одаренные друзья продвинулись в постижении мира гораздо дальше, чем он, так как познали радость труда. Магуров, конечно, тоже за всю свою жизнь не ударил палец о палец, но он хотя бы завидовал Молотобойцеву, Женечкину, Волоколамову и Левандовскому, когда они с гордостью рассказывали о своих рабочих успехах. Да, Яша завидовал, а Артём не понимал, совсем не понимал,

почему при воспоминаниях о самостоятельном труде в глазах его друзей зажигаются светлячки.

Например, Вася при случае обязательно хвалился тем, что соленья и компоты, которыми он потчует гостей, помнят его руки с тех самых пор, как были еще семенами и саженцами, когда он с деловым видом прошаживался по собственноручно вскопанному огороду в поисках удобного места для яблоньки или грядки под огурцы, словно мичуринец. «А сбор картофельного урожая, — делился с друзьями Молотобойцев, — я ни на что не променяю, потому что вся моя большая семья с шутками и прибаутками копается в земле рядом со мной. Мы с моими родителями и родственниками роем лунки, как дети, как прозревшие кроты, и счастливая улыбка не сходит с наших лиц, потому что наконец-то нам удалось собраться всем вместе. Великий осенний день, который кормит год, сплачивает нас не через пьяную болтовню праздничных застолий, а с помощью коллективного труда на земле, из которой мы вышли и в которую уйдем».

Леонид хвастал тем, как он четырнадцатилетним мальчишкой устроился на работу в строительную артель и за два месяца так напрактиковался в плотницком деле, что мог забивать гвоздь «сотку» с двух ударов... Алексей гордился тем, что в пятнадцатилетнем возрасте он несколько раз разгружал вагоны с солью, не уступая работавшим на его отца мужикам ни в силе, ни в выносливости. А Вовка не стеснялся признаться в том, что до поступления в институт он на протяжении двух лет помогал дворнику убирать территорию в родном поселке, так как искренне считал, что чистота окружающей среды благотворно влияет на ауру человека.

Разве Бочкарёв мог понять своих друзей? Всю юность трутень с телом Аполлона занимался только тем, что спаривался с матками городского улья. Беспорядочные половые связи не довели его до добра: Артём пресытился, любовные утехи истощили молодой организм, после ночных оргий он стал болеть, как с похмелья. Глаза, в которые когда-то, как в зеркало, любила смотреться целомудренная красота Вселенной, ввалились. Кожа Бочкарёва приобрела желтый оттенок. Его мышцы одрябли. На диване лежал изношенный трутень с лоснившейся от жира душой. Праздность, возведенная в абсолют, постепенно разьедала Бочкарёва. Он представлял собой страшный тип человека, который заполнил страну в самый неподходящий момент. Это был один из наших многочисленных тарзанов, вырванных из джунглей и приставленных к позорным шестам увеселительных заведений для удовлетворения животного воображения похотливых дам. Женоподобный трутень, он был начисто лишен жала, которое есть у всякой рабочей пчелы, добывающей свой хлеб в поте лица и охраняющей семью от посягательств недругов. Красную повязку дежурного получил человек, который в свои семнадцать лет не умел ни любить, ни ненавидеть.

Кто бы мог подумать, что именно Бочкарёву предстояло нанести сокрушительный удар по гнилой системе координат с перепутанными осями-хромосомами X и Y.

— Понятно... — анализировал Артём телевизионный репортаж. — В боях с немецко-фашистскими захватчиками Лёха потерял безымянный палец на левой руке. Замечательно... Теперь ему точно не грозит армия. А Магуров, если я правильно понял, подарил часть своей полноты шанхайской худобе. Нормалек. У обоих, как я смотрю, все получилось. Великолепно. Да, просто отлично, если не брать во внимание тот факт, что пацаны нарушили договор: Леваңдовский не имел права помогать Магурову на его участке. Когда все дежурные соберутся в стенах общезжития «Надежда», чтобы обсудить итоги проведенной работы, я буду настаивать на том, что Яха и Лёха дискредитировали алую повязку. Мы проведем открытое голосование. Даю голову на отсечение, что решением большинства членов тайного общества проштрафившиеся пацаны будут изгнаны из наших рядов. Вдобавок Магуров рассекретил нашу деятельность, прилюдно озвучив название подпольной организации. Он крикнул на площади: «На колени, Лёха!.. Все дежурные по стране — на колени!»

Бочкарёв скатился с дивана. Упав на пол, Артём лежал без движения до той поры, пока стали невыносимы мысли о том, что в школьные годы из-за надуманных недугов он лишил себя такого поистине здорового счастья, как уроки физкультуры. Прокляв врачебную справку, которая в школьном обиходе зовется освобождением, Бочкарёв принял упор лежа и без видимых усилий отжался сто раз.

В дверь позвонили. Бочкарёв открыл дверь. В квартиру зашла красивая женщина лет сорока. Она поставила на пол сумку с продуктами и выдохнула:

— Уф... Ел?

— Да, мама, беседой с котом перекусили.

— Тёма, разговорами сыт не будешь. Я вам котлеты на плите оставляла. Надо было разогреть.

— Надо было с детства называть меня не Тёмой, а Артёмом. А разговор, которым мы набили животы, чем-то напоминает творог. Только он не белый, а черный, как грязь.

Мать подошла к сыну, потрогала его лоб и спросила:

— Что с тобой? Ты не заболел?

— Нет, я как раз выздоровел, — грубо ответил Артём.

— Сынок, что происходит?

— Со страной-то?.. Ничего особенного. Ей мат.

— Что еще за страна? Какой мат?

— Мат, который матриархат. У меня нет слов, мама. Один мат. Мат, который матриархат. Нас положили на лопатки на мат. Мат, который матриархат.

— Успокойся.

— Нет, это ты успокойся! Раздевайся и проходи в зал. Мне с тобой надо очень серьезно и обстоятельно поговорить.

— О чем?

— Обо всем.

— Сынок, ты меня пугаешь. Что случилось? И что у тебя за повязка?

— Я прозрел... Прости меня, мама.

— Тёма, ты что? Мне не за что тебя прощать. Ты ничего не сделал.

— Вот именно за это и прости. Ты спросила меня о красной повязке. Я надел ее, чтобы принять позор за то, что не сделал. Ничего не сделал, мама. Абсолютно ничего за всю свою жизнь. За это тоже надо платить. В ближайшие дни красная материя на моем рукаве станет багровой от крови. От меня все отрекутся. Даже те, кто носит точно такую же повязку. — Бочкарёв внимательно посмотрел в глаза матери. — А ты?

— Нет, я не отрекусь, но я не понимаю, не понимаю, ничего не понимаю!.. — произнесла мать и заплакала.

Артём взял женщину под руку, проводил ее в зал, а сам пошел на кухню. Вернувшись в комнату, он подал ей стакан воды и сказал:

— Сядь, мама, и постарайся успокоиться. Я в здравом уме. Может быть, все еще обойдется, хотя вряд ли.

— Надеюсь, ты не убьешь себя? Сынок, я этого не переживу! Ты самое дорогое, что у меня есть.

— Хуже, мама. Скорей всего... мне придется потерять честь. За народ, для народа, во имя народа.

— Я... ничего... не понимаю, — всхлипывая, сказала мать. — Тёмочка, давай к доктору ходим.

— Зачем куда-то идти? Дежурный врач стоит перед тобой.

— Ты сейчас только не нервничай. Я имею в виду психиатра.

— Он тоже присутствует здесь. Во мне сидят десятки узких специалистов, от хирурга до сексопатолога. — Артём снял повязку, пропитал ее материнскими слезами и произнес: — Вот теперь порядок — слезы жен, матерей, сестер и дочерей на мне. Завтра начну сложную операцию без наркоза. Если перестанешь плакать, то я объясню тебе причину твоего сумасшествия.

— Моего?

— Ну не моего же.

— Обещаю, что больше не пророню ни слезинки.

— Но будешь рыдать и грызть локти до конца жизни, если не вылечишься от матриархата. Этой болезнью заражены почти все наши женщины. Когда советская власть стерла различия между полами, мужчины начали понемногу отвыкать от всякой работы, а потом вообще запили.

— Мужики всегда пили.

— Пили и работали. А при советской власти просто пили.

— Что ты хочешь всем этим сказать?

— Что современным женщинам плевать на мужей и детей. Теперь им хочется только тешить собственное эго и ни в чем не уступать мужчинам. Они вдруг возомнили себя независимыми и свободными, стали суверенными государствами в собственных семьях. Не без помощи советской власти, к которой после падения железного занавеса присоединилась

западная пропаганда, вы попрали вековые устои, замахнулись на чужие функции, а теперь плачете: «Тёмочка, я ничего не понимаю».

— Артём, пожалуйста, прекрати. Я запрещаю тебе говорить со мной в таком тоне.

— Да, тон мужчины вам претит, ведь вы давно забыли о том, что наша сила — в силе, а ваша — в слабости. Получайте за эмансипацию! Продолжайте кормить инфантильных мужей и ныть, оттого что ваши дети вырастают в алкоголиков, наркоманов, бездельников и проституток. Только не думай, что я оправдываю мужчин. Я просто пытаюсь разобраться в серьёзной проблеме. Одно у меня не вызывает сомнения: в немалой степени именно вы, российские женщины, виновны в развале ячейки общества.

— Разве только мы?

— Да, потому что карьеру, высокий заработок, независимость начали ставить выше интересов членов семьи, которых вы объединяли в единое целое тысячи лет.

— Кто вам, мужчинам, мешает зарабатывать деньги и делать карьеру?

— Никто.

— Тогда — вперед.

— Вся фишка в том, что зарабатывать деньги и делать карьеру некому, потому что от мужчин осталась одна оболочка. Есть алкоголики, наркоманы, инфантильные и безответственные маменькины сынки... навроде меня, а стержневых мужчин — нет.

— Меняйтесь.

— Не будем, потому что на вас смотреть тошно.

— Чем мы вам опять не угодили?

— Бабушки — ничем. Несмотря на то что им сказали, что они могут запросто заменить дедушек, семьи все еще продолжали жить старым укладом. Женщины воспитывали детей, поддерживали огонь в очаге, а мужчины вкалывали... Мамы — почти ничем, так как разрывались между семьей и повышением своего статуса в обществе, как будто он до этого был низким... А мои сверстницы — уже всем, потому что стали независимы и свободны не только от семьи, но и вообще от всего, от всех старых добрых ценностей, от всякой морали.

— Ты женоненавистник.

— Нет, я дежурный, который приставлен следить за порядком. Тысячелетним порядком, между прочим.

— Какой еще дежурный? Почему ты себя так называешь? Если этот самый дежурный осчастливит тысячу человек, а собственную мать сделает несчастной, то грош ему цена.

— Одно «но»: если мать не эгоистка, считающая, что сын принадлежит только ей, то она поймет сына.

— А кому принадлежит ее сын, если не секрет?

— России.

- России?
 - Российской Федерации.
 - А как же я, твоя мать?
 - У меня две матери: мать и Родина-мать.
 - Зовет?
 - Давно. Плачет и зовет.
 - И что ей, по-твоему, надо?
 - Шоколада.
 - От кого?
 - От сына твоего.
 - А разве мой сын сможет в одиночку справиться с ее проблемами?
 - Нет.
 - Боже, я больше не могу все это слушать! — воскликнула мать. — Тогда зачем? Зачем все это?
 - Ты сама знаешь ответ.
 - Нет же!
 - Скажи, кем ты хотела меня видеть, когда я у тебя появился?
- Быстрый ответ! Немедленный!
- Хорошим человеком!
 - Во-о-от... — протянул Артём. — Вот и России этого вполне достаточно, чтобы ощутить себя счастливой матерью. Она прекрасно понимает, что мы не в состоянии улучшить ее положение, но дай ей хоть порадоваться нашим попыткам.
 - И сколько вас таких? — вздохнув, спросила мать.
 - Шесть чело... то есть... шестьсот.
 - Так шесть или шестьсот?
 - Шесть тысяч, если быть точным.
 - Ты уверен?
 - Шесть миллионов.
 - Хватит врать. Остановись уже.
 - Даже не подумаю, потому что Артём — это сын Вячеслава, а еще — внук Андрея, а еще — правнук Ярослава, праправнук Игоря... и так далее, до зари времен. Я — макушка генеалогического древа, венец тысяч поколений, предшествующих мне. Мои руки уже знакомы со всеми ремеслами. Мои ноги вдоль и поперек исходили все континенты. Мои глаза любовались первоженщиной в саду Эдема. Моя кровь проливалась на полях сотен больших и малых сражений. Мое сердце извело все скорби и радости. Моя память может восстановить хронику событий от сотворения мира до настоящего дня. Я рождался тысячи раз, а умирал — на один меньше. Сильнее меня может стать только мой наследник, который вберет в себя все то, что узнал и пережил я. Приложу максимум усилий, чтобы мой ребенок обогатился еще до того, как появится на свет, а после того — тем паче. Пока что мне нечего передать ему, кроме стыда и срама.
 - Бред, — вжавшись в кресло, прошептала мать. — Бред сумасшедшего. Эти твои слова...

— Называются исторической памятью... Мама, я вижу, что ты устала.

— Очень. Голова раскалывается.

— Выпей таблетку и ложись спать... Напоследок скажу, что с первого февраля я не буду брать у тебя деньги. Вообще не буду, но сейчас мне нужно пятьдесят тысяч. В долг.

— Сколько?!

— Пятьдесят, — повторил Артём.

— Это моя месячная прибыль... Отец... твой отец бы этого не одобрил, если бы был с нами.

— Не говори за него.

— Хорошо, Артём, но это все же очень большая сумма. Я не могу дать столько.

— А сколько сможешь? Я все верну. Устроюсь на работу и верну.

— Могу только тридцать. С налогами через неделю рассчитываться.

Пожалуйста, войди в положение.

— Не смогу, даже если захочу.

— Мне показалось, что ты изменился.

— За один день? Так не бывает.

— И все же постарайся войти в положение одинокой матери. Сам подумай, каково мне с двумя детьми на руках.

— Думаю, думаю, думаю... Положение, положение, интересное положение... Я думаю, быть в интересном положении — прерогатива женщин. А вы совсем рожать перестали. Вы обезумели.

— Хватит! Не цепляйся к словам. Я не могу это больше слушать.

— Нет, не хватит. У меня замечательная сестренка, и ты знаешь, что я очень хорошо к ней отношусь, но я всегда мечтал о том, чтобы детей в нашей семье было в три раза больше. Где еще две сестры и два брата? Где? Где, мама?!

— Сейчас же прекрати! — закричала мать. — Не смей издеваться надо мной! Смеяться над родителями — грех!

Помолчали.

— Прости меня, за то что причиняю тебе боль, — сказал Артём.

— Я люблю тебя.

— Я тоже тебя люблю... Знаешь, мне сейчас легко-легко. Я даже взлететь могу, только не хочу.

— Правда?

— Да... Признав себя подонком, я почувствовал, что с меня спало проклятье. Я теперь боюсь только, что меня покинут угрызения совести. Я их в себе заточу, мама. На семь замков запру, потому что в первый раз за долгое время чувствую, как все женщины стали мне сестрами. Я даже влюбиться сейчас могу. Вот возьму и влюблюсь, как в первом классе.

— Сынок, сынок... — улыбнувшись, сказала мать.

— А рождение детей — это самое великое поприще, которое может выбрать женщина. Мужчины забыли о том, что они способны согнуть



подкову, придумать сверхсовершенный компьютер, освоить космос, быть первыми во всех областях знаний и умений, но ни один из них не способен произвести на свет дитя. В этой сфере мужчина — полный профан и бездарь, зато почти все женщины могут выносить, родить и воспитать ребенка, который вырастет в нового космонавта... или мать космонавта.

От таких слов мать сомлела и произнесла:

— Налоги подождут. Пятьдесят тысяч так пятьдесят тысяч.

— Налоги заплатишь. Я не хочу, чтобы из-за меня пострадали пять пенсионеров, четыре учительницы и три пожарника.

— Или один депутат Госдумы.

— Не надо, мама. В парламенте много хороших и компетентных людей, которые не зря едят твой хлеб.

— Плохих и глупых тоже хватает.

— Как и везде, — предложил законопроект Артём.

— Как и везде, — подписала законопроект мать, но все же внесла небольшую поправку: — Только депутатов все равно надо выселить на необитаемый остров. Их надо изолировать.

— Шутишь?

— Нисколько, так как они — неприкосновенные. У них на теле — проказа; люди могут заразиться.

— Не путай неприкосновенных с неприкасаемыми. Читала про такую привилегированную касту в древней Индии?

— Да, индийское общество делилось на касты. Кшатрии работали, воины воевали, неприкасаемые брахманы-жрецы жрали.

— Вот и пусть жрут, а выселять их куда не надо.

— Точно?

— Точнее не бывает.

— Обойдешься тридцатью тысячами?

— А куда я денусь... В случае острой необходимости недостающие двадцать кусков заменю позором. Только никому не говори, что твой сын — дежурный по стране.

— Никому, — поклялась мать, но уже на следующий день доказала, что поговорка «по секрету всему свету» придумана не зря.

* * *

Проснувшись ранним утром, Бочкарёв умылся, оделся в черный костюм строгого покроя и пришел на кухню. На столе его ждал завтрак, представленный двумя бутербродами с ветчиной, яйцом и глазированным сырком. Артём потянул носом и улыбнулся: по едва уловимому аромату духов, чувствовавшемуся в кухне, он понял, что мать и сестренка-первоклашка ушли недавно. На холодильнике висел листок, на котором печатными каракулями было написано: «Старший брат, веди себя примерно. Я уже умею читать без слогов и пишу хорошо».

— Рад твоим успехам, малышка, — сказал Бочкарёв и поцеловал караули. — Сделаю все возможное, чтобы у тебя было счастливое детство.

Позавтракав, Артём подошел к книжным полкам и попытался отыскать Толстого. Лев Николаевич долго не обнаруживал себя, но вскоре роман «Воскресение» был найден.

Книги просто разучились читать вслух при большом стечении народа, думал Артём. В N-ске и во всей стране надо ввести новую, хорошо забытую старую моду на чтение. Эта оригинальная идея может сработать как раз в наше время, когда всем уже порядком поднадоели ночные клубы. Культурная тусовка — неплохое словосочетание, хоть и режет слух. Только как затянуть молодежь в литкружки и литсалоны? Для начала такое времяпрепровождение должно стать престижным. Если целый год главные каналы телевидения будут верещать о том, что состоять в литкружке, где читаются и обсуждаются произведения классиков литературы, — это модно, что Ксюша Собачкина, будь она неладна, является руководителем литсалона почитателей творчества Некрасова, что Децл и интернациональные Иваны после концертов направляются не куда-нибудь, а в литобъединение «В гостях у Астрид Линдгрэн», то молодежь городов и сел начнет копировать поведение своих кумиров. Но оно Ксюше, Децелу и Ваням надо? Нет. А раз нет, то государство в интересах национальной безопасности должно поставить их себе на службу. Как? Тупо купить. Купить с потрохами. Купить за большие деньги всех кумиров сроком на пять лет, как футбольный клуб покупает игроков. Ксюша Собачкина и иже с ней должны играть за команду России, а не против нее.

Шесть часов тренировался Артём. Курсируя по роману «Воскресение» взад-вперед, он выбирал наиболее сильные отрывки и учился читать их с выражением. Пятнадцать раз обманутая Катя от отчаяния падала в бездну древнейшего порока и двадцать раз воскресала к новой жизни, так как Бочкарёв понимал, что забуксовать на абзаце или диалоге — это то же самое, что зарюхаться в грязь, замарать чистую мысль и сбить с толку слушателей. И уже через шесть часов, отведенных на тренировку, Артём в совершенстве овладел искусством выразительного чтения.

В обед Артём поехал в родную школу, нашел директора, Надежду Степановну Медведеву, которая приходилась ему родной тетей по материнской линии, минут десять поболтал с ней о пустяках, а потом, замаявшись, сказал:

— Надежда Степановна, я к вам с такой просьбой...

— Не к вам, а к тебе. Артём, я твоя тетя — не забыл?.. Говори, с чем пришел?

— Мне нужен на ночь тридцать третий кабинет.

— С какой целью?

— Буду читать проституткам Толстого.

— Кому?! — с негодованием воскликнула Надежда Степановна. — Ты с ума сошел! Это школа, а не панель!

— Это школа, откуда идут на панель! — зло произнес Артём. — Или у нас на панель с луны сваливаются?.. У тебя, наверное, ко мне много вопросов, да?

— Миллион, потому что я в полной растерянности от твоей просьбы.

— К сожалению, я ничего не могу тебе объяснить. Это не моя тайна.

— Все объясняется очень просто: ты спятил. Я немедленно звоню твоей матери.

Разговор сестер длился около пяти минут. С первых секунд брови директора школы медленно, но верно поползли вверх. Она нервно теребила телефонный провод, изредка с удивлением поглядывала на племянника и часто закусывала губу. Повесив трубку, Надежда Степановна холодно произнесла:

— В десять вечера сторож запустит тебя и этих...

— Запутавшихся женщин, — подсказал Бочкарёв.

— Это я и хотела сказать. Только не вздумай устроить из школы дом терпимости... Кстати, почему тебе нужен именно тридцать третий кабинет? Почему не двадцать первый, не шестнадцатый? Надеюсь, на это я услышу ответ?

— В тридцать третьем я пережил счастливые минуты. Под сводами этого храма русиша и литры так рассказывалось и о таком...

— Помню-помню, как на выпускном вечере вы рукоплескали Цокотовой.

— Мы многим аплодировали, но у этих многих были прозвища, а у Цокотовой — никогда. Мы звали ее строго по имени-отчеству не только на уроках, но и на перекурах в туалете, несмотря на то что ее любимой оценкой была тройка. Только почему-то ее середнячки легко выигрывали все городские и республиканские олимпиады. Вот так, дорогая тетя.

В девять часов вечера Бочкарёв нанял автобус и начал снимать проституток на улице Пушкина.

— Куда тебе столько? Не справишься, многостаночник, — смеялись сутенеры.

— Завтра женюсь. Кучу пацанов на мальчишник собрал. Оторвемся по полной программе, — отшучивался Бочкарёв.

Жрицы любви очень удивились, когда их подвезли к школе. Дальше пришел черед удивляться сторожу, который открыл Артёму дверь по приказу директора.

— Все — за мной, — скомандовал Бочкарёв.

В классе дежурный рассадил девушек по партам, поставил сторожа на охрану двери, сел за учительский стол и произнес:

— Вы мне дорого обошлись, сестры. За внимание каждой из вас я заплатил тысячу рублей. Наш урок продлится пять часов. Надеюсь, вы хоть что-то из него вынесете. Сидите тихо. Если кому-то надо будет выйти в туалет, поднимите руку и отпроситесь, как вы это делали в школе.

— А как же занятия любовью? — хихикнув, спросила одна из девушек.

— Сегодня я буду любить исключительно ваши души. — Путаны переглянулись. — Считайте меня клиентом-извращенцем. Постараюсь, чтобы наше групповое духовное соитие принесло удовлетворение всем участникам процесса. Только сразу предупреждаю, что я выступаю против контрацепции. Я являюсь поборником опасного секса, ратую за полное слияние душ, так как мне надо, чтобы вы обязательно забеременели от моих мыслей по поводу невероятной силы русской женщины. Вам предстоит понести плод даже и не от моих мыслей: мои еще не совсем чисты и могут заразить вас болезнями. — В классе была гулкая тишина. — Я буду читать вам «Воскресение» Толстого. Прошу — доверьтесь писателю, без страха отдайтесь музыке его произведения, и вы не пожалеете. Не предохраняйтесь, когда его слова начнут овладевать вашими сердцами. Лев Николаевич несет доброе семя. Твердо верю в то, что если широкую душу русского мужика умножить на глубокую душу русской женщины, то наша земля преобразится от края до края... Слушайте...

Это была страшная ночь, во время которой Бочкарёв заработал первую седую прядь и порок сердца.

Чтение Бочкарёва было из ряда вон выходящим. Он материализовывал слова, и роман, словно цветок, распускался страница за страницей. Девушек пленил голос Артёма. Они настолько прониклись трагедией, которая разворачивалась перед ними, что приняли живое участие в судьбах персонажей Толстого. До слуха Бочкарёва не доходили советы, которые проститутки давали героям, чтобы помочь им выбраться из сложных обстоятельств. Девушки, искренне переживавшие за судьбу вымышленных персонажей, сначала негодовали на Бочкарёва, за то что он не замечает их реплик, но вскоре замолчали совсем.

Уже на первых страницах Бочкарёв оставил двадцать первый век, прорвался через пожар двадцатого столетия и оказался в эпохе Толстого. Собрав героев «Воскресения» возле себя, Артём одел их по моде начала третьего тысячелетия, рассказал им, чем живут и дышат их ровесники, и снова вернулся в свое время. Роман зазвучал по-современному, при этом не была изменена ни одна строчка.

Пять часов самозабвенно читал Бочкарёв. Несколько раз Артём был близок к обмороку, но не упал, потому что дежурный по стране имеет право падать на землю только мертвым — или, если уж совсем невмоготу, живым, но при одном условии: его никто не должен видеть.

Закончив чтение, Артём отложил книгу в сторону, невидящим взглядом обвел класс и, не имея сил сопротивляться навалившейся усталости, опустил голову на стол и уснул.

Проспал Бочкарёв до восьми часов утра. Пробудившись, он потянулся, протер глаза — и изумился тому, что увидел: за партами молча сидели проститутки и с теплом смотрели на него. Лица девушек были обезображены грязными подтеками высохших ручьев слез с застывшей на дне тушью.

— Сестренки, вы, наверное, всю ночь не спали, — с жалостью произнес Бочкарёв.

— Не переживай, брат, — ответила великовозрастная проститутка и, покраснев, скрестила на груди руки, чтобы скрыть от глаз парня пышные формы.

— Не стесняйтесь меня, — сказал Артём. — В каждой из вас вижу святую Марию Магдалину, которая, не побоявшись преследований, проводила нашего Спасителя на Голгофу. Она была падшей женщиной, и люди хотели забить ее камнями, но Христос не дал. Он загородил ее собой, потому что безраздельно верил в ее душу. Следовать примеру Господа должен каждый христианин, даже такой никчемный, как я. Запомните слова, которые я вам сейчас скажу. Развратник со стажем, стоящий сейчас перед вами, соблазнил так много девушек, что недостойно дышать с вами одним воздухом. Меня тиранит стыд, и я надеюсь, что он не покинет меня до конца жизни, потому что с ним мне ничего не страшно. Стыд делает меня неуязвимым, и я буду в одиночку побеждать там, где все уже смиряется с поражением. Я не одобряю проституцию, но всё же считаю, что девушки, занимающиеся постыдным делом, в десять раз лучше тех мужчин, которые покупают этих самых девушек, заставляют их выполнять невообразимые вещи, а потом имеют наглость считать себя нормальными людьми, а путан — вонючими шалавами.

В это время в тридцать третий кабинет залетел сторож. Роман Толстого потряс его до глубины души. Когда Бочкарёв закончил чтение, сторож тихо покинул класс и пошел ремонтировать краны в умывальниках. Починив всё, что без спроса бежало и без разрешения текло, он не успокоился и, вооружившись ведром и шваброй, вымыл коридоры на всех этажах. Убедившись в том, что школа сияет чистотой, что не осталось ни одного угла, в который бы он не заглянул с тряпкой, сторож решил принять душ в раздевалке спортзала. Тщательно намылившись, он встал под струю воды, смыл грязь с тела, но это не принесло облегчения, потому что на душе было все так же гадко и мерзко. Выбежав из кабинки, сторож быстро оделся и бросился в учительскую поливать цветы. Закончив с поливом, он взрыхлил землю в горшках. Не удовлетворившись и этим, бедолага занялся влажной уборкой листочков; он вытирал с них пыль до восьми часов утра.

— Девушки дорогие, — выпалил запыхавшийся сторож, — быстрее бегите умываться! Скоро дети в школу пойдут... Вот так подменил напарника... Кому расскажешь — не поверят! — И он пулей вылетел из класса.

На школьном крыльце проститутки столкнулись с вихрастым мальчуганом, учившимся во втором классе. Он снял с плеч новенький ранец, вытряхнул из него книжки и тетрадки прямо на ступеньки и начал хватать:

— Зырьте, какой портфель мама купила. Шесть отсеков и кармашек для пенала. Клевый, да? Главню, что отсеков много. Все вмещается. Че молчите, девочки? Разве плохой портфель?

Глаза девушек заблестели от слез. Они с нежностью смотрели на мальчика, и счастливые воспоминания о чудесных школьных годах кру-



жили им головы. Наивное хвастовство второклашки перенесло их в прошлое, и девушки увидели себя маленькими девочками в белых фартучках с букетами георгинов и гладиолусов в руках.

Жизнь — сложная штука, и автор погрешил бы против истины, если бы сказал, что после волшебной ночи, проведенной с Бочкарёвым, девушки легкого поведения сразу встали на путь исправления. Конечно, этого не случилось, потому что лень или обстоятельства часто бывают сильнее нас и человек начинает переносить обновление своего внутреннего мира с понедельника на среду. В итоге он начинает новую жизнь после дождичка в четверг.

Поздним вечером Бочкарёв решил прогуляться по улице Пушкина. Артём не удивился, когда ему на пути стали попадаться ночные бабочки, со многими из которых он расстался сегодняшним утром.

Бочкарёв молча обошел все так называемые «пятячки». Остановившись возле краеведческого музея, на котором заканчивалась территория продажной любви, он подозвал пившую коктейль проститутку и задал ей вопрос:

— Почему все ваши стоят на морозе?

— А че? — жеманно произнесла девушка.

— Оставь свои штучки... Про школу слышала?

— Так это ты?

— Я... Так почему тусуетесь на холоде?

— Будний день. Клиентов мало, и сутенеры выгнали нас из машин, чтобы показывали товар лицом.

— Зашибись... Я сейчас уйду, но скоро вернусь. Передай коллегам по цеху, что мне на них плевать, что я знать их не желаю, что они — продажные твари, но я вернусь. I'll be back, understand?! Не для них, а для их будущих детей, которых они не смогут зачать, если застудят свои щели на таком морозе.

— Жестокие слова. Не ожидала услышать их от тебя.

— А чего ты ждала, детка? Дежурного сочувствия? Жалости дежурной ждала? Иди ты в щель, которой зарабатываешь! Смотри на повязку на моем рукаве. Какого она цвета?

— Симпатичного, — играя голосом, произнесла проститутка.

— Опять за старое? Цвета, спрашиваю, какого?

— Ну, допустим, красного.

— Передай всем, что через час она станет кроваво-черной в знак траура по вашим погибшим душам. Вы для меня мертвы, но это не значит, что я откажу себе в удовольствии постоять у вашего гроба в почетном карауле.

Дома Бочкарёв снял пуховик, накинул на плечи норковую шубку матери и вернулся на улицу Пушкина. Он выбрал подходящий придорожный тополь, повернулся к нему спиной, согнул ногу в колене и оперся ступней на ствол. Сутенер, находившийся в тридцати метрах от Бочкарёва, вылез из машины и крикнул:

— Кто такая?! Это моя территория! Под кем работаешь?
 — Сам по себе!
 — Сам? Ты че, мужик, что ли?!
 — И че мне будет, если мужик? Конкуренцию твоим девочкам не составляю вроде!

— Ты вне конкуренции! — взорвавшись хохотом, крикнул сутенер.
 — Стой там, милая! Наржусь хоть от пуза!

Свист тормозов. Возле проститутки, стоявшей в нескольких метрах от Артёма, остановилась коричневая «шестерка».

— Какая такса?

— Час — две сотки.

— А в голову?

— Минет — триста.

— Заткнулись оба! — вмешался Бочкарёв и бросил водителю: — Вали отсюда.

— Э-э, ты че, козел? Опупел?! — Смешок. — Или как там тебя? Уж не коза ли?

— Еще слово вякнешь — резьбу на твоём очке дерезой сорву. Узнаешь тогда, какая я коза, — зло произнес Бочкарёв и приказал девушке: — Иди за мной.

Бочкарёв подошел к черному джипу сутенера, открыл водительскую дверь и спросил:

— Сколько надо бабок, чтобы снять всех твоих на три часа?

— Принцесса, ты меня сегодня добьешь. У меня уже колики от смеха начались. Скоро над тобой полгорода ржать будет, а ты все никак не уймешься.

— Так сколько?

— Я не пойму, ты сегодня девочка по вызову или клиент?

— Сколько?

— Четыре тысячи двести рублей за семь девочек... Слышь, че-то рожка мне твоя знакома... Не ты вчера снял трех моих на мальчишник?

— Ты ошибся... Скидку с объема не дашь? — Услышав просьбу Бочкарёва, сутенер вновь взорвался хохотом. — Так дашь или нет?

— Ха-ха-ха!.. Уморил... Ха-ха-ха!..

— Ржешь, юморист... Твои девчонки болезни от клиентов подхватывают, на «пяточках» мерзнут, а ты все ржешь, жеребец...

— Все... Больше не буду... Ха-ха-ха... Скидка-то на кой?

— Хочу на других точках девчонок купить. У меня всего десять косарей после вчерашнего съема осталось.

— Так это все-таки был ты?

— Да, я.

— Ладно... Ха-ха-ха... Косарь уступлю.

Встав у позорного столба, Артём показывал заблудшим девушкам, что он готов для них на все. К нему то и дело подходили проститутки и умоляли:



— Уходи! Мы не можем на это смотреть.

— В школе я не смог переубедить вас, потому мне ничего другого не остается, как разделить вашу участь. Ваш позор — мой позор, — твердо отвечал он.

Люди, проезжавшие по центральной улице, осыпали Бочкарёва насмешками, забрасывали оскорблениями, кляли его на чем свет стоит, потому что город N не прощал мужчин, переставших быть мужчинами. Дежурный по стране не ждал пощады, не обижался на обидные реплики и ни на кого не злился: он разочаровался бы в земляках, если бы они остались равнодушны к тому, что на панель вышел мужчина.

Спустя два с половиной часа после того, как Бочкарёв добровольно опустил ниже всех плинтусов, он уже не сомневался в том, что слух о его падении дошел до родственников, друзей и знакомых: новости в захолуственном городишке распространялись быстро.

Вдруг он обнаружил перед собой Мальчишку.

— А я тут эскимо ем, — произнес Женечкин и протянул Артёму мороженое. — Хочешь?

— Нет, спасибо, — не удивившись появлению друга, ответил Бочкарёв.

— Как хочешь... А небо сегодня удивительное, согласись?

— Да уж.

— Можно... я с тобой останусь? Пожалуйста.

— Нет, Володя. Свой позор я ни с кем делить не собираюсь.

— Жадина. Я тебе эскимо не пожалел, а ты... Отломи хоть половинку.

— Не получишь ни кусочка. Уходи. Это моя война.

— Я теперь уснуть из-за тебя не смогу.

— Жалеешь меня, что ли?

— Завидую. Не белой, совсем не белой, а черной завистью завидую.

— Наши-то знают про меня?

— Да, все поцыки по курсу. Город маленький, сам понимаешь... Они отвернулись от тебя. Все до одного, кроме Васи: он до сих пор в деревне. Если бы не отвернулись, я бы тебе белой завистью завидовал, а так — черной. До ужаса хочется разделить твою участь, погибаю прямо. Я теперь за тебя нисколько не боюсь, за себя больше страшно.

— И все равно — уходи. Я уже освоился в грязи, как в родном доме. А тебя на моем участке стошнит. Душу вырвет, Володя. Захлебнешься в блевоте. Дай мне одному пострадать. Пожалуйста.

Мальчишка привстал на колени перед Бочкарёвым, прижал руку к сердцу, склонил голову и сказал:

— Один в поле — воин, если он — дежурный по стране первого созыва, сострадающий людям и безжалостный к себе. Ухожу... Один вопрос.

— Задавай.

— Только не смейся. Если бы после смерти тебя призвали в Небесную рать, то ты бы в какие войска попросился?

— Вовка, ты в своем репертуаре, — улыбнувшись, произнес Бочкарёв. — Я и в Российской-то армии еще не служил.

— И все-таки?..

— В пехоту, наверное.

— А я бы в лучники. Сам же видел, что у них колчаны золотом инкрустированы. На небесах благородным металлом любят, а здесь, на земле, его держат в кирпичной форме слитка. Только я не из-за колчанов в лучники попрошусь. Просто хочу издалека зло убивать, чтобы не видеть, как оно под натиском Святого воинства в страшных муках погибать будет. Жалко солдат дьявола. В страшной рубке они падут все до одного.

— Да, зло действительно достойно сожаления. Тебе пора, Мальчишка. Иди.

— Пока, Артём.

И Бочкарёв стоял. Стоял на посту № 1-Б. А где-то там, в далекой Москве, за тысячи километров от дежурного, на посту № 1-А по стойке смирно стоял рядовой Президентского полка. В N-ске — двенадцать ночи, в столице — восемь вечера. Ребята были близнецами по духу. Один смотрел на Вечный огонь, горевший на Могиле Неизвестного солдата, другой — на дымившийся окурочок под ногами. Один охранял прошлое России, другой — ее будущее. Один гордился собой, другой себя презирал. И не было во всем свете силы, которая бы заставила молодых людей сойти с места.

Бочкарёва окружили пять парней с красными повязками. Рослый юноша с тонким орлиным носом и хищными глазами, Вадим Варфаламеев, взял Артёма за грудки и харкнул ему в лицо. Пока Бочкарёв вытирал плевок рукавом шубы, парень высморкался на него.

— Что значит — новобранцы, — покачав головой, с горькой усмешкой заметил Бочкарёв. — Ни ума ни фантазии. Не прошло и месяца, а вторая колонна уже плюет в первую.

— Пасть завали, шлюха! — бросил Варфаламеев. — Шалавам слова не давали. Пацаны за нас, за весь Шанхай сопли на кулак наматывали, а ты их позоришь тут.

— Выходит, это их героическими соплями ты наградил меня из обеих ноздрей, шанхаец?.. Передай господам, что это огромная честь для дежурного Бочкарёва.

— Передам, если ты скажешь, где сейчас находится твоя честь, а то я чего-то ее не вижу. Где она? Отвечай, гад!

— Ой, я ее нечаянно потерял, возле дома выронил. Съезди поищи.

— Я тебе щас по хारे съезжу... Снимай повязку, сука!

— Суке от таких кобелей, как ты, не впервой получать, а повязку не снимаю. Когда вы еще в гнилых бараках жили, даже не подозревая о том, что на свете есть дежурные по стране, она уже на моем рукаве за вашу шанхайскую нищету от стыда краснела. Теперь будет краснеть за вашу тупость и ограниченность. Передай Магурову и Левандовскому, что перед тем, как принять в организацию новых членов, надо семь раз



отмерить. Чую, что намучаемся еще с вами. Пока я не наблюдаю среди вас ни одного дежурного... Дружинники, твою мать.

Варфаламеев схватил Бочкарёва за волосы и со всей силы ударил его лицом об тополь. Артём упал на спину, выплюнул с кровью три зуба и произнес:

— Жарким выдался январь... Если так и дальше пойдет, то скоро почки распустятся. — Парни нанесли Бочкарёву несколько ударов ногами по почкам, и он, извиваясь от боли, выдал из себя: — Как же... мучительно радостно чувствовать весну в организме... Скоро ваш скромный слуга пометит свой участок кровью... потому что моча уже никого не отпугивает.

— Харэ, пацаны, — сказал Варфаламеев. — Кажись, проучили шакала. Теперь долго не встанет. Ничего, пусть полежит, ему полезно.

— Эй, Бармалей, — тихо отозвался снизу окровавленный сгусток материи, — неси дежурному одеяло и подушку.

Варфаламеев опустил на корточки, перевернул Бочкарёва на спину и спросил:

— Че?

— Георгиевская лента через плечо. Дуй, говорю, за спальными принадлежностями. С ночевкой на панели останусь, а то что-то даже пальцем не могу пошевелить... Пошевеливайся. Это я тебе, а не пальцу.

— Мне?.. По-ра-зительная наглость! Ему мало, пацаны. Надо добавить.

— Вас-то? Ага. Маловато будет. А ну-ка... развернулись на сто семьдесят градусов, познакомились с пушками сестер, а потом — с ними самими. Ряды пополнил. — И Бочкарёв потерял сознание.

Ночью 28 января дежурных по стране стало на двенадцать очаровательных человек больше.

Глава 15

29 января 2000 года. Город N. Кафе «Лакомка». Четыре дня до времени «Ч».

За столиком обедали три человека. Они ждали Женечкина.

Иван Бехтерев, студент первого курса, учился в группе 99-8. Волоколамов заметил этого парня на одной студенческой пирушке; Леонид каждый раз с улыбкой вспоминал скандал, учиненный Бехтеревым и Левандовским на этой вечеринке. Дело не стоило выеденного яйца, но было раздуто обоими парнями до невообразимых размеров. Все началось с того, что Левандовский, одурманенный винно-водочными парами, нечаянно вытер стол шапкой Бехтерева. Алексей, не придававший никакого значения таким мелочам, быстро извинился перед Иваном, но в ответ услышал:

— Постираешь ее, падло.

На это Левандовский нервно рассмеялся, вытащил из рукава куртки свою шапку, тщательно вытер ею стол, не побрезговав вымазать ее в салате, и зло бросил Бехтереву:

— А ты — мою... с порошочком.

Дерганые бесы ворвались в душу Ивана, и он вперемежку с оскорблениями понес такую чепуху, над которой желчным дьяволам, вселившимся в Алексея, оставалось только посмеиваться. Чем больше выходил из себя Бехтерев, тем спокойней становился Левандовский. Иван кричал, Алексей зевал. Левандовский мог растоптать противника в любую секунду, но не делал этого, потому что получал мазохистское удовольствие от словесной перебранки. Волоколамову не понадобилось вмешиваться, потому что скандал закончился через минуту.

— Я по понятиям живу, — бросил Бехтерев и схватился за лежавший на столе нож.

— Отлично, — ответил Левандовский. — Тогда — бей. Взялся за клинок — бей. Это по понятиям.

Под одобрительные возгласы Бехтерев изрезал на куски обе шапки.

— Инцидент исчерпан, — пробасил Молотобойцев. — С Левандовского — пиво, с Бехтерева — чипсы.

Много воды утекло с того времени. В кафе «Лакомка» сидели уже не те желторотые юнцы, которым в первые месяцы учебы надо было самоутвердиться в студенческом сообществе. За столиком не было прежнего Бехтерева. Напротив дежурного по стране Волоколамова сидел дежурный по стране Бехтерев, который помог Леониду написать устав тайного общества. Челюсти же, вгрызавшиеся в резиновую плоть остывшей курицы, принадлежали не кому-нибудь, а дежурному по стране Зубареву, тому самому Лимону. И суровое чело его, не сулившее врагам России ничего хорошего, с каждым новым куском становилось еще более суровым, потому что ножки Буша всякий раз подолгу бестолково вязли у него в зубах.

— Ваню, я согласен с тобой. Завтра мы действительно можем на собственной шкуре убедиться в существовании мест не столь отдаленных, но другого выхода не вижу, — произнес Волоколамов. — Молодежный парламент собирается один раз в месяц, а до времени «Ч» осталось четыре дня. Сегодня надо все успеть. Будем действовать решительно. Я отношусь к либералам, но либеральничать в парламенте — это провал.

— А как у других дежурных? — спросил Лимон.

— Думаю, что нормально, — ответил Волоколамов.

— А как же Бочкарёв? — задал вопрос Бехтерев.

— Ренегат, — последовал холодный ответ.

— Лёня, ты говорил, что надо действовать решительно, — сказал Лимон. — Сдается мне, у тебя революционная краснуха, как у товарища Левандовского. Или белая горячка. Или тоска зеленая.

— Брось паясничать, Андрюха, — отрезал Волоколамов. — Резкость Лёхи меня раздражает. В парламенте мы всего лишь сыграем на грани фола, пройдемся по канату без страховки и...

— Свалимся в пропасть, если парламентарии окажутся самовлюбленными дураками и карьеристами, — закончил Бехтерев. — Твой план очень и очень...

— Тихо, — перебил Лимон. — Оглянитесь вокруг.

Посмотрев по сторонам, они увидели, что взгляды людей, присутствовавших в кафе, прикованы к их столику. Посетители «Лакомки», польщенные вниманием ребят, начали улыбаться. Особенно дежурные были удивлены поведением девушек. Женский пол пускал в ход все имевшиеся в его арсенале средства, чтобы понравиться парням.

— Не обольщайтесь, пацаны, — с каменным лицом произнес Волоколамов. — Девчонки строят глазки не нам, а нашим повязкам. Сейчас мы греемся в лучах славы, заработанной дежурными на Первомайской площади. Общество перестало быть тайным. Оно и к лучшему: всякая конспирация только оскорбляет демократию...

— Ты, Лёня, сегодня напьешься в драбадан, — вдруг сказал Лимон.

— Это почему? Я завязал.

— Как завязал, так и развяжешься, — подключился Бехтерев. — Для России — развяжешься, никуда не денешься. В трезвом виде твоя западная натура просто невыносима, а вот в пьяном она становится... несносной, но уже хотя бы оправданно несносной. Холодный ты какой-то, разогреть тебя надо. В парламент пойдешь под градусом. Это не обсуждается.

— Пацаны, я не могу пить. Мне нельзя. Я потом в запой уйду.

— Далеко не уйдешь, — подмигнув Бехтереву, заметил Лимон. — Мы тебя поймаем и на цепь посадим. Для этого ведь и существуют друзья.

Через тридцать минут Волоколамов после первых же стопок из европейца превратился в евроазиата. На бледном лице Леонида появилась здоровая желтизна. Его глаза стали раскосыми, но сам он не окосел.

К столу подошел Женечкин. Его лицо было мертвенно-бледным. Он молча поздоровался и подсел к ребятам.

— Мальчишка, что случилось? — задал вопрос Лимон.

— Ар... ар... ар... — начал заикаться Женечкин, и на его глазах выступили слезы.

Волоколамов залпом выпил и бросил:

— Я не желаю о нем слышать.

— Ар... ар... ар... — всхлипывая, заикался Женечкин.

— Артур? Арчибальд? Арканзас? Аргентина? Армавир? Арзамас-16? Арлекин? — решил поиздеваться Волоколамов.

Женечкина затрясло, он онемел. Волоколамова бросило в жар, когда Мальчишка вытащил отказавший язык и трясущимися руками стал его мять.

— Володя, что с ним?! Не молчи! Что с Бочкарёвым? Он жив?! — вскричал Волоколамов.

Женечкин отрицательно покачал головой и поставил стакан с соком в угол стола, как провинившегося мальчика.

— Господи... Мертв? — спросил Бехтерев и почувствовал, как у него засосало под ложечкой.

Женечкин и тут отрицательно покачал головой. Вздых облегчения вырвался у ребят. Женечкин взял стопку с водкой и поставил ее в другой угол стола, словно про штрафившуюся девочку. Потом он взял нож и воткнул его посередине между стаканом и стопкой.

— Между жизнью и смертью, — догадался Лимон. — Артём в реанимации?

Женечкин утвердительно кивнул.

— Не сомневаюсь, что он выкарабкается, но доказать это не смогу, даже не проси, — заглянув Женечкину в глаза, твердо произнес Волоколамов. — Верь мне. Он для долгой жизни родился. Ему до восьмидесяти лет мучиться на этом свете. Он в реанимацию сам попросился. Доказательств, опять же, не имею. Артём уже многое попробовал, а полумертвым еще не был. Экзотический человек. Вчера — девушка легкого поведения, сегодня — полутруп, завтра — дирижер, послезавтра — егерь. А кончит монахом. Володя, у него все по плану, так что обретай дар речи, а то мы с пацанами на тебя обидимся. Бочарик не лежит в реанимации, он ее изучает.

Циничные слова о человеке, находившемся на грани жизни и смерти, покоробили Бехтерева и Лимона. Они хотели наехать на Волоколамова, но Женечкин с таким упованием смотрел на Леонида, что Бехтерев и Лимон решили промолчать.

— Лёнька, а ведь ты прав, — сказал Женечкин. — Артём будет жить. Вот же он хитрый, да? Хотел нас вокруг пальца обвести, а ты его раскусил. Ведь он быстро на поправку пойдет? — Глаза Вовки умоляли Леонида о том, чтобы он ответил «да». — Ведь быстро же? Скажи!

— Послезавтра, — не задумываясь ответил Волоколамов. — А может быть, через неделю. Максимум через месяц. Он пробудет в реанимации столько, сколько ему самому захочется. Можешь мне поверить, что скоро ему надоест лежать в коме, он из нее выйдет. Бочарёв нигде не задерживается долго, и для комы наш друг не станет делать исключения. Кто она такая? Ни рыба ни мясо — вот кто она! Не жизнь и не смерть, вот так.

— Эх, поцыки, поцыки... — сказал Женечкин. — А ведь Артём свою задачу выполнил.

— Гонишь! — не поверил Бехтерев.

— Как придет время «Ч», сами убедитесь. Я сегодня утром в больнице был, разговаривал с лечащим врачом Артёма. Так он мне сказал, что к нему приходили девушки с красными повязками и предлагали деньги на лекарства для нашего друга. Удивительно получилось: Артём вытащил своих подопечных из комы, реанимировал их, а сам в больницу угодил.

— Ничего удивительного, — произнес Волоколамов. — По закону сохранения энергии так и должно было случиться. В одном месте прибыло, в другом убыло... Кстати, кто его избил?

— Наши, — ответил Женечкин.

— Наши?! — в голос воскликнули Бехтерев и Лимон.

— Да. Ребята Магурова постарались, но сам Яша не знал. Когда я сообщил ему о том, что произошло, он был вне себя от ярости. Сейчас идут разборки. Магуров и Левандовский объясняют пацанам, виновным в избиении Артёма, что так поступать нельзя. Все будет нормально. Я сказал Яше, чтобы просветительская работа была проведена без фанатизма, но он и сам все понимает.

— А менты? Они же начнут искать тех, кто избил Бочкарёва, — с волнением сказал Лимон.

— Не начнут, — успокоил Женечкин. — Перед тем как связаться с Яшей, я разыскал проститутку, которая была с Артёмом в школе, и попросил ее, чтобы она и ее подруги держали язык за зубами. Менты от девушек ничего не добьются. Сначала, правда, она возмущалась, но потом согласилась с тем, что наказание шанхайцев — внутреннее дело дежурных.

— Откуда ты узнал, что Бочкарёва избили именно шанхайцы? Когда они успели стать дежурными? Про какую школу ты говоришь? Где ты берешь такую точную информацию? — посыпались вопросы от Бехтерева.

— Наш пострел везде поспел, — скромно ответил Женечкин. — Свои источники я не выдаю. Что касается Артёма, то вы его не поняли. Я считаю его лучшим из нас... Нет, не так выразился... Он первый среди равных. Герой, настоящий герой.

— Никакой он не герой, — бросил Волоколамов. — Дежурный, просто дежурный. Я согласен с тем, что мы сгоряча осудили Артёма и забраковали его метод. Ему было виднее, как надо работать. Раз Мальчишка уже точно знает, что выход на панель дал положительные результаты, то действия нашего друга следует признать правильными, но не более. Ему надо было выполнить задачу любой ценой, и он это сделал. Только мне кажется, что Артём провалялся на диване весь месяц, поэтому был вынужден пойти на беспрецедентный шаг, чтобы уложиться в сроки. Ему пришлось накрыть грудью амбразуру дзота, хотя он вполне мог бы штурмовать свой участок несколько недель. На Героя России Артём не тянет, и при встрече я ему обязательно об этом скажу. Похвальная грамота за проявленное мужество — вот его награда.

— Грамоту дать и руку пожать, — сказал Бехтерев.

— Никаких грамот. Просто руку пожать, — произнес Лимон.

— Пожать руку и занести выговор в личное дело за безобразное отношение к своей жизни, — нахмурившись, изрек Женечкин. — Он по своей глупости здоровье потратил. Все верно, поцыки. У дежурных должна быть собственная шкала измерения подвига. С какого перепуга Артём решил, что его жизнь принадлежит только ему? Это эгоизм. Мы не можем себе позволить терять людей на каждом шагу. Надо до глубокой старости служить, так больше полезных дел совершим. Чтобы не сгореть до времени, мы должны тщательно просчитывать каждую ситуацию. Настоящий дежурный — это тот же водитель-профессионал, который еще до выезда на трассу обязан открыть все категории от «А»

до «Я». Любитель с одной лишь категорией «В» — это потенциальный преступник, хочет он того или нет. Но умение управлять всеми транспортными средствами — это еще не всё. Выехав на дорогу, водитель-профессионал должен соблюдать скоростной режим, смотреть на знаки, следить за встречными машинами и пропускать пешеходов.

— Что-то я ничего не понял... — сказал Волоколамов.

— Да я уже привык, — махнул рукой Женечкин. — Расшифровываю. Категории — это убеждения, знания, навыки и умения. Скоростной режим — это осторожность, бдительность и собранность за рулем. Знаки — российские законы. Встречные автомобили — враги государства, на которых нельзя идти в лобовую атаку, иначе авария, гибель, затор на дороге. Пешеходы — это народ.

— А я вот сегодня в пьяном виде по парламенту прокачусь, — произнес Волоколамов. — Спасибо Ване и Андрею.

— Нельзя, — запротестовал Женечкин.

— Ему можно. Ему в трезвом виде нельзя, а подшофе — в самый раз, — шутливо заметил Лимон.

— Не волнуйся, Мальчишка, — поддержал Бехтерев. — На катке поедем. Крейсерская скорость — пять километров в час. А соблюдать законы мы...

— Будем! — подняв стопку, провозгласил Волоколамов и выпил.

Бехтерев с удивлением посмотрел на пьяного друга и продолжил:

— Лёня хотел сказать, что дорожные знаки мы соблюдать...

— Будем! — последовал емкий тост, и очередные сто грамм упали в желудок.

Лимон пожал плечами и обратился к Волоколамову:

— Правильно ли я понял, что давить на катке... давить мы никого... то есть... ни на кого не...

— Будем! — заключил Волоколамов и уменьшил мировые запасы водки еще на пятьдесят грамм. — Хватит, пацаны, а то я наливать не успеваю. Мальчишка, нам уже скоро идти надо. Через час в драмтеатре начнется праздничное заседание молодежного парламента. Эти бездельники будут отмечать годовщину со дня основания своей боярской думки.

— Не годовщину, а годину, — поправил Лимон.

— Не годину, а гадину, — добил Бехтерев.

— Итак, — торжественно произнес Волоколамов, — делегаты от дежурных поздравят коллег с их гадиной. Вовка, если бы не ты, мы бы толкали олимпийские ядра, а так придется толкать только речи. Жаль, черт возьми. Нам с парнями так хотелось покидать в именинников яйцами, очернить их смолой, обелить мукой и отсидеть за все это, но не судьба.

— Лёня, ты, наверное, забыл, что мы должны набирать людей, а не наказывать их, — заметил Женечкин.

— Грешен, Вовка, — с раскаянием произнес Волоколамов. — Все мы не без греха. Но ведь ты вроде тоже не увеличил количество членов нашей организации, сам же мне об этом вчера базарил.

— Да, это так. Я к самым маленьким пошел. В детском доме много талантливых ребятишек. Я столкнулся с очень интересными детьми. Доложу вам, что их некоторые высказывания ставили меня в тупик. «Что строишь?» — спросил я у Вити Балабанова, пятилетнего мальчика, который возился с кубиками. А он мне на полном серьезе ответил: «Воду в Африку провожу. Тыща труб. По телеку показывали, как они ямки роют, чтобы туда вода набиралась. Надо помочь. У нас в кране воды навалом». Однако потом он разметал свое строительство и занялся рисованием. «Больше не будешь трубы делать?» — спросил я у него. Он посмотрел на меня как на дурака и сказал: «Такой большой, а не понимаешь. У них рядом соленый океан, а надо придумать, чтобы его можно было пить. Машину черчу». Мне повезло. В младшей группе нянечка в отпуск ушла, а тут я подвернулся. Так Усатым нянем и прозвали. К детдомовцам, которым перевалило за десять лет, я и не совался. Со старшими ребятами все очень плохо, потому что их детство пришлось на середину девяностых. Многие парни и девчонки, с которыми мне довелось общаться, показались мне живыми трупами: наркотики, алкоголь, разврат, отсутствие каких бы то ни было моральных норм трансформировали их в зомби. В их бессмысленно-пустых глазах я не увидел ни одного поручня, за который можно было бы ухватиться. Мне нет прощения, поцыки. Я быстро отступился от зомби и переключился на малышей.

— Ты отступился? — вырвалось у Волоколамова. — Счастье-то какое. Мы с пацанами всегда думали, что ты святой, не от мира сего, а выходит...

— Такой же, как и все, ага? Полегчало, Лёня? Я рад... Я один раз деньги у папы украл, прикинь...

— Класс, — улыбнулся Волоколамов.

— Это еще фигня, — задорно сказал Женечкин. — Как-то мама написала своему брату письмо, положила его в конверт, а запечатать забыла. Короче, я письмо вытащил и вложил вместо него инструкцию по искусственному осеменению коров. Мама очень удивилась, когда дядя Коля отбил ей телеграмму: «Спасибо, сестра. Ждем первый приплод. Бычий бунт подавили кастрацией».

— Подолгу беседуя с малышами, — продолжил Женечкин, — я выявлял их склонности, а потом формировал группы по интересам. Воспитательницы убеждали меня в том, что в таком нежном возрасте дети еще не знают, чего хотят. А я уверен в том, что ребятишки-то как раз и знают. Если они говорят тебе, что хотят стать моряками, то так оно и есть. Их не волнует зарплата, престижность профессии, а только море... Поцыки, в нашем городе живут хорошие люди. Когда я стал приглашать спортивных, естественнонаучных и гуманитарных тренеров на работу с маленькими детьми в детдом, ни один человек мне не отказал. Мои начинания всячески поддерживали воспитатели «Золотого ключика». Теперь в детдоме действуют различные кружки и секции. Пусть ребята пока развиваются, пробуют себя во всем, а там будет видно. Только сразу

разочарую вас. Ни в одном ребенке я не обнаружил зачатков будущего дежурного по стране.

— Жаль, — вздохнул Волоколамов.

— И мне жаль, — упавшим голосом произнес Женечкин.

Волоколамов поднялся из-за стола:

— Нам пора.

— Уж лучше вонять, чем фонить, — пробурчал Лимон. — Уходим.

— Пацаны, какие сигареты предпочитаете? — обратился к ребятам Бехтерев и, не дожидаясь ответа, сказал: — А я — «Парламент». Накурюсь сегодня до тошноты. Впрок, блин. Бывай, Вовка.

Женечкин с тоской посмотрел вслед уходившим парням. Из разговора с ними ему стало ясно, что они практически ничего не знают о том, как дела у их товарищей.

— С богом, поцыки. Вы должны пройти то, что должны пройти, — произнес Мальчишка, налил водку в граненый стакан, выпил... и снял повязку с рукава.

* * *

Драмтеатр был переполнен умными молодыми людьми, озабоченными судьбой народа. Обилие торжественных лиц свидетельствовало о празднике. Великолепие классических костюмов и вечерних платьев полностью соответствовало внутреннему содержанию плечиков-юношей и вешалок-девушек, на которых висела вся эта красота от лучших местных, неместных и даже неуместных кутюрье. Сыны и дочери государственных чиновников, партийных функционеров и преуспевающих бизнесменов, забыв о политических распрах, пришли в драмтеатр, чтобы поздравить друг друга с годовщиной со дня основания молодежного парламента. Они имели на это право. Долгих двенадцать месяцев молодые люди сочиняли проекты по благоустройству городов и сел республики и отстаивали их на парламентских чтениях. Сердца политических недорослей изболелись на бумаге, а то, что им не удалось озеленить даже Чапаевский переулок, в котором требовалось посадить несколько пихт, это не так важно.

Парламентский спикер, блестящий молодой человек с гусарскими усами, стоял на сцене и умело держал паузу. Только что он мастерски уколоч конкурирующие фракции, которые, к его немалому удовольствию, оглушили друг друга бурными аплодисментами, оценив по достоинству остроумный выпад в адрес своих политических оппонентов. Больше он никого занозить не успел, потому что на сцену запрыгнули три человека и попросили предоставить им слово для поздравления. Опустив микрофон, спикер вежливо объяснил парням, что он не может выполнить их просьбу, так как именины идут по заранее утвержденному сценарию, в котором, к его глубочайшему сожалению, ничего не сказано о том, что на торжества заявятся люди в верхней одежде с красными повязками на рукавах и будут прерывать его пламенную речь на самом интересном месте.



— Я вам сейчас апперкотом жизнь прерву, — произнес злой следователь по прозвищу Лимон.

— Не надо, Андрюха. Парень вроде толковый, с понятием, — выступил Бехтерев в роли доброго следователя.

Спикер хотел что-то возразить, но Бехтерев и Лимон взяли его под руки, аккуратно донесли говоруна до края сцены и тактично намекнули ему на то, что настоящий десантник не нуждается в стимулирующих пинках сослуживцев, когда надо выпрыгнуть из самолета.

А театр уже гудел как растревоженный улей:

— Дежурные... дежурные... По стране... по стране...

Волоколамов прокашлялся, постучал по микрофону и поприветствовал парламентариев:

— Раз, раз... Раз, два, три... Здравствуй, голубая кровь. Раз, раз... Хай, белая кость. — Он в пояс поклонился людям, сидевшим в зале, с изяществом мушкетера расшаркался перед ними и сказал: — Че сидим? Кого ждем? НАТО у границ наших, а они сидят. Граждане ждут от них конкретных дел, а они — с моря погоды. Вместо того чтобы заняться основанием приютов, столовых, ночлежных домов для малоимущих и бомжей, употребить на это богоугодное дело финансовые излишки и связи отцов, вы нарабатываете политический опыт. А как же народ?..

Солнечные лица парламентариев заволокли тучи.

Лимон выхватил микрофон у Волоколамова и произнес:

— Если сейчас кто-нибудь из вас заикнется о том, что молодежный парламент не обладает реальной властью, не имеет достаточной финансовой подпитки, то я скажу, что так вам, амебам, и надо. Что вы в своем кукольном парламенте сиденья греете? Валите на улицы и закаляйтесь на морозе, как наши товарищи. Хотите помочь людям — бейтесь за них на практике, а не в теории. Нужны деньги на какой-нибудь проект — дуйте к предпринимателям и просите, просите, просите их помочь городу, республике, стране! Не получается — кланчите. Не выходит — унижайтесь и стелитесь... Над вами ведь даже не смеются. Про вас не знают. Не знают!

Во время речи Лимона Волоколамова развезло и понесло по сцене.

— Да он же перекрытый!.. Вызвать милицию!.. Пьяный критикан!.. Самим уйти!.. Нализался!.. Всеобщее презрение!..

Согнувшись в три погибели и широко расставив руки, Волоколамов кружился по сцене, как заходящий на посадку подбитый истребитель. Все плыло перед его глазами. Он уже не понимал, где небо, а где земля, но не отчаивался и искал в дыму своих ведомых. Поймав в прицел Бехтерева, Волоколамов уже не выпускал товарища из виду. Собрав волю в кулак, Леонид по спирали стал приближаться к Ивану. Когда силы оставили ведущего, ведомый был уже близко, и Волоколамов, спирировав наобум, упал прямо в объятия Бехтерева и нажал на гашетку. Рвотные массы с регулярной частотой стали выбрасываться на грудь Ивана, но он ни в чем не упрекал Леонида и только крепче прижимал его к себе.

— Нас всего трое, — говорил Лимон. — Кто покинет театр — тот парламентский лох. Кто вызовет ментов — тот думское чмо. Кто не спрятался, я не виноват... Через пять минут Иван принесет святую водицу, окропит ею нашего поддатого друга, и мы вам покажем кузькину мать.

После двух ведер воды от Волоколамова осталось одно мокрое место. Он обтекал, но смешным уже никому не казался.

Парламентарии вжались в кресла. Слухи о дежурных подтвержались. Про парней с красными повязками поговаривали, что они не ведают боли и страха, как киборги. Испорченный телефон работал исправно. Легенды распространялись с быстротой ветра.

— Разве это нормально? — задавались вопросом парламентарии. — День Ивана Купалы в июле, а они его на январь перенесли. Летний праздник в зимний период — это не есть хорошо. Обливание, понимаешь, устроили. Жарко им, что ли?

Волоколамову стало холодно, но он быстро унял дрожь в теле и ударил:

— Демократический режим в Соединенных Штатах Америки — это образец для подражания.

Зрительный зал взорвался негодованием.

Выкрики из партера:

— Шпион!.. Прихвостень Запада!.. Сам же только что говорил, что НАТО у наших границ!

Волоколамова не задели обидные реплики парламентариев. Он улыбнулся своей обычной холодной улыбкой и парировал:

— НАТО угрожает не государствам, а тоталитарным и авторитарным режимам. Войска Североатлантического альянса несут народам вольность и покой. Да, они вооружены, но пусть вас это не пугает. Добро должно быть с кулаками. Если честно, то я смутно помню, что я подразумевал, когда говорил о том, что от наших границ до воинских подразделений НАТО подать рукой, так как был пьян... Договариваю. Считаю, что мы должны протянуть им руку и затянуть их к себе, так как рука Северного альянса — это дружеская рука помощи. Если они войдут к нам, то мы не протянем ноги, как полагают крикуны из партера, а протянем долго, очень долго протянем как свободная страна с либерально-демократическими ценностями. Надеюсь, что я поставил партер на место. Уважаемые горлопаны, для общего развития довожу до вашего сведения, что в борьбе это называется — поставить в партер.

К сцене подошла красивая девушка. Из ее больших и добрых глаз исходило мягкое сияние миротворца. Вся она была какая-то легкая и прозрачная. На страдальческом лице девушки выделялись небесно-голубые жилки. Классическим пропорциям ее тела могла позавидовать музейная Венера. Она была одета в бирюзовое платье. Серебряный ремень подчеркивал стройность ее стана.

— Опустите, пожалуйста, микрофон и наклонитесь ко мне, — обратилась девушка к Волоколамову.



У Бехтерева и Лимона, стоявших позади Волоколамова, началось активное слюноотделение, какое бывает у людей, когда они подумают об уксусной эссенции. Их сердца бешено забились, как это случается с вольнолюбивыми птицами, которых запирают в золотые клетки. Когда сирена поманила Леонида чарующим голосом, Бехтерев и Лимон уже ревновали ее ко всему городу.

Волоколамов спиной почувствовал неладное. Повернувшись к товарищам передом, к думской нимфе задом, он застал Бехтерева в стадии первобытного охотника за мамонтами. Что касается Лимона, то его выдвинутая челюсть, покаты́й лоб и ярко выраженные надбровные дуги свидетельствовали о том, что он удрал гораздо дальше Ивана — в ту доисторическую эпоху, когда мужчин еще называли самцами.

Волоколамов подошел к краю сцены, опустился на корточки и спросил девушку:

— Что вам надо, девушка?

— Скажите, как вас зовут?

— Дежурный по стране.

— А имя?

— Безымянный, — сухо ответил Волоколамов.

— А меня — Любой.

— Очень неприятно, Люба.

— Скользкий вы тип.

— Да, хоть на коньках катайся, но не советую этого делать.

— Неужели вы действительно считаете, что войска НАТО занимаются обеспечением безопасности демократии? Как же вы можете так преступно ошибаться? Вам так нельзя!

— Почему это мне нельзя?

— До меня дошли слухи, что дежурные никого и ничего не боятся и готовы без колебаний расстаться с головой за свои идеалы.

— Мертвые срама не имут.

— Остановитесь! Что вы говорите?!

— Что вступление в НАТО — это будущий исторический выбор России.

— Глупенький, — с нежностью сказала девушка и попыталась прикоснуться к парню, но он отпрянул от нее. — Конечная цель НАТО — это наши природные ресурсы и территории. Идет расширение на восток. Последний форпост многополярного мира — это Россия.

— Это ваши домыслы, — свысока произнес Волоколамов.

Парламентское море заволновалось. Лидеры фракций тщетно призывали своих коллег соблюдать тишину и порядок.

Коммунисты и аграрии, сидевшие в левой половине зала, поднялись первыми, организованно построились в центральном проходе и под алыми стягами направились к сцене. Демократы, выдвинувшиеся из правой половины зрительного зала, побрели к сцене разрозненными и ругающимися между собой группами, но до драки, слава богу, дело не дошло.

Парламентские меньшинства, представленные «зелеными», «любителями пива» и прочими «малышами», ушли с мест для поцелуев. Они маршировали к сцене по спинкам кресел. Анархисты мастерили лестницы из галстуков и брюк и спускались с балконов прямо на головы коллег.

Дежурные были окольцованы и оттеснены друг от друга.

И вдруг Волоколамову и его товарищам стало легче дышать. Парламентарии оставили дежурных в покое и расселись на свои места, ведь говорила она — Любовь! Кто мог бы ее послушаться? Никто! У кого бы хватило сил противостоять ее голосу? Ни у кого! Парни выстроились журавлиным клином за ее хрупкой спиной.

— Сегодня дежурные сходят со сцены. Мавры сделали свое дело. Мавры должны уйти. Уйти отовсюду и навсегда, — сказала она, и у депутатов побежали мурашки.

— Нет... нет... нет! — заклинило клин.

— Я ухожу с ними, — не оборачиваясь, продолжила она. — Ухожу, чтобы предотвратить беду. Они умные, мужественные и деятельные люди, но все без исключения опасны. В их глазах горит напалм, который не оставляет после себя ничего живого.

— Ложь! — лег на левое крыло Бехтерев.

— Поклеп! — лег на правое крыло Лимон.

— Любовь зла! — сделал мертвую петлю Волоколамов.

— Через семь-восемь лет, — произнесла она, — дежурные устанут от ювелирного труда и превратятся в топорных работников, потому что захотят построить Россию здесь и сейчас. Они назовут себя несогласными и развернут подрывную деятельность. Они откажутся от медленных реформ снизу и возьмут курс на насильственный захват власти, чтобы потом изменить Россию сверху. Семнадцатилетние юноши и девушки, которыми Россия гордилась в начале их пути, вырастут в двадцатипятилетних революционеров-преступников. Молодежью воспользуются, чтобы погрузить страну в пучину хаоса. Незначительные успехи, достигнутые нами за долгие годы, будут перечеркнуты. Вы плохо кончите, дежурные. От дежурного по стране до предателя осталось лет десять. Так и будет.

— Поживем — увидим! — страшным голосом закричал Бехтерев.

— Посмотрим еще! — подхватил палку о двух концах Лимон.

— На кого вы напали, Люба?! — забаррикадировался Волоколамов. — На дежурных по стране напали?! Предателей в нас разглядели?! Как вы могли!

— Таких ребят, как вы, даже не надо будет покупать, — пророчествовала она. — Вы не для продажи. Вы пойдете на заклятие бесплатно и будете готовы ко всему: к арестам, к тюрьмам, к смерти. Россия проклянет вас — своих любимых сыновей и дочерей.

— Не-е-ет! — опустившись на колени, заревел Волоколамов.

— Можешь ли ты поручиться за всех своих товарищей? — спросила она.



— За всех!

— Будь честен перед собой.

— За шестерых!

— Подумай.

— Только за себя!

— Уверен?

— Не-е-ет! — простонал Волоколамов, подполз на коленях к Любе, схватился за край ее платья и прошептал: — Не бросай нас. Не оставляй. Направь. Научи... Пусть они смеются, а ты научи. Как жи-и-ить?..

Лимон сидел на сцене в позе лотоса, отрешенно смотрел на Думу и думал свою думу. Бехтерев лежал, заложив руки под голову; он вычислял, с какой силой надо плюнуть в потолок, чтобы плевок ни на кого не упал, преодолев силу притяжения и пробив все преграды, ракетой взмыл в космос, прилип к небосклону и свесился оттуда звездой.

Раздался довольный крик спикера:

— Так я и думал! Нет, я знал! Знал! Сообщение на пейджер! Сообщение от пейджинговой компании «Сибирь»! Срочно! Три трупа! На совести дежурных лежит смерть трех людей! В больни...

Волоколамов, Бехтерев и Лимон оглохли от колокольного звона в ушах. Сердца ребят дали трещины. Их глаза заволокло туманом. Кровь застыла в жилах парней и стала рубиновым льдом.

«Бочкарёв умер. Я — следующий», — принял решение Лимон.

«Я — четвертый, Артём», — подумал Бехтерев.

— До сегодня, друг, — прошептал Волоколамов.

— Николай Крестов умер в больнице от воспаления легких! — читал сообщение спикер. — Виталий Стегов покончил жизнь самоубийством! Отец близнецов, Денис Пуришкевич, отравился, оставив после себя записку, в которой обвинялись демонстранты, вышедшие на Первомайскую площадь...

Эпилог

1 февраля 2000 года. В большой комнате общежития «Надежда» — девяносто два дежурных по стране. Расформирование тайно-явно общества. Раздача библий. Курс на учебу.

Полночь. За круглым столом, накрытым чистой белой скатертью, сидели пять парней. Кроме них, в комнате никого не было. Лица ребят были озарены улыбками светлой грусти. Испытания, через которые им пришлось пройти, благотворно повлияли на их мировоззрение. Они не устали. Устала та, за которую они боролись. Она спала, поэтому ребята разговаривали тихо, чтобы не разбудить ее.

Я без стука вошел в комнату, в которой сидели ребята, и сказал с порога:

— Здорово, пацаны. Меня зовут Лёха Леснянский. Первый курс, группа 99-2.

— А какая группа крови? — приветливо улыбнувшись, осведомился Магуров.

— Первая... Резус отрицательный, а сам — вроде положительный.

Парни засмеялись и пригласили меня к столу. Они поочередно представлялись, после чего Молотобойцев произнес:

— Прикинь, положительный Лёха с отрицательным резус-фактором, что мы сегодня никого так не ждали, как тебя. Ты нам нужен.

— Отлично! — обрадовался я. — А вы — мне.

— Нет, ты меня не понял. Одному человеку требуется твоя кровь.

— Да, у меня универсальная кровь, — хвастливо заметил я. — Ее можно перелить первой, второй, третьей, четвертой группам, а вот мне самому может помочь только группа 99-6, то есть вы... Шутки в сторону. Я готов помочь ему или ей. Или даже...

— Ему... Нашему другу Артёму Бочкарёву. Мы можем на тебя рассчитывать?

— Однозначно, Вася. Сегодня. Завтра. Всегда. До последней капли. Я хочу вступить в ваше общество и приносить пользу людям. Делом и... словом. Поприще писателя не дает мне покоя. Планирую написать о вас книгу.

— Общества больше нет, — пробасил Молотобойцев. — Оно распалось по объективным причинам. Мы понесли невосполнимые потери. Январь прошел под знаком смерти. Полтора часа назад Артём вышел из комы. В том месте, в котором он побывал, ему сказали: «Возвращайся на землю и передай своим друзьям, что три погибших человека в месяц — это тридцать шесть человек в год, триста шестьдесят — в десятилетие, тридцать шесть тысяч — через тысячу лет. Если дежурные не останавливаются, то ответят перед Богом за гибель миллионов людей, так как для Него нет понятия времени». Видишь, как все сложно... Обрати внимание на то, что мы с тобой вдвоем разговариваем, а пацаны молчат, не вмешиваются в наш диалог. Все учатся слушать и думать. — Молотобойцев посмотрел на часы. — Скоро поедем к Артёму. Перед тем как ему перелюют твою кровь, хотелось бы ее попортить. Рукописи, надеюсь, принес?

Я раздал ребятам первые свои рассказы и стал с волнением ждать приговора.

После прочтения Волоколамов скомкал доставшийся ему рассказ и бросил его в Левандовского.

— Гениально, — с искренним восхищением произнес Волоколамов после попадания в яблочко. — Просто изумительно, но у тебя степь не пахнет, вкус огурца отдает пенопластом... Хочешь, назову красную цену твоей работы?

— Давай уже, — с унынием произнес я.

— Сто тысяч.

— Сто тысяч?

— А то... Помимо твоего рассказа людям придется покупать билеты до тех мест, которые ты так отвратительно описал. А ты как хотел?



Они-то думали, что степь запашистая, а ты где-то разнюхал, что она без запаха. В твоих строчках нет и намека на пряный дух шолоховского приволя. Ты, как я понял, совсем краев не видишь в уничтожении нашей гордости — бескрайней русской степи. Природа у тебя ненатуральная. Слава богу, что Тургенева и Бунина нет с нами. Сначала пошатайся по лесам, ползавай по горам, походи по морям, а потом за перо берись. И самое главное: тайгу не тронь, не потянешь. Для нашей тайги отдельный певец родится. Если на моем веку появится такой писатель, то я перестану бояться вырубки хвойных лесов. Если писатель ничего не упустит, то все будет нормально. Каждую хвойную иголочку воссоздадим, всякую брусничку по воспоминаниям клонируем. И мох, мох важен... Как без пуховой перины в тайге...

В руках Магурова горела спичка. Он загадочно улыбался и подмигивал мне.

— Яша, что ты хочешь сделать? — спросил я.

— Мы это с тобой сожжем, чтобы никто не узнал о твоём таланте, — радостно произнес Магуров, а потом заговорил таким голосом, которым посвящают в тайны: — Ты очень, очень, очень одарен... но мир жесток и туп. Он не поймет твоего вранья, он тебе его не простит. Лёха, Лёшка, брат, пропадешь! О твоей судьбе пекусь.

— А ты, оказывается, тот еще плут, — рассмеялся я. — Критикуй поконкретней.

— А нечего критиковать. Все очень, очень, очень здорово! Мастерское владение словом, великолепный слог! Лёша, нечего критиковать. — Магуров смотрел не на меня, а на рассказ, догоравший в пепельнице. — Поразительно. Меня потрясла глубина твоих образов. — Рассказ превратился в пепел. — Вот теперь совсем нечего критиковать... Брат, если врешь, то ври до конца, ври безбожно... Люди любят сказки, а ложь — как-то не очень.

Женечкин сделал из моего рассказа четыре бумажных кораблика.

— Большому кораблю — большое плавание, — сказал Мальчишка. — Мне понравилось. Правда. Такой эгоцентричной любви к России я пока не встречал. Вероятно, это твой конек. Смело катайся на нем и никого не слушай. Пиши. Тебе хочется, чтобы все с такой же силой любили Родину, как ты. Ты боишься остаться со своим чувством один. Одному страшно и скучно?

— Да, Вова... Все должны говорить только о ней и любить только ее, чтобы мне было хорошо.

— А как же другие темы? А иные объекты любви?

— Не позволяю, — улыбнулся я. — В моем присутствии все обязаны говорить только о России и любить только ее.

— Точно — эгоист. Эгоист из эгоистов. Впрочем, здорово. Предмет твоей любви многогранен и всеобъемлющ. Пиши, эгоист. Вовек не иссякнешь.

Левандовский сделал из доставшегося ему рассказа шесть самолетиков.

— Позже полетят, — заявил Левандовский. — Лет через семь. Заранее оплакиваю их участь, потому что ни один на аэродром не вернется. Все летчики — камикадзе.

— Почему? — задал я вопрос.

— «Перл Харбор» смотрел? В этом фильме целью американских пилотов была не победа, а поднятие духа нации. Через несколько лет каждый из нас расскажет тебе свою историю. Это будет повесть о том, как все долетели, но ни один не вернулся. Запомни: победа любой ценой. Любой, кроме кровавой. А до этого...

— Окончить институт, тетка? — перебил я.

— Верно, тетка. А еще надо будет...

— Отслужить за тебя в армии? Пальца-то — тью-тью... Забракуют.

— А ты мне уже нравишься. Да, отслужишь за себя, за меня и за того парня... Мечта есть?

— Три... Съездить на Олимпийские игры, сходить на концерт «Ретро-FM» и влюбиться.

— Первые две обеспечим, а с третьей как-нибудь сам. Договорились?

— Лады.

Все встали. Надо было ехать к Артёму в больницу. Женечкин подошел ко мне и сказал:

— Мы были не хорошими и не плохими. Мы были дежурными по стране... Как завершишь книгу, откроешь Библию на любой странице и прочтешь...

* * *

Прошло две тысячи и еще семь лет...

«Увидев народ, Он взошел на гору; и, когда сел, приступили к Нему ученики Его. И Он, отверзши уста Свои, учил их, говоря:

Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное.

Блаженны плачущие, ибо они утешатся.

Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю.

Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся.

Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут.

Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят.

Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими.

Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное.

Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня...»

Ты все изначально знал, Мальчишка. А как же я?.. Последняя буква в алфавите, рядом не стоящая с буквой Первозаконя, которая пришла в мир давным-давно...

Сергей КУБРИН

**«ПОКА МЫ ЖИВЫ
И БЕССМЕРТНЫ...»**

* * *

Самое страшное в жизни — момент перехода к смерти,
Не эти колики, одышки, бои в затылке и проч.,
А это острое лицо, глаза прикрытые и дети
В прихожей пред тобой, встречающие ночь,
Твой мятый нос и впалый подбородок,
Твой запах мятный с оттиском свечи,
Ты снова первый в списке одноклассников,
О, мама, мама, что ты, не кричи.
Ходок церковный, место возле храма,
И тут и там забытые друзья,
Ну вот, опять... ну я просил же, мама,
Вот этого всего боюсь до смерти я.

Ну а пока мы живы и бессмертны,
Пока нет повода для страха и свечи,
Пусть эта жизнь, пусть этот вечер летний
Сольется с вечностью грозы в ночи.
Сверкнет в глазах, осколочной гранатой
Пульнет за нас небесный командир,
И кто-то вздрогнет, кто-то грохнет матом:
Вот так вот, сука, вот где рай и мир!
Я жив, я жив, я больше жил и лучше,
Чем кто-то мог бы или где-то там,
И чтобы счастье это не разрушить,
Я говорю, я завещаю вам:



Не бойтесь ничего, вся смерть давно устала,
Иссохла вся, сгорбатилась впотьмах,
Осталась там, в больничных одеялах,
Исус, Амон, Сварог, Троян, Аллах.
Не плачь, не плачь, смотри, какие люди,
Им всем пора второе подавать!
Живые мы, и то ли еще будет!
Спасибо, Господи, не дай в обиду мать.
Твой запах мятный, волос твой крапивный,
Седой висок и челка в два ряда,
Порез у губ и взгляд такой наивный,
Боюсь ли? нет же — нет же — да.

* * *

Есть такие дворы, заходя в которые
Уже не выйдешь обратно,
И такие дома, откуда тебя унесут,
А точнее, вынесут,
Так в две тыщи восьмом провожали Марата,
Целый год длился суд,
Приговор ниже плинтуса.

Есть такие друзья, умереть за которых —
Все равно что убить комара на ладони,
Есть такое нельзя — умереть от позора,
Потеряв две последних звезды на погонах.

И такие враги, для которых не жалко
Ни ножа, ни ружья, ни удара в затылок.
Колотило в груди, и коленки дрожали,
И рубашка сносилась до дырок.

Так что в этих дворах, в этих пыльных квартирах,
Будь как дома, как раньше, ведь если же что —
И тебя унесут и развеют по миру,
Все, что было, — пройдет, все, что будет, — ушло.

* * *

мир тесен, и солдат в строю теснится,
тугой ремень сжимает поясницу,
один бушлат велик, и тот давно изношен,
его скроил старик из зелени горошин.



его носил калмык, ефрейтор из ростова
и паша-белый клык,
и был бушлат как новый:
целех и невредим,
а сшит был он за гроши
солдатом-стариком из зелени горошин.

когда пришла война,
всех молодых забрали
и выдали сполна
на киевском вокзале,
когда зеленых тех одели и обули,
пустив под шум помех,
под свист гороха пули,

тогда смешались все,
и брат пошел за брата,
и согревались все
одним большим бушлатом.

закончилась война, горох просыпан мимо,
и я в строю стою по вечной стойке смирно,
и кажется, что мой бушлат пропах войною,
его носил калмык с седою головою,

его носили все: от мала до велика,
от зелени полей до крови земляники.

за тесноту рядов, за командиров крики,
я разверну бушлат, возьму иголку с ниткой,
заштопаю, зашью все дыры, все изъяны,
за родину свою,
за молодых да ранних.

* * *

Да, жизнь пройдет, да, годы пролетят,
Все как у всех, известная страница.
Но, Господи, пока еще мы здесь,
Смотри, смотри, какая жизнь,
Такая жизнь один раз в жизни,
Может быть, бывает.

Смотри, какие лица у людей,
Как светятся глаза автомобилей,
Как высится трава, как серебрит вода,
Как кружит все вокруг, как после ста промилле.

И я такой счастливый, словно ты меня
За руку взял и, кажется, ответил:
Теперь, теперь, мы будем вместе.

Какая улица, смотри, как из земли сырой
Протягивает стебель одуванчик,
И тянется, и верит,
И живет...

И мы живем.
И больше ничего не надо.

Пускай, пускай мы выйдем со двора,
Куда нас раньше мама не пускала,
И ты мне скажешь: вот и все, пора,
И свет пробьет — прозрачный, терпкий, алый.

И мы увидим эту красоту,
Как стая птиц, когда кружит над школой,
Как самолет, набравший высоту,
Как звезды ночью, как бандит на воле.

Весь этот мир, вся эта жизнь моя,
О, Боже мой, за все тебе спасибо,
Такая жизнь, такой счастливый я,
За все, за все благодарил бы.

Пусть ветер бьет, пусть годы бьют,
Пусть постаревший белый одуванчик
Найдет твой дом, твой солнечный приют,
Как я нашел, ведь не могло иначе...

Ведь жизнь такая, может быть,
Один раз в жизни и бывает,
Спасибо, Господи, тебе.



* * *

Вспомни свои тридцать девять и шесть,
Военный госпиталь, кубанское Рождество
С плесенью на крыльце,
Отвагу и честь,
Честь и отвагу и что-то еще,

Сестру Людмилу и главврача,
Скомканный рис, щебетанье пузыриков
Капельницы, бойню в палате
С итогом — ничья,
Сон на кушетке без памяти.

Колю с Саратова из ВДВ,
Мишу-строителя из ЖДВ,

Восемь затяжек и скрипы,
Выкуришь, ляжешь и — хрипы,
И до утра не спишь.

В общем, никто не спит.

Там, в одеальной глуши, фантазии от души,
И самострелы, и град, осколки ручных гранат.
Как мы любили Людмилу,
Господи, так никого никогда,
Кроме тебя, не любили.

И не полюбят уже.

Ибо не будет места любви,
Кроме как в грязном сортире,
С плесенью на полу, мокрицами на трубах,
Воздушно-капельной простудой,
Противовоздушной обороной,
С выигравшей битву зеленой и черной
Камуфляжной травой и землей,
Господи боже мой,

Как я был счастлив, Господи,
Как же я счастлив был.

Анатолий КИРИЛИН

КУПИТЕ ДЕВУШКЕ ЦВЕТЫ!

Р а с с к а з

Каждый когда-нибудь становится старым. Потом очень старым. Потом...

Одиночество бродит по свету. Неистребимое, жестокое, желанное, ненавистное.

— Я люблю тебя, мама! — кричу я по ночам и просыпаюсь в слезах, оглушенный собственным криком.

Я был хорошим сыном, я говорил тебе при жизни, когда большинство не успевает сказать: люблю тебя, мама! Ни твоя смерть, ни долгие годы, прошедшие после нее, не смогли освободить меня от этой сладкой обязанности. Так почему же я плачу?

— У тебя мама некрасивая, — указала однажды на фотографию моя гостья.

Странно, подумал я, разве так можно говорить... Разве так бывает? Неужели мамина красота как-то оценивается?

Удивительно дурацкий праздник — Международный женский день. Между какими народами заключен договор о праздновании? Никто не знает. В воображении рисуется праздничный круг на солнечном острове, посередине которого гологрудая гаитянка с пестрыми украшениями на голове. Она в танце страстно вращает бедрами, а мама с платочком в руке ходит ходырем вокруг нее — ручкой взмахнет, каблучком притопнет, будто нашу «барыню» вытанцовывает...

Унылый рынок, зачем-то работающий в праздничный день, продавцов мало, посетителей вообще нет. Продавцы — люди подневольные, приказано — торгуют. На рыночных задах, припертых к реке и напоминающих свалку, притулилась закусочная с названием «Ласточка». Давнее заведение, можно сказать историческое. Уже и куда более приличных уличных кафе не осталось, а «Ласточка» живет себе, как та птаха-береговушка, устроившая свое гнездо на недоступном крутом берегу.

Внутри, как ни странно, чисто и даже уютно. Несколько тяжелых деревянных столов, стилизованных под крестьянскую старину, такие же



лавки вдоль них. Молодая пара сидит за шампанским; интеллигентного вида пропойца с размытым взглядом в каракулевой «горбачевке» берет сто пятьдесят водки и сникерс; в углу человек в овчинном полушубке, с лицом, опаленным долгим пребыванием на улице, домучивает полторашку пива. Строитель? Дворник? Попрошайка с папери?..

Беру свою сотку и сок, сажусь напротив мужчины лет шестидесяти пяти. Прямые пряди седых волос прикрывают череп, вытянутый кверху, морщинистое лицо его спокойно и сосредоточенно, глаза голубые, но будто с молоком, по открытой жилистой шее сверху вниз ходит острый, далеко выдающийся кадык. Разглядываю подробно, неторопливо — какое ни есть, а занятие — и понять не могу, симпатичен он мне или нет. Бывает же, детали одной хватает, чтобы оттолкнуться от человека или, наоборот, привязаться к нему.

Он ощущает мой пристальный взгляд на себе, нервничает, как всякий нормальный человек стал бы нервничать, когда на него пялится незнакомец. Помял шапку и передвинул ее чуть ближе к себе, заглянул под стол, где в ногах расплывалась некрасивая лужа от растаявшего снега, при этом виноватая улыбка тронула его сухие, почти бесцветные губы. Пригладил воротничок застиранной, но чистой рубахи, застегнутой строго, на верхнюю пуговицу. И затих.

Одинок... он ведь одинок, — болезненно шевельнулось во мне. Все в нем кричало об одиночестве: какой, скажите мне, нормальный гражданин придет выпить рюмку середь Международного женского дня в темное заведение на задах городского рынка? Только одиночка какой-нибудь, заброшенка... Вот сейчас возьму и спрошу его: ты ведь живешь один? И он ответит, и у нас завяжется разговор, и, может быть, он расскажет, почему он в таком возрасте, когда одному особенно плохо, когда нужна живая старушка при доме, при хозяйстве, оказался в таком положении. Разговор, очевидно, уйдет далеко, и он не успеет задать мне тот же самый вопрос...

Мужчина сидел, строго выпрямив спину, напряженный, вытянутый, и острый кадык поршнем ходил сверху вниз. Наверно, ему нужен мой вопрос. Про себя он все давно уже знает, а я — нет, и мутный интеллигент в «горбачевке» не знает... и уж подавно те двое молодых с шампанским. И тут же я понял, что вру сам себе, что в действительности мне хотелось услышать встречный вопрос и отвечать на него подробно, долго, с болью. Вот этой болью, этим искушением собственной слабостью, своей закрытой от всех жизнью, которой ведь не поделишься просто так ни с кем, и вызвано мое подспудное желание поговорить с вытянутым человеком. Впору садиться в медленный поезд и обрести там случайного ночного собеседника, которому нет до тебя никакого дела, но он слушает, более того, делает вид внимательного слушателя, потому что нечем больше занять глаза и уши, потому что ему некуда деваться. А еще... Мне сделалось смешно от догадки: тот ночной попутчик терпит тебя, чтобы дожидаться своей очереди высказаться!

А сосед напротив сидел, все больше напрягаясь, не притрагиваясь к своей водке, и руки его беспокоились, искали чего-то. И вот они наш-

ли. На большой, знавшей тяжелую работу ладони открылся маленький мобильный телефон. Простой, дешевый, с красной полоской по боку — такие родители покупают самым маленьким школьникам, чтобы те могли отозваться в любую минуту.

— Веря! Верочка! — сказал он ожившей трубке.

Голос его оказался не просто хриплым, а каким-то трескучим, изношенным до крайности — ломкий воздух, протиснутый через тесные, огрубевшие связки.

— Верочка! — все повторял и повторял он, и было столько нежности в этой его хрипоты, сколько, показалось вдруг, никакому ясному, чистому, сладкому, звонкому голосу не передать. — Ты Наденьке, внученьке, подскажи, чтобы позвонила. Я не хотел бы, чтоб она тратила свои деньги — так ведь не отвечает телефон, что-то там у вас со связью. Уж и позднее пытался, и пораньше — вызов идет, а ответа нет... У меня все хорошо... Да, конечно... Посылку получили, все дошло нормально? Вы уж простите, я хотел купить Наденьке что-то посерьезнее...

И тут он заплакал. Никогда не разглядывал плачущих людей, наверно, это нечто неприличное — разглядывать чьи-то слезы. Засело в голове, скорее всего, из литературы — прозрачная слеза, чистая слеза... Слезы у деда были мутными, плоскими и мутными. Наверно, он редко пользовался этим инструментом, замутилась стоялая вода... Молодцом! Голос он держал. Глаза-то что, глаз там не увидят.

— Надюшка, наверно, уж деда догонит скоро, выросла? Платье-то в размер? — высказал он беспокойство. — Ну-ну... Ах вы, мои золотые, Верочка, Наденька!... Да вот же, праздник, ну да, конечно!.. Нет, с вас деньги брать не будут, я здесь специальную карточку купил, полдня объясняли тупому деду, как да что, разобрались. Слово там такое, отродясь не запомню. Но мне девушка все сделала, наладила.

Лицо деда разгладилось, ожило, но слезы никак не хотели высыхать.

— Наденька пусть только наберет, только звякнет разочек, и я тут же наберу ей сам... Филька-то?.. Да что Филька, живой, бегаёт, вас вспоминает: когда это мои хозяйшкы приедут... Хорошо, хорошо! Обнимаю вас! Надюшке привет... и пусть деда не забывает.

Дед застыл, и все в нем застыло — кадык на полпути, невысохшие слезы, молчаливый телефон в темной ладони, глаза, не видящие сейчас окружающего. Почему-то ничего хорошего не шло в эти минуты в голову: скорее всего, Надя не отвечает, чтобы не оплачивать двойной роуминг (далеко, видать, забралось семейство), платье немодное, да и уж точно не впору, а Филька, кем бы он ни был, давно издох от старости и ненужности.

Я приподнял свою рюмку, сделал жест в сторону соседа, предлагая составить компанию. Он меня не видел.

В «Ласточке» за это время ничего не изменилось. Думал свою бесконечную думу интеллигент в «горбачевке», медленно тянули шампанское с названием «Gold» молодые люди, и это казалось странным, что их не гонит, не вытаскивает отсюда атмосфера заброшенности, странного уюта



посреди неприютности. Куда более уместны здесь человек в овчинном полушубке, старик с вытянутым лицом... да я.

Побитый радиоприемник загудел из-за спины буфетчицы: «Отпусти, тоска, на волю, отпусти!» — «Все по теме», — подумал я и вслушался в следующие слова: «Когда увижу счастье наяву, рассвет вдали и утро без тумана». Я что-то досочинил за авторов, потому что слов разобрать было почти невозможно. Вот сейчас возьму и спрошу у замершего напротив меня человека, как ему слышалось — «утро без тумана» или «утро без обмана». Почему бы не спросить; он оживет, он попробует напрячь память, он хоть как-то отреагирует на меня... Но я не сделал этого.

Мои долгие сомнения, выпить свою порцию разом или разделить надвое, решил грустный призыв, прилетевший из-за спины.

— Ну что, мужики, — обреченно выдохнула буфетчица, — с праздником, что ли? За наш, за бабский день!

Встрепенулись все, кроме моего соседа. Опростав свою посуду, я поднялся и стал выбираться из-за лавки. На всякий случай кивнул соседу, и тут неожиданно он буквально взлетел над своей скамьей, заулыбался во весь рот и, схватив мою руку, начал горячо ее трясти. Какое такое благо усмотрел он в моем молчаливом присутствии, за что горячо благодарил — бог весть. Ошеломленный, я выходил из заведения, и в спину мне бубнил старенький приемник: «Я сяду в лодочку и уплыву...»

Идти мне было решительно некуда, даже не имело смысла перебирать в уме знакомых — замужних, женатых, одиноких... Все настолько далеко, будто жизнь моя давным-давно прошла и кто-то любезно придвинул книгу про меня, написанную когда-то, может еще до самой жизни главного героя. Это как несбывшиеся сны. И я вижу эту книгу — большущая, размером с полстолешницы, красноватая картонная обложка с надписью сверху — «Восточные сказки». У нас была такая, зачитанная до лохмотьев, потому что читали ее все, хотя она была принесена в дом как подарок детям. Однажды я влез домой через окно — жили мы на первом этаже, — чтобы напиться, запалившись на улице, и увидел отца, заснувшего поверх постели. В головах у него лежала развернутая книга сказок, а на лице застыла улыбка, какой я не видел до того ни разу...

На улице было серо, безрадостно и как-то плоско. Грязный снег покрывал весь город, из него тянулись к грязному небу грязные деревья и кусты. Это самое трудное — пережить март; не потому что он длиннее других месяцев и вбирает в себя все ужасы долгой сибирской зимы, а как раз из-за этой свирепой, безжалостной серости, разъедающей душу и мозг.

Я поднялся на мостик через речку, прозванную в народе Душегубкой. Бывало, топились в ней школьницы от несчастной любви, бабы от своей безысходной радости, но чаще сбрасывали туда убиенных за карточным столом, когда пьяному разуму не хватало аргументов, а языку — слов. Так ли, нет, прошли те черные времена или остались — мнительные горожане вечерами избегали ходить здесь, днем же торопились побыстрее пройти мимо этого места: им казалось, что на мостике все время пахнет мертвым

телом. Лед на речке стоял прочно, как в глухозимье, хотя обычно к марту забереги уже начинали парить и помаленьку оголять черную воду.

Здесь теперь совсем никого, а мне хотелось видеть людей, их лица, хотелось какого-то повтора неподвижного лица с застывшими ручейками слез. Еще хотелось вызвать в себе жалость к немногочисленным прохожим, избежавшим в этот день участи праздничного стола; я испытывал невероятную потребность в сострадании к людям, поодиночке вычерчивающим бессмысленные маршруты по серым тротуарам.

Некоторое время назад, случилось, я ловил в лицах прохожих знакомые черты, мне все не давала покоя мысль, что город и почти все привычное в нем остается неизменным, а люди куда-то деваются. Понятно, они стареют, но за старостью все-таки можно разглядеть прежние очертания, увидеть знакомые знаки. Я все жаднее всматривался — и все меньше узнавал. И однажды я решил оставить это занятие, несущее с собой одно лишь разочарование. Тогда я нашел другое: я начал искать во встречных схожесть со знакомыми лицами — и, прежде всего, с родными. Думаете, подобное сходство — редкость? Как бы не так! Наверно, важно настроиться, захотеть. Не знаю, может, это сумасшествие какое — всякий ли нормальный человек захочет увидеть в толпе свою давно умершую мать? Захотел. Увидел. А теперь точно знаю, каждый видел, хотел или нет, не мог не увидеть!

— Мама!

Сердце стремглав падает — и, кажется, конца нет этому падению. А потом медленно-медленно карабкается вверх, нехотя занимая привычное место. И долго потом смотришь ей вслед, думая, что со спины у этой женщины еще больше сходства с матерью — походка, слегка на отлете левая рука, а пальцами правой будто все время перебирает что-то... Мама всегда ходила в одну и ту же булочную, в один и тот же час, к открытию: туда привозили свежую выпечку и начинали торговать раньше всех хлебных магазинов в городе. Она ходила одна, потому что все еще спали, да как-то и в голову никому не могло прийти составить ей компанию. А потом, когда дети поразлетелись, а отец умер, этот путь, от булочной и обратно, стал ежедневной дорогой одиночества. Сколько ей надо хлеба, одной-то? А может, и не покупала вовсе, каждый день-то, кто сейчас скажет, кто знает... Но она ходила и ходила...

Отца я видел реже. Понятно, что речь здесь идет о людях, похожих на отца. А реже... У него внешность яркая — может, потому. Высокий чернокудрый красавец, его лицо — работа изощренного скульптора, ваяющего памятник герою: четко очерченный волевой подбородок, нос с горбинкой, широко расставленные глаза, три глубокие складки на лбу. Воля и решимость читались на отцовском лице. Тут и вся правда про него была написана. И все-таки находились в толпе похожие на него — какой-то частью лица, разворотом плеч, походкой... Только улыбкой никто не мог походить на него: отец никогда не улыбался. Я перестал искать в людях сходство с отцом, когда однажды обнаружил, что увидел похожего на него человека, который оказался моложе меня. И тогда мне увиделось мое занятие никчемным, даже нездоровым.



Моя старинная знакомая Таня Набатникова из далекой Москвы написала: «Когда мы были молодые, лет в тридцать пять, чужие смерти воспринимались как нечто естественное, даже оставляя толику удовлетворения, как будто освобождались вакансии жизненного пространства. Как в фильме “Мимино” в гостинице “Россия”, на съезде эндокринологов: “Ну вот и еще одно место освободилось”. А теперь, когда мне 67, каждый уход — моя личная утрата: пустеет мой мир. Выкашивает мой полк, мой взвод».

Я помню, Таня, сколько тебе лет, мы ведь одногодки. А ты что, боишься слова «смерть»? Ты ведь неспроста упустила ее (его, слово), составляя последнее предложение. Ты не могла это сделать случайно, нам всегда говорили педагоги: учись грамотности у Тани. Ты не бойся, Таня, ты просто не думай о ней. Это табу — думать о ней, как, скажем, об одиночестве. Они же брат с сестрой... А есть еще сиротство. И знаешь, что общего у одного, другого и третьего? У них нет возраста!..

Восемь лет назад умерла моя теща. Она всю жизнь неистово боролась за свое здоровье и не собиралась умирать. Она просто поторопилась привести в соответствие саму жизнь и ее правила. Дочь не должна была умереть раньше матери. Но это случилось. Стрессовый рак — так объяснил причину смерти патологоанатом. Никогда раньше не слышал.

Моя теща в последнее время видела мир в мрачных тонах, и это объяснимо. Она говорила:

— Мы уже не можем извлечь из себя то, что не в силах ни дать, ни отнять никто — умение веселиться от веселого, плакать от грустного. Мы подавили себя в себе, мы продолжаем делать это до старости, до беспредельной ненависти к самим себе, когда уже в толк не возьмем, почему разучились смеяться и плакать. Когда говорят «старый что малый», имеют в виду как раз это: тот и другой плачут и смеются, не понимая причин слез и веселья...

Вспоминаю эти слова тещи, а перед глазами дочь, взбирающаяся по крутому берегу Катуня с тремя маслятами в руках.

— Понимаешь, — с глубокомысленным видом сообщила она, — здесь грибы не собирают. Это вроде как растительная солидарность. Приехавшие сюда отдыхать в основном проводят время... как растения, и им нет дела до других растений.

— Нет, дочь моя дорогая, просто все они из города — и, наверно, забыли, что пицца находится у них прямо под ногами.

К тому времени дочери исполнилось пятнадцать, и она уже начала привыкать к жизни без мамы. А я к этому привыкнуть еще не мог. Мне казалось, что ее все время надо отвлекать, таскать за собой, а у нее уже появился новый друг — компьютер, да и масса других друзей, и она все неохотнее соглашалась на путешествия со мной.

Да, Катунь, мое последнее пристанище, мой покой и забвение. Запалить бы костерок да собрать друзей-товарищей, с кем проводил здесь золотые дни в золотые годы. Позвал бы Жору Алексеева, художника из Питера. Он обязательно начал бы высказывать глубокие, по его мнению, взгляды на жизнь, заявил бы что-нибудь вроде:

— Этой вот сосне лет сто пятьдесят, не меньше, под ней сидели, ходили несколько поколений до нас, и ни до кого ей никогда не было дела. А человеку почему-то есть дело до нее. Человек — существо не самодостаточное, в этом отношении ему ни с чем и ни с кем не сравниться. Подтверждение тому — масса вещей, жизненных подпорок, необходимых человеку. И с каждым годом количество этих подпорок растет, а с тем убывает человеческая самодостаточность, вернее остатки ее...

Так бы, наверно, сказал Жора. Или... Кто его знает, что бы он сказал нынче? А о чем бы поведал Коля Шипилов? Я сейчас как-то плохо представляю его здесь, хотя картинка, застилающая мой взгляд, была наблюдаема мной неподалеку отсюда. Коля сидит в затишке за домиком на турбазе и сочиняет свои песни. Одна из них — гимн замечательному наплевать. Я даже некоторые слова запомнил. Думаю, сейчас это из моих знакомых самый большой оптимист. Вот сморозил!.. Коля умер. А незадолго до смерти родил дочь. От простоты и ясности в отношении к жизни. От оптимизма. Который не умер вместе с ним. Как он там пел, выходя из-под пульт у Белого дома? «Я еще вернусь на святую Русь, разберемся до конца потом». И я верю — вернется...

И тут мне неудержимо захотелось обратно, в заведение с нежным названием «Ласточка». Ноги уж сами направились туда, однако разум сдерживал, напоминая: «Отпусти, тоска, на волю, отпусти!» Да не за тоской я туда, убеждал я себя, перекусить, толком не ел ведь еще сегодня.

И тут пришло на память: сидим с дочерью за столом, ужинаем (не вспомню, кстати, за последние пару лет, чтобы мы хотя бы раз обедали вместе). Я поперхнулся и спрашиваю ее:

— Как думаешь, почему пожилые люди чаще молодых давятся пищей? У меня по нескольку раз на дню что-нибудь в дыхательное горло попадает.

— А жить торопятся, — не задумываясь ответила она. И таким тоном — вроде как меня этот ее вывод не касается. — Доживать. Вот и глотают, не пережевывая толком.

— Может, совсем не потому... Скажем, с возрастом дыхательное горло расширяется из-за нехватки организму воздуха. Вот туда и летят всякие крошки.

— Ты спросил — я ответила, — буркнула она и закончила тему: — Как раз молодым надо больше воздуха, потому что они живут энергичнее, двигаются больше. Чего на диване особенно дышать-то? Лежание трусцой еще не придумали.

В то время диваном я пользовался только по ночам и уж никак не больше ее. Но смолчал.

В «Ласточку» я возвращаться не стал.

А день все длился. Правители что-то опять напридумывали с переводом часов — наверно, в этом все и дело. Раньше в марте дни были короче. Я не хочу видеть этой сплошной серости вокруг — серый снег, серый лед на реке, серое небо... и даже выкрашенная розовым стена дома напротив — серо-розовая. Я закрываю глаза и вижу покрытый яркой зе-



ленью берег, желтые головки одуванчиков, выглядывающих из травы, солнечные блики на реке, веселую лодочку, бегущую к дальнему берегу, и тетку, торгующую возле моста черемшой. Это же весна! Господи! В каком красивом мире мы живем!

Долго ли, коротко ли я так простоял — у меня появлялось ощущение, что передвигаюсь, иду куда-то, — но вот я открыл глаза — и обомлел: прямо передо мной алела целая клумба тюльпанов! Сразу ничего не поняв, я подумал, будто на самом деле глаза мои против воли не захотели открываться, они еще там, в загадочном мире грез. Но нет, цветы были воткнуты в снег, кто-то аккуратно соорудил клумбу из нескольких десятков великолепных голландских тюльпанов. Что тут гадать, окончательно пришел я в себя: отвергнутые цветы! Чье-то счастье кончилось, а может, и не успело начаться...

Дочь поехала учиться в другой город. Точно такой же институт был и у нас, рядом с домом. Я не хотел отпускать ее.

— Знаешь что, — сказала она и с улыбкой вроде, но в то же время серьезно. И я вздрогнул, увидев в ней ее мать! В точности! И вот это «знаешь что», и интонации... — Знаешь что, — повторила она, — мне спешить некуда, а вот к тебе должны приходиться женщины. Время не прощает, когда к нему относятся с пренебрежением. Ты у меня еще мужчина в самый раз, но все-таки иногда заглядывай в календари... А то и останется при доме какая, я только за! Мамою буду называть!

Тут она расхохоталась, а мне что-то совсем не хотелось смеяться. Я-то наверняка знал: никого она больше мамой не назовет.

Дочь уехала и больше не возвращалась. Она регулярно наезжала в гости, но виделись мы мало. Обычно она притаскивала с собой целую компанию друзей, и они почти сразу же отбывали в горы.

— Ты с нами? — спрашивала она всякий раз, наверняка зная, что я не поеду с ними в альплагерь Ак-Тру и не полезу покорять Белуху.

Женщины? Женщины в доме бывали. Но не задерживались подолгу, ибо рано или поздно отгадывали во мне стремление остаться одному.

После института дочь проехала несколько городов и в конце концов остановилась в Москве. Она инспектирует какие-то крупные сооружения, может, гидростанции, может, еще что-то в этом роде. Спросишь — в ответ хи-хи и ха-ха: не заморачивайся! Во всяком случае, на месте она не сидела.

Справедливости ради надо заметить, что я не так уж сильно печалился из-за домашнего одиночества, правда, жизнь моя изменилась, я превратился в самого примитивного обывателя из тех, кого когда-то презирал. После работы... Да, я же еще не сказал, что работаю. Я инженер в типографии, довольно крупном и ничемном предприятии. Почему ничемном? Дело в том, что подобных предприятий в городе около трехсот и остановку или ликвидацию даже десятка из них не заметит никто. Но мы работаем, потому — трепещите, леса! От упаковок для продуктов до многотомных сочинений местных графоманов — всё наша продукция...



Итак, после работы я ставлю на огонь что-нибудь из полуфабрикатов, которыми запасаясь в получку и аванс, ужинаю, валюсь на диван (помните разговор с дочерью на тему диванной жизни? Так вот, диван победил!), включаю телевизор. И вот он, весь мир передо мной! Читать я бросил совсем, единственная книга, из которой прочитывал на ночь глядя одну-две страницы, — это что-то вроде учебного пособия «Аварии в строительстве», оставшаяся каким-то чудом со времен учебы дочери. Открываю и читаю: «К недостаткам проектных решений отдельных зданий и сооружений, которые в совокупности строительно-монтажных работ привели к обрушениям, можно отнести недостаточное обеспечение пространственной жесткости и устойчивости полносборных зданий...»

Я забросил даже свою любимую до дрожи рыбалку. С одной стороны, напарников не осталось, с другой — рыбу есть некому. Сам я ее никогда не любил, а вот дочь — другое дело. Наловлю карасей — она сама вызывается чистить. Жена обычно встречала с рыбалки:

— Наловил — самому и чистить! — Иной раз подберет: — Так и быть, почищу, только ты ее сначала усыпи, пороть живую не стану.

Потом, оставшись один, я, бывало, устраивал проверку своим подругам, или, по-современному, *тестировал* их. Выложу улов — и смотрю, выжидаю.

Ответы различались только в оттенках.

— Ни за что чистить не буду!

Или:

— Дорогой, может, ты сам почишишь?

Когда мы расставались, совесть моя была чиста. Хотя бы в какой-то части.

Обычно дочь запускала пойманных карасей в большой таз с водой, рядом ставила посудину для выпотрошенной рыбы.

— Смотри-ка, шустрый какой! Нет бы отсидеться за спинками у других — суетится, носится туда-сюда... — Она всегда подобным образом разговаривает за делом. — Вот и заметили тебя, дурака, вот и поймали... А ты... Хитрый, да? Мол, я не я и лошадь не моя! Вы тут подышайте, а я в стороночке подожду, не высовываясь, понаблюдаю. Нет, брат, хитрых у нас не любят, хитрый — это почти что умный, а умный — кость в горле у прочего населения. Ой, посмотрите, ударть решил! — Она возвращает в таз с водой беглеца. — Отважный — это похвально, только знай, братец, если тебя лишили воли, а потом решили сожрать, то уж сожрут непременно...

Прислушиваюсь и думаю, что вот сейчас у нее выпускной класс, пока еще школьница, но немного времени — и попадутся ей в жизни и хитрые, и подлые, и завистливые... Да и других, даст бог, встретит. Вон она сама-то какая — добрая, светлая, хотя и замашки мальчишечьи, и в школе дерется, и рыбу кромсает безжалостно...

День закончился как обычно. За исключением того, что я замерз и, подсчитав часы, проведенные на улице, прикинул: столько времени я за



всю зиму не нагулял. Пришел домой, лег на диван и только тут понял, как устал. Подержал в руке пульт от телевизора, отложил и взял учебник. «Обрушаются конструкции, а порой здания и сооружения в процессе эксплуатации в результате перенапряжения несущих конструкций и их элементов...» Этого мне хватило, чтобы уснуть.

И все-таки нынешний март выдался необычным. Днем плюсовые температуры иногда позволяли даже ходить без пальто. Шли дни, и все набирало и набирало силу тепло.

Однажды вечером в новостной программе телевидения сообщили о серьезной аварии на Лесогорской ГЭС. Мне запомнилось только, что есть опасность затопления жилых поселков, и название реки — Вуокса. Что-то прибалтийское, финское почудилось мне в этом названии. Посмотрел в энциклопедии — Карелия. Подумал: наверно, моя драгоценная дочура уже там, это, скорее всего, по ее части. И тут меня накрыло какое-то непонятное волнение. С чего бы, в первый раз, что ли? — спрашивал я себя. В конце концов, она не в МЧС служит, не в спасательном отряде. Но беспокойство не проходило. Тогда я набрал номер мобильного и услышал холодное: аппарат вызываемого абонента выключен или...

— Или, — повторял я, не дослушав, — или...

Я ходил по квартире, заглядывая поочередно то на кухню, то в комнату дочери, как будто она по неведомому волшебству вдруг очутилась бы в своем уголке, где ничего со времени ее отъезда не тронута. Я не мог взять в толк, какие действия предпринять. Бежать в аэропорт? На Москву рейсы только утром. А если пробираться прямо туда, к этой самой Вуоксе, все равно через Москву?.. Но кто пустит, там же чрезвычайная ситуация! И где это, я никогда не был в тех краях: Карелия, Петрозаводск... а дальше?..

Я знал, знал эти минуты бессилия, когда видишь себя здоровым, готовым на поступки, но ситуация парализует тебя, не дает возможности проявить ни разум, ни волю, ни смелость.

Снова и снова звоню. «Или», «или», «или»!..

Вымотанный до предела, я рухнул на диван, и тут — звонок.

— Ты чего, папка? Восемнадцать пропущенных звонков! Случилось что?

А я говорить не могу! Открываю рот, изо всей силы пытаюсь хоть что-нибудь вытолкнуть из горла — бесполезно!

— Алле! — наконец выпускают мои связки нечто хрипло-придушенное.

— Папа! — В голосе ее уже настоящее беспокойство.

— Да-да, доченька, — произнес я уже более-менее отчетливо.

— С тобой все нормально?

— Да я-то в порядке, а вот ты...

— У нас тут экстренное совещание, трубу пришлось отключить.

В Карелии проблемы...

— Знаю, знаю! — не дослушал я. — В новостях передали. Вот я и подумал, тебя туда послали разбираться.

Она рассмеялась.

— Эх, папуля! Я давно уже сама посылаю. Вот ничего же не знаешь про свою дочь...

— А ты не напишешь, не позвонишь лишней раз! — рассердился я. — Занятые мы, как же!

— Приезжай давай, выбирайся, мне-то в ближайшее время не светит... Если честно — соскучилась.

— Женихи, поди...

— Ага, в очередь! Домой иду — палками отгоняю! Всё, папка, пока, у меня аврал продолжается.

Мне отчего-то стало душно, того и гляди — сердце прижмет. Не хватало только приступа... Пойду на улицу, подышу. Одеваюсь и поглядываю на часы: у нас восемь вечера, в Москве — пять... Смотри-ка, посылает она!..

Через три дома от моего, на углу проспекта и боковой улочки пожилая женщина продавала нарциссы. Ей-богу, не припомню, чтобы у нас в марте цвели нарциссы, но и март нынче больше на апрель похож. Наши, точно не голландские... откуда бы у бабули быть голландским?

— Купите девушке цветы! — посмотрела она на меня без особой надежды. А голос печален, совсем не к цветам.

— Хм... цветы! — усмехнулся я, проходя мимо. — Девушке!

Сделал еще несколько шагов и резко повернул назад. Ну конечно же цветы! Конечно же девушке!

Цветы умеют улыбаться. Вы не знали? Особенно вот эти, нарциссы, ранние, весенние — цветы любви и надежды. Они преобразили мое жилье, они такие красивые рядом с ней, такой красивой!

Назавтра был выходной. С утра меня начало одолевать какое-то смешанное чувство праздника и беспокойства. Нарциссы смотрели со своего возвышения торжественно и с некоторым превосходством. Мне показалось, будто они посвежели, помолодели.

Я решил прогуляться, ходил долго, бесцельно — и не заметил, как ноги сами привели меня в «Ласточку». Там был всего один посетитель, он сидел спиной к выходу, лицом к барной стойке. Заказав маленькую рюмку коньяку и кофе, я обернулся и узнал в одиноко сидящем человеке того самого пожилого мужчину, что сидел точно на этом же месте в прошлый раз. Одежда, застегнутая на верхнюю пуговицу рубашка, напряженная фигура... Но что самое удивительное — слезы! Те же — плоские, мутные... И телефон в руке, только мне не разглядеть отсюда, есть ли на нем красная полоска. Как в прошлый раз, я подумал, что неприлично вот так разглядывать незнакомых людей, и ничего не мог с собой поделать. Но чем дольше я смотрел на него, тем больше сомневался, тот ли это посетитель? Лицо не так удлинено, морщин на лице поменьше, кадык — заметная деталь — не столь остро выпирает...

Нет, конечно же, это не он. Это другой.

Леся СЕРЕБРЯНАЯ

«ЗИМЫ КОРОБОЧКА ПУСТАЯ...»

* * *

Все сказанное в суете —
Страницей выдрано из книги.
И дни проходят, как расстриги —
Не в колокольной маете.

Не звон к обедне созывает,
Но тишина — к столу пустому.
Столешница сродни парому.
Я — линия береговая...

Собрались волны и судачат...
Взахлеб дыхание спасенных...
И чей-то голос просмоленный,
Как лодка, утыкаясь... плачет.

* * *

Обмелеет источник. Жажда сушит скорей,
Чем бессонница ночью изводит.

Кот дворовый сидит у дубовых корней,
Песню древнюю, жмурясь, заводит.

Ну а время?! Оно — не посол-печенег,
Не отвадить кисельной болтушкой.

Упадет в тот колодец, как падает снег,
Человек, городок и церквушка.

* * *

Птицы под кровлей живут —
Меченный высью дом.
Полдня горячий трут
Дарит живым огнем.

Окна верней зеркал
Отображают нас.
Светлый слезливый глаз
Все жития впитал.

Бойкой синицы дрожь
Клюнет зрачок стекла.
Он на меня похож —
Так же не видит зла.

* * *

Невеселое застолье.
С тенью собственной сижу.
Корку посыпаю солью.
Взгляд от окон отвожу.

Там — деревьев богомолье,
Листика летит платок.
Но не примут бандеролью
Даже в облачный раек.

Там — расшито небо гладью.
На моей стене — крестом.
Ну, куда с земною кладью
На ходу на холостом?

Соберу сухие крохи
И застыну у дверей.
День прошел без суматохи.
Век пройдет еще страшней.



* * *

И был сентябрь — птичий, земляной,
Прилеглий за нестройной городьбой.
Была рябина, прислоненная к стеклу,
Игла от поезда, волнующая мглу.

И жизнь была... Иль не было ее?
Застыло в раннем воздухе белье.

* * *

Зимы коробочка пустая,
Декабрьский нетопкий лед.
Горланит печь, не уставая.
К ней греться ходит старый кот.

За стенами скрипучий ветер
Цепляется за провода.
Так и живешь на белом свете,
На белом, как зимой вода.



Кристина КАРМАЛИТА

ИСТОРИЯ ОДНОГО УБИЙСТВА

Геоманитная буря в пяти картинах

Драма — один из основных родов литературы, а природа ее двойственна: драматические произведения существуют как в литературном поле, так и в сценическом пространстве. Это своеобразие часто и становится причиной невнимания к пьесам со стороны литературных журналов.

Но «Сибирские огни» изначально считали драматургию сферой своих интересов и в самом первом номере в марте 1922 г. уже печатали агитпьесу «Митинг» В. Далматова. В том же году в № 4 выходит одноактовка В. Итина «Власть», а позднее публикуется даже зарубежная драматургия — пьеса Банзаракчи с монументальным названием «Многочисленные преступления и ошибки монгольских сановников, князей, чинов и простолюдинов, совершенные во время великих мировых смут: монгольская революционная пьеса-хроника на злобу дня» (пер. с монгольского А. Бурдукова).

В 1930-х гг. «Сибирские огни» печатают пьесы В. Вихлянцева, Н. Кудрявцева, Г. Пушкарёва, П. Кучияка, М. Кирикова. Тогда же в журнале впервые появляется и театроведческая рецензия — статья Н. Надымова «Первый вклад в драматургию: заметки о пьесах “Просперити” В. Вихлянцева и “Мартын и Жонас” Г. Павлова» с таким финалом: «...есть чему поучиться у Еврипида нашим драматургам. Мы вправе надеяться, что в результате дальнейшей работы и учебы В. Вихлянцев и Г. Павлов сумеют сделать более ценные вклады в сибирскую драматургию, талантливыми зачинателями которой они являются».

И надо сказать, что сибирская драматургия действительно оказалась плодотворной: в «Сибирских огнях» свои пьесы публикуют А. Никольков, А. Плитченко, Е. Корнатов, Э. Фоякова, Д. Иохимович, С. Омбыш-Кузнецов, Ю. Постнов, А. Волошин, В. Лаврентьев, А. Адаров, Т. Саблина, Д. Рябов, А. Юфа, Рис Крейси (Борис Гринберг), В. Шапошников, Г. Немченко, С. Смоляницкий, Э. Ибрагимова.

А с 2011 г. в Новосибирске работает Товарищество сибирских драматургов «ДрамСиб», объединяющее драматургические силы Сибири и помогающее в продвижении пьес.

В свою очередь наш журнал возобновляет традицию публикации пьес сибирских авторов, и мы надеемся, что это будет интересно не только читателям, но и режиссерам-постановщикам.

Редакция

Действующие лица:

Кротов Валерий, 43 года.
 Потёмкина Галина, его жена, 40 лет.
 Егор, их сын, 20 лет.
 Фаина Васильевна, тетя Кротова, 68 лет.
 Люся, 19 лет.

КАРТИНА ПЕРВАЯ. УТРО

Тихое августовское утро. Кухня трехкомнатной полногабаритной квартиры. Здесь происходит все действие пьесы. Как и полагается кухням, внутри нее находятся столы, стулья, плита, холодильник, шкафы, раковина. Расположение и цвет предметов не имеют никакого значения. Также в кухне есть окно, по отношению к зрителям оно расположено так, будто они смотрят спектакль через него. За столом сидит Кротов, читает газету и пьет кофе. Между холодильником и столами беспokoйно перемещается Потёмкина, собирая в контейнеры еду на обед — себе и мужу. Параллельно с этим она отхлебывает чай и жует бутерброд. Входит Фаина Васильевна. Она степенно двигается к шкафу, достает из него пакет пшена, подходит к окну и начинает рассыпать пшено на подоконник со стороны улицы.

Фаина Васильевна. Гули, гули, гули! Гули, гули, гули! Гулечки мои!

Потёмкина. Вот же прилипчивые твари, и как у них память не отшибет!

Фаина Васильевна. Гулечки мои, гули, гули!

Потёмкина. Весь подоконник загажен!

Фаина Васильевна. Гули, гули, гули! А ну не дерись, скотина!

Потёмкина. А ведь сальмонеллез можно заработать!

Фаина Васильевна. Гуля, гуля, ах ты, голубушка, ах ты, хромоножка моя!

Потёмкина. В помете их что только не водится!

Фаина Васильевна. У кого же это ума хватает помет ваш руками трогать, а потом с рук облизывать. Гуля, гуля, гуля!

Потёмкина. Хоть бы ты книгу читал, газеты эти на полкухни развернет — повернуться негде!

В это время Фаина Васильевна отходит от окна и, споткнувшись о вытянутую ногу Кротова, налетает на Потёмкину, в руках которой кружка с чаем. Чай, конечно, выплескивается на платье. Потёмкина вскрикивает.

Потёмкина. Сварила! А-а! Сварила! Встреча с министром! Восемь тысяч рублей!

Фаина Васильевна. Надо же, как точно попала, а ведь совсем не целилась! Есть Бог на свете!

Потёмкина. Чернокнижница!

Фаина Васильевна. А зачем министру на тебе такое платье?

Потёмкина. Я с людьми встречаюсь! С важными людьми! (*Кротову.*) Защити меня!

Фаина Васильевна. Надухарилась с утра, аж в носу больно.

Потёмкина. Сколько раз я просила не приходите сюда, пока я здесь, я просила цивилизованно!

Фаина Васильевна. А теперь что, милочка, материться будете?

Потёмкина. А теперь я требую! Это стало невыносимо! (*Кротову.*) Ты обещал больше не молчать! (*Уходит.*)

Фаина Васильевна. Выжала она из тебя все соки. Каши с утра не сварит, обед тебе еле как заставила собирать. Для людей наряжается, хоть бы скрывала!

Кротов. Знаешь, тетя...

Фаина Васильевна (*перебивая, с вызовом*). Что?

Кротов. Кризис, говорят, долгий будет.

Фаина Васильевна. А я что? Это я, что ли, вас выселяю?

Кротов. Да и похолодание обещали.

Фаина Васильевна. Раз кризис, значит, тетку — в хрущевку, в Пашино?

Кротов. В центре ж предлагали.

Фаина Васильевна. В деревянный дом!

Кротов. Поищем что-нибудь, ремонт сделаем.

Фаина Васильевна. Какой ремонт мне сделает три комнаты из одной?

Кротов. Куда тебе три?

Фаина Васильевна. Считать! Считать, что я живу не так уж и плохо, и спокойно смотреть телешоу по первому каналу. А смотреть на их блеск и видеть вокруг одну серую комнату в три квадрата с плохим ремонтом — это вот хотите — покупайте, я не держу!

Кротов. Знаешь, тетя...

Фаина Васильевна. Что?

Кротов. Знаешь, есть такие Галапагосские острова. На них огромные черепахи водятся.

Фаина Васильевна. Ах вот что это значило! Обещал он больше не молчать! Измором взять хотите?

Входит Егор.

Егор. Бабён, ты куда опять мои ключи дела?

Фаина Васильевна. Что, и сына подключили?

Егор. Слушай, я опаздываю.

Фаина Васильевна. А я тебе не раз уже говорила. Есть ключница.

Егор. Ну, не на пол же я их бросаю.

К р о т о в. Да отдай ты ему ключи!
 Ф а и н а В а с и л ь е в н а. Ключи должны висеть в ключнице!
 Е г о р. Я тоже просил тебя не оставлять зубы в ванной. Бабён, давай не будем.

Ф а и н а В а с и л ь е в н а. Выживаете, значит, вот как!
 Е г о р. Неудобно мне в нее вешать.
 Ф а и н а В а с и л ь е в н а (Егору). Ну, от тебя-то я никак не ожидала. (Уходит.)
 Е г о р. Да что такое, я не пойму?
 К р о т о в. Давление скачет.
 Е г о р. Ладно, вечером кто-нибудь будет.

Егор уходит. Кротов допивает кофе у окна. Входит Потёмкина.

П о т ё м к и н а. Сказал?
 К р о т о в. Сказал.
 П о т ё м к и н а. Как надо сказал? Или опять со своими финтифлюшками?
 К р о т о в. Как надо.
 П о т ё м к и н а. Как я?
 К р о т о в. Не на восемь.
 П о т ё м к и н а. На четыре хоть потянет?
 К р о т о в. Потянет на пять.
 П о т ё м к и н а. А взяла за три! Правда, на распродаже, вообще, оно шесть. (О голубях.) Ух, твари ненасытные. Надо отраву купить, подсыпать. Слушай, ну чем старее, тем дурнее, что дальше-то будет? Надо решать, она же разум теряет. Точно ведь задарит свою долю этим сектантам, что мы делать будем? Никакие суды не помогут. Вот как так, если уж люди живут долго, так надо, чтобы хотя бы мозг не усыхал. Родственники в чем виноваты?

К р о т о в. Она вчера читала мне наизусть Пушкина.
 П о т ё м к и н а. И что?
 К р о т о в. Кажется, ум вполне ясный.
 П о т ё м к и н а. Мало ли психов читают Пушкина! Слушай, а это идея. Надо поспрашивать. Может, освидетельствование устроить, доказать недееспособность? Нет, ты прости, конечно, но разве человек в своем уме может общаться с «этими»? Это ж всемирно доказано, что секта и вымогательство.

К р о т о в. Ей одиноко.
 П о т ё м к и н а. А мне как? С тобой поговорить ни о чем нельзя, Егор пропадает бог знает где, гиена под боком грызет постоянно. Но я же сохраняю здравый рассудок. Когда пришли сектанты, я совершенно разумно закидала их яйцами. А чтоб дорогу сюда забыли! Будут знать, с кем имеют дело!

Входит Фаина Васильевна.

Фаина Васильевна. А где Егорка?

Кротов. Ушел.

Фаина Васильевна. Вот его ключи, насилу нашла. Возраст! Память не та, зрение не то, от снохи вообще помощи нету.

Потёмкина. Какой это вам еще помощи надо?

Фаина Васильевна. Хоть бы облепиху съездила собрала. Компот зимой пить все горазды.

Потёмкина. Я ваш компот никогда и не нюхала, и потом, я вам не сноха!

Фаина Васильевна. Да разве ты когда-нибудь хоть кем-нибудь мне была? Помню, попросила помочь пирог испечь, так нет же, она книжечку читает, она у нас культурная, белоручка!

Потёмкина. Да что это такое сегодня, солнечное затмение? Двадцать лет назад это было, Фаина Васильевна! Где ключи лежат, у вас памяти нету, а двадцатилетние обиды как вчера случились!

Фаина Васильевна. Навек, навек не забуду! Как объявление войны!

Потёмкина. Да разве я вам ее объявила? Вы на меня первая и напали, тут же вечером скандал устроили, мол, лентяйка я и проходимка.

Фаина Васильевна. Вот, оказывается, не одна я помню двадцатилетние обиды. Твое бездействие и было нападением. Ты ничего не хотела делать, вела себя как госпожа, а я при тебе — прислуга, значит?

Потёмкина. Всегда, всегда вы пекли этот пирог сами, а тут вам вдруг приспичило! Ну, почитать мне тогда надо было, я еще училась, мне надо было читать!

Фаина Васильевна. А сейчас ты уже работаешь!

Потёмкина. Да, я работаю пять дней в неделю и ездить на вашу дачу, впахивать в единственные выходные не хочу и не стану и все консервы ваши я не ем. А ты чего молчишь опять? Скажи уже что-нибудь!

Фаина Васильевна. Не дергай мальчика, он от тебя устал! Балаболка!

Потёмкина. Черно книжница!

Фаина Васильевна. Ондатра!

Потёмкина. Да что ты молчишь-то, пень?

Кротов. Тетя, знаешь...

Фаина Васильевна. Знаю! На Галапагосских островах живут большие черепахи! То есть ты хочешь сказать, что я — черепаха, которая долго плетется в свою могилу?

Кротов. Ладно, мне уже пора.

Потёмкина. Ничего себе! Я ему контейнеры собираю, а он — бросает одну на поле боя. Нет уж, раззадорил своими черепахами, теперь сражайся сам с этим крокодилом, я все-таки хочу допить чай, мне бутерброд в желудке давит.



К р о т о в. Слушайте, по прогнозам сегодня наблюдается геомагнитная буря, вы обе просто попали под ее действие, прекратите уже. Тетя, пусть она допьет чай, и мы уйдем.

Ф а и н а В а с и л ь е в н а. Конечно пусть. Пусть. Пей, милочка. Пей, дорогуша. Сядь, Валерочка, поясница у тебя больная, стоять вредно, сядь, кротик. Но только вот вам, вот вам, а не квартира! Не секте, так цыганам сдам! В другом месте сниму — в этом сдам, будете с цыганами жить! Целый день песни, пляски, гадания — посмотришь, узнаешь у меня, душечка, кто такие чернокнижники!

П о т ё м к и н а (*Кротову*). Ты видишь, видишь?

К р о т о в. Тетя Фая, пойдем в комнату.

Ф а и н а В а с и л ь е в н а. Будешь ко мне на коленках ползти до пятого микрорайона, куда я уеду от вас подальше, ползти от этой кухни до пятого микрорайона, и там у каждого алкоголика выспрашивать, где живет чернокнижница, потому что адреса я не скажу! А цыганочки-то постройней тебя будут да помоложе, Валерчику как раз под стать.

К р о т о в. Тетя Фая!

П о т ё м к и н а. Инвалидность ума! Первой степени!

Ф а и н а В а с и л ь е в н а. Нет, подожди! Не цыганам! Не цыганам! Гастарбайтерам! Пятнадцать человек заселю! Вот уж ты дождешься мужского внимания, вот уж получишь!

П о т ё м к и н а. На лечение у меня пойдете, вместе со всеми пятнадцатью гастарбайтерами!

Ф а и н а В а с и л ь е в н а. А от министра ты и взгляда не получишь, тем более в этом своем трехрублевом мешке. Да что-то все равно дороговато смотрится, дай-ка подправлю.

Фаина Васильевна хватает стакан с недопитым кофе, плескает в Потёмкину, пачкает платье. Потёмкина кричит, вскакивает из-за стола, в онемении смотрит на Фаину Васильевну и Кротова.

К р о т о в. Ну, тетя! (*Берет стакан с чаем, выливает на Фаину Васильевну.*)

Ф а и н а В а с и л ь е в н а. А-а! Убил! Убил! Против родной крови, против матери пошел!

К р о т о в. Ты мне не мать.

Ф а и н а В а с и л ь е в н а. Отрекся! Ради жабы отрекся! Все для тебя, все для него! (*Уходит.*)

П о т ё м к и н а. Надо же, не ожидала от тебя. Жаль, чай уже остывший был. Меня-то она кипятком!

К р о т о в. Она ж споткнулась!

П о т ё м к и н а. Использовала удачно подвернувшуюся возможность. Я бы на ее месте сделала то же самое.

К р о т о в. Галка, ты же не была такой.



Потёмкина. Боже мой, еще заплачь. Нет больше девочек в ситцевых платицах, есть кобры, пантеры и курицы. Хорошо сказала? Надо записать.

Кротов. А жабы?

Потёмкина. Оригинал! (*Уходит.*)

КАРТИНА ВТОРАЯ. ВЕЧЕР. НАЧАЛО

Тихий августовский вечер. За столом сидит Кротов, пьет кофе и читает книгу. Входит Потёмкина с пакетом, разбирает покупки, расставляет их по местам.

Во все время разговора с Потёмкиной Кротов не отрывается от чтения.

Потёмкина. Все-таки какой импозантный мужчина.

Кротов. Кто?

Потёмкина. Да уж не ты. Просила, выброси эту рубашку.

Кротов. А что? На работу не надеваю.

Потёмкина. А я почему должна терпеть? Не такие мы нищие. И вообще, человек везде должен быть прекрасен — и на работе, и дома.

Кротов. А в туалете штаны снимать можно?

Потёмкина. Вот Иван Андреевич так бы никогда не сказал. Есть в нем что-то от древних римлян. Какая-то стать. Он же и плаванием занимался, был отличный пловец, помимо того что кандидат наук. Господи, вот же пример есть, все человек успевает, а этот наш — ни шайбу забить, ни партию сыграть.

Кротов. А кто это — Иван Андреевич?

Потёмкина. Министр, кто ж еще. Я сегодня интервью брала. Рассказываешь тебе, силы тратишь.

Кротов. Ну и что говорит?

Потёмкина. Что говорит, что говорит — так и не расскажешь. И про театры, и про учебные заведения, и вообще про культурную политику — обо всем говорили. И просто — о жизни. Да, не так нужно человеку искусство, как пиво и котлеты, да! Но пиво выпил, сходил в туалет — и нет его, вместе с мозгами. То же самое и с котлетами, только без мозгов. А искусство? Искусство входит в самые глубины души, проникает в тебя, как семя в почву, прорастает и дает плоды на долгие годы, возможно на всю жизнь становится твоим руководителем, твоим хранителем или спасителем. Искусство нельзя продать или купить, искусство как воздух — или дышишь им и живешь, или умираешь от асфиксии.

Кротов (*отвлекаясь от книги*). Что это ты делаешь?

Потёмкина (*смешивает какой-то порошок с пшеном, которым Фаина Васильевна кормила голубей утром*). Да вот, отраву купила от иродов этих. Пусть она сама их и покормит, что я руки-то марать буду.

Кротов (*продолжает читать*). А-а. Ну, добре, добре.

Потёмкина (*шепотом*). А ее дома-то нет? Не подслушивает? Что-то я и не подумала.

К р о т о в. Нет, нет, можешь не беспокоиться. Я ее убил.

Пауза.

П о т ё м к и н а. То есть как убил?

К р о т о в. Обыкновенно. Зарезал.

Пауза. Потёмкина оглядывается по сторонам.

П о т ё м к и н а. Вот что мне всегда не нравилось в тебе, Кротов, так это твое чувство юмора!

К р о т о в. А я и не шучу.

П о т ё м к и н а. Оригинал!

К р о т о в (*встает, идет к плите, разливает из кастрюли суп по тарелкам*). Мы есть-то будем? Тебя же ждал. Голоден как черт. Сегодня отчет сдавали, пообедать не успел. Да еще раньше же надо было домой вырваться.

П о т ё м к и н а. Зачем?

К р о т о в (*ставит тарелки с супом на стол, отрезает хлеб, садится, начинает есть*). Тетя Фая на кладбище отвезти попросила, которое дальше, где дед лежит. Приспичило ей вдруг. Вспомнила, что сегодня у него поминки, ну, память у нее, сама понимаешь. Так вот, там я ее и убил. Там место безлюдное — удобно. И закопал сразу же — и с дедом рядом, и не найдет никто, очень удачно все вышло.

П о т ё м к и н а. Да перестань ты есть!

К р о т о в. А что? Я голоден.

П о т ё м к и н а. Валера, ты что, ты издеваешься надо мной?

К р о т о в. В каком смысле?

П о т ё м к и н а. Всегда, всегда ты был не такой как надо!

К р о т о в. А какой надо?

П о т ё м к и н а. Валера, ты же таракана не убьешь — тебе жалко! Что ты сейчас рассказываешь, что за бред?

К р о т о в. Таракана жалко, да, таракан же беззащитен, ничего мне не сделал и ничего не сделает. Ну, бегают себе букашка, ну и что? Подло убивать тех, кто ответить не может. А с Фаиной Васильевной пришлось еще побороться. Живучая баба. Я же не силен в этом деле, я ей в грудь нож вроде как всадил — по самый рукоять, а она давай носиться. Руками махать, пинаться, кричать. Пришлось еще по голове стукнуть. Хорошо, там местность глухая, земля каменистая. Я камнем ее и пристукнул. Запачкался, правда, там в стиральной машине рубашка, отбелить надо будет.

Потёмкина выбегает из кухни, через некоторое время возвращается с окровавленной рубашкой в руках.

К р о т о в. Она самая. Я сам могу, если тебе неприятно, ты только скажи, где у нас отбеливатель.

Потёмкина. Валера, ты в своем уме?

Кротов. А что? Ты про освидетельствование узнала? Да, может, мне понадобится в итоге. Если тело найдут, можно признать меня невменяемым. Уж лучше в психушке, чем на зоне. Но в любом случае ты здесь совершенно ни при чем, вся квартира по праву переходит к тебе. В пособничестве тебя обвинить не смогут, это уж мы постараемся.

Потёмкина. Кто это — мы?

Кротов. Мы с Егором. Нас ведь всех допрашивать будут. О ссоре утренней упоминать, конечно, не надо. Все было как всегда. Позавтракали, разошлись по работам. А потом тетя Фая не вернулась домой. Завтра надо будет сходить, заявление написать. Не возьмут. По закону через три дня человек считается пропавшим, но пойти надо — подозрение отвести. Ты не волнуйся, я сам схожу. Вообще, все должно пройти нормально, никто никого никуда не посадит. Доказательств — ноль. Ни одна живая душа не знает, куда и с кем она сегодня ездила. Телефон я проверил — она ни с кем не созванивалась. Забрал я ее по дороге, не из дома. Стекла тонированные, правил не нарушал, внимания не привлекал. В общем, выгорело дело — все, как ты хотела!

Звонят в дверь.

Кротов. Ты чего не ешь-то? Это Егор пришел, ешь, я открою.

Кротов уходит. Оставшись одна, Потёмкина беспокойно прохаживается по кухне, открывает ящики стола, рассматривает ножи. Входят Кротов и Егор.

Кротов. Не верит мне мать твоя, шучу я, говорит. Вот и ножи достала, проверяет. Дурочка ты, разве зарежешь этим ножом кого? Тот нож — специальный, охотничий, купил по дороге.

Егор. Ты хоть очки темные надел, когда покупал?

Кротов. Я в таких делах, конечно, не смыслю ничего, как и вы, но зато читаю больше. Конечно, не надевал, это же только внимание привлекает. Убийцу никто не замечает тогда, когда он ничем себя не выделяет. Надо быть как можно более серым, повседневным, тогда никто никого не вспомнит. Пришлось переодеться немного, а то брюки, рубашка, конечно, не та одежда.

Потёмкина. Егор, ущипни меня.

Егор. Мама, это не сон. *(Щипает.)*

Потёмкина *(вскрикивает, дает ему подзатыльник)*. Мог бы не так сильно щипать, и без тебя вижу! Вы что, в сговоре?

Кротов. Конечно в сговоре! А хорошо это, по-твоему, обманывать сына?

Егор. Да все нормально, мам, я полностью за вас! *(Ест суп.)*

Потёмкина. За кого это — за нас? Я не имею к этой истории никакого отношения!

Егор. Конечно не имеешь, да я и предлагал отцу не говорить, это он настоял. Я-то ему объясняю, что у тебя натура тонкая, лирическая, ты можешь не понять всего этого.

Потёмкина. Чего «всего этого»?! Как это можно понять? Ты понимаешь, что ты говоришь?

Егор. Вот, я говорил — не поймет.

Кротов. Ничего, это первая реакция. Я когда подумал об этом, у меня тоже первая реакция была — сопротивление. У нас ведь барьер — мораль, приличия. Егор только сразу все принял, поражает меня наш сын, далеко пойдет.

Потёмкина. Я поняла, вы оба меня разыгрываете, да?

Кротов. Не верит.

Егор. Может, отвезти ее на место?

Кротов. Да, может, отвезти тебя на место? Сегодня только поздно уже, но можно попробовать.

Потёмкина. Какое место? Я никуда с тобой не поеду!

Кротов. Так и знал.

Потёмкина. Что?

Кротов. Одну проблему решил, теперь другая встала.

Потёмкина (с опасением). Какая это у тебя другая проблема встала?

Кротов. Утрата доверия. Вроде как, если я один раз кого-то убил, могу и другой раз это сделать. Убил тетку, могу убить и жену. Брось, Галка, я же вас пальцем никогда не трогал.

Егор. Да, папаня даже не порол никогда. Ты порола, а папаня не порол.

Потёмкина. Вот и выросло из тебя неизвестно что! Валера, в последний раз тебя прошу: скажи, что все это розыгрыш, шутка, тупая, идиотская, несмешная шутка!

Пауза.

Кротов. Да, Галка, ошибся я в тебе.

Потёмкина. В каком смысле?

Кротов. Думал, ты примешь все, думал, поймешь. Что ж мне теперь ее — оживлять? Кнопка «отмена» в жизни как-то не предусмотрена.

Потёмкина. Господи, что теперь будет?

Егор. А что, все отлично будет. Продадим квартиру.

Кротов. Зачем ее теперь продавать-то?

Егор. Как зачем продавать? А мне отдельную площадь? Что я, с новой семьей и с родителями жить буду?

Пауза.

Кротов (Потёмкиной). А что ты на меня смотришь, я сам впервые слышу.



Потёмкина. С какой такой новой семьей?

Егор. Ну, с женой. Дети, надеюсь, будут.

Потёмкина. Какие дети?

Егор. Девочка или мальчик. Я вот решить не могу, кто лучше. С пацаном вроде как выпить можно, посидеть, а девчонка зато потом все равно в дом пацана притащит, так и выпить и посидеть и девчонка есть. А двух детей — не знаю, не потяну, наверно.

Потёмкина. Дубина! Ты понимаешь, что ты говоришь? Что тут произошло? Пир на костях какой-то, сидят, рассуждают о квартирах, о детях!

Кротов. Расстраивается. А ведь я это все ради тебя. Мне-то за чем ее убивать? Она мне чуть не как мать была.

Егор. Да и ко мне она неплохо относилась. В полицию только раз позвонила в сердцах — умора! На собственного внука заявила! Шумит, говорит! А где он шумит? Да в соседней комнате шумит, спать не могу! Что он там, пьет, кричит, дерется? Да нет, разговаривает громко, приезжайте! До сих пор лицо дежурного мерещится, до коликов смешно!

Кротов. Вот и получается, Галка, что все это мы для тебя. Нам-то это и не надо особо.

Потёмкина. Ты это что, ты хочешь сказать, что я тебя подбила? Что я все это задумала, организовала?

Кротов. Нет, задумал и организовал я, ты себе эту заслугу не приписывай. Но движущей силой было твое желание. Сам бы я и не подумал никогда. Бывало, конечно, находила злоба — поколотить хотелось, но чтобы убивать! Это ты подсказала.

Потёмкина. Я ничего тебе такого не говорила!

Кротов. И правильно! Зачем о таком говорить? Слова уничтожают действие. Сказал — и уже вроде как сделал. Дело любит тишину. А большое дело — большую тишину. Как там у какого-то поэта, ты должна знать: молчи, скрывайся и таи и чувства и...

Потёмкина. Не смей!

Кротов. А что? Хорошее стихотворение.

Потёмкина. Тютчев не имеет к твоей психопатологии никакого отношения! Совсем уже докатился, боже мой, с кем я жила все это время! Кто эти люди, кто я?

Потёмкина уходит. Пауза.

Егор. Слушай, а не слишком ли мы переиграли? Может, уже сознаться?

Кротов. Сознаться? Теперь я уже сам не знаю, как сознаться! Еще ты со своей женитьбой! Выдумал черт знает что!

Егор. А у тебя прямо шикарная история! И между прочим, я не выдумал.

Кротов. Что?

Егор. А что? Мне уже двадцать, я уже могу!

Кротов. Была бы моя воля, я б законодательно утвердил, чтобы до двадцати пяти никто в браки вступать не мог.

Егор. Сам в двадцать два женился.

Кротов. Женился. Ты что, серьезно?

Егор. Да, более того, она скоро придет!

Кротов. Зачем?

Егор. Для устроения условий для будущей связи. Учить буду на скрипке пикивать!

Кротов. Ты ж сам смычок еле держишь.

Егор. Что это вы все преуменьшаете мои заслуги? Я в ансамбле играл! Подумаешь, год не прикасался. Надо найти, кстати, где она валяется. Слушай, давай завязывать с этим, а то правда — придет Люська, а мы тут бабку зарезали!

Кротов. Люська?

Егор. Ее так зовут.

Кротов. Так ты позвони, отмени, ты что, не видишь, какое дело? Даже если сознаемся, все равно она здесь не к месту.

Егор. Да что ты, это как-то неудобно совсем!

Кротов. А это все удобно?

Егор. Она же еще обидеться может! Совершенно не знаю, что с этими женскими обидами делать. И потом, что значит «даже если»? Бабёна-то все равно придет рано или поздно.

Кротов. Придет. Наверное.

Егор. Что еще за «наверное»?

Кротов. Да точно, точно придет! Нет, это все геомагнитная буря! Что я ей наговорил? Зачем? Она же совсем не такая!

Егор. Я сразу тебе говорил.

Кротов. Я был в каком-то маниакальном состоянии, воображал, что спасу ее.

Егор. Вот и спасай — сознавайся!

Кротов. Поздно уже, понимаешь, поздно! Упущен момент. Надо было тогда сознаваться, когда она умоляла. Теперь она уже сама верит.

Егор. Вот и обрадуется.

Кротов. Какой же ты простой!

Егор. А что такого?

Кротов. Да стыдно мне, как ты не поймешь? Как я теперь буду выглядеть? Вот уж действительно: «Врач, исцели себя!»

Егор. Тогда у тебя остается только один выход: зарезать бабёну по-настоящему. Зато перед матерью будешь честен.

Кротов. Уеду! Уеду на остров Врангеля! Пусть меня сожрет какой-нибудь белый медведь.

Егор. Ладно, скажу все сам.

Входит Потёмкина.

Потёмкина. Я все поняла.

Егор. Вот и хорошо. А то мы сами уже запутались.

Потёмкина. Я сама пойду в полицию. С повинной. Покажи мне, где зарыто... Где все произошло. Я тоже могла увезти ее на машине, могла там все сделать. Мне нужны подробности, чтобы все было правдоподобно.

Кротов. Ты что такое выдумала?

Потёмкина. Я уже вижу эти заголовки: «Муж аналитика по культуре убил свою тетю ради квартиры, в которой аналитик продолжает жить и писать статьи во славу культуры города». Лучше в тюрьму.

Кротов. Бог с тобой, Галка!

Потёмкина. Я уже позвонила в полицию.

Кротов. И что ты им сказала?

Потёмкина. Я спросила, сколько дают за убийство.

Егор. Мама, в Интернете все написано: сколько, кому и как этого можно избежать. Зачем звонить-то кому попало?

Потёмкина. Я привыкла пользоваться надежными источниками. Мне все объяснили.

Егор. Да? А адрес не спросили?

Потёмкина. Если с корыстной целью, то от восьми до двадцати, а то и пожизненно. У меня была корыстная цель.

Егор. Отлично, сейчас сюда еще и полиция прикатит. Поцеловался с девушкой!

Потёмкина. Но если не с корыстной — от шести до пятнадцати. В общем-то, совсем ведь не обязательно сознаваться до конца? Я же могла сделать это в состоянии аффекта. Поссорились, подрались даже, и вот...

Кротов. Галя, я не знаю, как тебе объяснить.

Потёмкина. Объясни мне, где находится магазин.

Кротов. Какой магазин?

Потёмкина. Где ты купил нож.

Егор. Никакого ножа он не покупал! Мама, давай ты позвонишь сейчас в полицию и все отменишь, скажешь, что у тебя с головой не в порядке. Еще надо нервным смехом таким засмеяться: ха-ха-ха! Нет, тогда точно приедут.

Кротов. Галочка, ты пойми...

Потёмкина. Да я все понимаю, Валера, все теперь понимаю! В тихом омуте черти водятся — теперь я понимаю, о чем это. Молчаливые люди — самые страшные. Болтуны хоть и трещат так, что голова болит, но они свои желания проговорили и освободились, а Раскольников пошел и молча убил старушку.

Кротов. Не убивал я никого, Галя, я это выдумал!

Егор. Присочинил. Папаня же наш фантазер.

Кротов. Я хотел, чтобы ты очнулась.

Егор. Встряхнуть тебя хотел. Чтоб не скучно было.



К р о т о в. Не перевирай мои слова!

Е г о р. Я перевожу. Видишь, она в шоке.

П о т ё м к и н а. Я не в шоке. Я вполне в здравом уме. Хорошо, если ты ее не убивал, если ты все это выдумал, хотя я уже не знаю, что хуже, — где доказательства?

Е г о р (К р о т о в у). Бабёна где?

К р о т о в. Да боже мой, придет скоро! Ну вот давай я ей позвоню! (Достает мобильный, набирает номер.) Только не рассказывай ей всего этого, я не знаю, как она отреагирует. Пойми, я просто хотел...

Е г о р. Тс-с!

Все прислушиваются. Где-то в отдалении еле слышен звук рингтона.

Е г о р. Продолжай звонить!

Егор выходит, через некоторое время рингтон становится все слышнее и слышнее. Егор возвращается с телефоном в руках. Сбрасывает вызов.

Е г о р. А на нем кровь.

КАРТИНА ТРЕТЬЯ. ВЕЧЕР. ПРОДОЛЖЕНИЕ.

Т е ж е после паузы.

К р о т о в (забирает телефон у Егора). Откуда тут кровь?.. Галка...

Е г о р (Потёмкиной). Он мне сказал, что это будет что-то вроде шутки. Позвонил, попросил подыграть.

П о т ё м к и н а. Во сколько он тебе позвонил?

Е г о р. В двенадцать где-то. Нет, около часу.

П о т ё м к и н а (К р о т о в у). Откуда кровь на рубашке?

К р о т о в. Мяса купил, испачкал для убедительности.

П о т ё м к и н а. Покажи.

К р о т о в. Что?

П о т ё м к и н а. Мясо покажи!

К р о т о в. Так выбросил. Чтоб ты не догадалась.

П о т ё м к и н а. Доставай... Ведро доставай!

К р о т о в. Так я в мусоропровод выбросил. Чтобы уж точно...

П о т ё м к и н а. Что ты делал после обеда?

К р о т о в. У меня не было обеда, я же тебе говорил.

П о т ё м к и н а. То есть ты ничего не ел?

К р о т о в. И не пил.

П о т ё м к и н а. А головокружения не было?

К р о т о в. О чем ты, я не понимаю?! (Егору.) Тети Фаи точно нет? Может, она спит?

Е г о р. Он в комнате лежал, на полу рядом с диваном. Там еще капли — на диване, на полу.



Кротов. Ну, это совсем ерунда какая-то. Вы сами подумайте, даже если я что-то сделал, зачем бросать в ее комнате ее телефон, да еще в крови?

Потёмкина. Бывают такие состояния, Валера, в которых человек не помнит, что делает. У Чикатило, говорят, были такие состояния.

Кротов. Да она спряталась там в шкафу! Я, когда пришел, увидел, что обуви нет, и не проверял, а она, может, в комнате, подслушала и спряталась, чтобы разыграть! (Уходит.)

Потёмкина. Егор, расскажи мне подробно, когда он звонил, в каком он был состоянии? Запинался? Был возбужден? Говорил что-нибудь бессвязное?

Егор. А когда он говорит что-нибудь связанное? Как обычно, запинался, сначала про китов, которые выбрасываются на берег.

Потёмкина. Каких еще китов?

Егор. Самоубийц. Есть у китов такая причуда, оказывается, я не знаю, зачем он это говорил. Потом мы как-то плавно перешли к теме убийства, выдуманного убийства. Он просил подыграть, сказал, что тебе это поможет.

Потёмкина. Чем это мне поможет?

Егор. В себя прийти. А то ты совсем стала жабой.

Потёмкина. Так и сказал?

Егор. Была принцессой, стала жабой. Так и сказал.

Потёмкина. А ты как все это слушал?

Егор. Как обычно, со всем соглашался.

Потёмкина. Мать оскорбляют, а он слова поперек не скажет! Выросло дерево!

Егор. А зачем? Поговорит-поговорит, да и перестанет. Зачем зря нервы тратить? И потом, это ж отец, не кто-нибудь.

Потёмкина. А если отец меня резать начнет?

Егор. Что ты нагнетаешь? Не режет же.

Потёмкина. А баба Фая — это что?

Егор. Еще не доказано. Тела-то нет.

Входит Кротов.

Кротов. Тела нет. Ни живого, ни мертвого.

Потёмкина. Ты же сказал, что зарыл на кладбище.

Кротов. Я же все это выдумал, Галя, как это ты не поймешь! Я просто все сочинил! Конечно, чтобы выглядело правдоподобно, я хорошо продумал всю эту историю. Даже по минутам расписал — сколько времени надо затратить на дорогу, сколько на само дело.

Потёмкина. Дело?

Кротов. Я просто сидел и фантазировал. Меня даже коллега одернул, что я сижу, смотрю в монитор и не двигаюсь. Он думал, я заснул. Но мне нужно было хорошенько все обдумать, расписать каждый шаг, каждое движение, поэтому я и ушел с работы пораньше.

Пауза.



Егор. Ладно, мама, может, ты и права.

Кротов. Я хотел, чтобы ты мне поверила и, поверив, ужаснулась. Так ведь нельзя, Галка, так нельзя жить! Я не могу каждый день придумывать новый уголок планеты, куда мне сбежать от вас! Когда-нибудь они все равно закончатся!

Потёмкина. А я не могу постоянно разговаривать с тобой по международной связи! Принцесса у него превратилась в жабу! Ты, что ли, принц? Если принц, где твой дворец? Где хотя бы корона?

Егор. Родители, родители, вы отвлеклись. Давайте уже скорее найдем тело и что-то решим, время уходит!

Потёмкина. Твой сын — остолоп! Какое тело? Как ты говоришь о бедной старушке?

Егор. Ладно, ладно, бабёну найдем. Где ты ее закопал? То есть придумал, что закопал. Ты же все хорошо обдумывал. Давайте вы просто съездите туда и проверите. Ну, просто так, чтобы исключить эту версию. Приедете, посмотрите, что ничего нет, развернетесь и поедете обратно.

Потёмкина. А почему мы? Я никуда с ним не поеду.

Егор. Ну, меня же ты не отпустишь?

Потёмкина. Конечно нет!

Егор. Вот я и говорю: тебе надо. А одному ему никак нельзя. Вдруг он еще чего-нибудь нафантазирует?

Кротов. Подождите! Кажется, я понял...

Пауза.

Кротов. Однажды у меня уже было такое. Я так увлекся фантазией, что еду в Камбоджу, что очнулся только в аэропорту.

Потёмкина. Когда это?

Кротов. Я не рассказывал. С год назад.

Потёмкина. Это не когда ты должен был забрать меня из гостей и не приехал? Сколько стыда было.

Егор. Мама, мы это уже давно обсудили, и не один раз.

Потёмкина. Да, но тогда он говорил, что у него случилось внезапное совещание.

Кротов. Не тот это был раз, другой! У меня все смешалось, я уже ничего не понимаю. Все какими-то обрывками. То ли я спал, то ли фантазировал, то ли вправду я все это сделал...

Потёмкина. А ведь ты в последнее время был немного не в себе.

Кротов. Разве?

Потёмкина. Да, вот недавно с концерта возвращались и ты вдруг предложил выйти на две остановки раньше, прогуляться, а по дороге даже сорвал цветок с газона и вручил его мне. Я тогда еще подумала, к чему бы это? Совершенно ведь ненормальное поведение.

Кротов. Нет, подожди, это я помню. У меня был порыв.

Потёмкина. Вот и сейчас у тебя был порыв, а что из этого вышло? Порывы нужно уметь контролировать, с порывами не всякий может



жить. А ты же себя контролировать не умеешь, тебе всегда нужна была внешняя опека, указатель, что можно делать, а что нельзя, куда идти, а где остановиться. Это все влияние твоей тетушки на тебя в детстве, вот до чего оно довело! Она все поощряла, что бы ты ни сделал — доброе или худое. В итоге ты так и не смог понять, что хорошо, а что плохо, ты остался дезориентирован. Несчастная сама вырыла себе могилу!

Егор. Мама, сейчас не время для сеансов психоанализа, ты мешаешь ему вспоминать. Во сколько ты ушел с работы?

Кротов. В три. В три — это абсолютно точно. В офисе висят большие часы, взгляд постоянно на них падает. Иногда это так нервирует. Стрелки действуют как гипнотические круги, невозможно работать, невозможно сосредоточиться — сидишь и смотришь как дурак, как двигается палка по кругу.

Потёмкина. Господи, стрелки его нервируют! А ничего, что у тебя под боком твою жену постоянно пинают?

Кротов. Но она же отвечает.

Потёмкина. А кому за нее ответить?

Егор. Родители!

Кротов. Тете Фae нужно было только твое участие!

Потёмкина. Повиновение! Ей было нужно, чтобы все было так, как ей нужно! Пятнадцать лет ты работаешь на одном месте и хоть бы на кресло приблизился к столу главного бухгалтера — нет! Потому что тете Фae этого не нужно! Сама всю жизнь за одним столом и другим двигаться не дает. Пусть все будут на своих местах — и того довольно! И Егора таким же сделала! Двадцать лет, а стремлений никаких.

Егор. Гитлер вон стремился, а что из этого вышло?

Потёмкина. Попугай! Наслушался бабку. Я в двадцать лет хотела мир перевернуть!

Егор. Глядя вокруг, мне кажется, тебе вполне это удалось.

Потёмкина. Физкультурник!

Кротов. В таких обстоятельствах она обсуждает наши профессии! Успокойся, я прекрасно помню своего физрука, отличный был мужик. И лучше оставаться хорошим рядовым бухгалтером, чем стать черт его знает чем.

Потёмкина. Ты не знаешь, кем бы стал, ты не проверял.

Кротов. Я не умею командовать, не умею давать распоряжения, не хочу этого делать. У меня нет амбиций, зачем с такими данными что-то пробовать?

Потёмкина. У тебя нет амбиций, потому что твоя тетя подавила их в тебе.

Кротов. И поэтому ее нужно было убить?

Потёмкина. Я такого не говорила!

Кротов. Не говорила. Бородавка!

Потёмкина. Да сам ты прыщ!

Кротов. Я пошел в парк, сел на лавочку и стал придумывать. Я должен был сесть на эту чертову лавочку! Все как-то сбивается в этом

месте. Магазин с ножами, продавец. У него на щеке бородавка. Зачем, если ты сочинишь, сочинять еще и бородавку, что за глупость? Если была бородавка, может, все это было на самом деле?

Егор. Или ты, папаня, совсем у нас того. Я за второе.

Кротов. Я забрал ее на перекрестке у ЦУМа. Я так придумывал, что заберу ее там, мне было выгодно так придумывать, а не то, что я захал домой. Дома могли бы видеть соседи. А она скорее попросила бы захал, конечно. Но почему мне так красочно видится дорога, руль, солнце на капоте? Даже как будто я слышу, как она рассказывает про отца. Она всегда про него рассказывает, когда мы ездим на кладбище. Боже, как у меня все перемешалось! Она в своем платке, прядка волос видна, лицо грустное. Она любила отца. Она была в своей старой зеленой куртке!

Потёмкина. Ужасная куртка.

Кротов. Этой куртки нет на месте. Когда я рылся сейчас в шкафу, ее не было. Какой кошмар!

Звонят в дверь.

Егор. Это ко мне. (*Уходит.*)

Потёмкина. Гостей нам только не хватало!

Кротов. Что же делать, Галка? Она же была мне как мать, она всегда помогала, поддерживала.

Потёмкина. Да уж, просто всю себя жертвовала!

Кротов. Приносила бульоны, когда я лежал после аппендицита. Ты не приносила, а она — каждое утро, свежий.

Потёмкина. У меня была работа!

Кротов. У нее тоже!

Потёмкина. Да ты же сам говорил, что тебе ничего не надо!

Кротов. Говорил. И операцию твою она оплатила!

Потёмкина. Как же это? А твой отец?

Кротов. Она! Да еще просила не рассказывать, чтобы ты не расстраивалась. И ни словом не помянула с тех пор! Пять лет прошло, ни разу не вспомнила. Даже когда ты стала называть ее чернокнижницей.

Потёмкина. Ну, это, знаешь... Раньше сказать надо было...

Входят Егор с Люсей.

Егор. Вот, это Люся. А вот Галина Петровна, Валерий...

Кротов (*перебивает*). А я Люсечку знаю! Здравствуй, Люся!

Люся. Здравствуйте, Валерий!

Потёмкина. И откуда?

Кротов. Дочь сотрудницы, к матери часто приходит.

Потёмкина. И зачем?

Кротов. Зачем дочери приходят к матерям на работу? Распечатать что-нибудь, пообедать. У нее же институт рядом. Проходи, Люсенька, чаю будешь?

Потёмкина. А что это ты фамильярничаешь? У нас приличный дом. Людмила, как вас по бабушке?

Люся. Павловна.

Потёмкина. Людмила Павловна, вам черного чаю или вы сразу в комнату пройдете?

Кротов. Что, уже и гостей по-человечески принять нельзя, труп же в холодильнике нет?

Люся. Я, в общем-то, ненадолго...

Егор. А скрипка-то у меня в комнате. Так что мы лучше в комнату пойдем, Люся только из дома, чаю совсем не хочет.

Егор и Люся уходят.

Потёмкина. И часто она у вас бывает?

Кротов. Да в месяц раз, может, забежит.

Потёмкина. Люсечка?

Кротов. Ее в бухгалтерии все так называют. Что же он, правда будет ее учить?

Потёмкина. Чему учить?

Кротов. На скрипке играть. Он же на ней жениться собрался.

Потёмкина. Меня уже ничего не удивляет!

Кротов. Галка... Я не хочу в тюрьму!

Потёмкина. А кто хочет?

Кротов. Ты.

Потёмкина. Что?

Кротов. Ты же сказала, что пойдешь вместо меня.

Потёмкина. Ты что?

Кротов. Женская тюрьма легче мужской.

Потёмкина. Совсем крыша поехала.

Кротов. Время будет. Никаких бытовых забот. Сиди и пиши свой роман!

Потёмкина. Оригинал!

Кротов. Никто не будет тебя отвлекать, мы даже можем навещать пореже.

Потёмкина. Нет, ты не Раскольников, ты Смердяков! Дитя греха!

Кротов. Ты же сама предлагала полчаса назад.

Потёмкина. Полчаса назад я еще думала, что все это розыгрыш, и разыгрывала тебя!

Кротов. Значит, ты так ничего и не поняла...

Потёмкина. А что я должна была понять? Что я гидра? Мегера? А ты герой на коне, зарубивший собственную тетю?

Кротов. Так бы хоть было оправдание, а теперь совершенно все напрасно.

Потёмкина. Милый мой, даже священник мне как-то в интервью говорил: не надо никого спасать! В первую, вторую и третью очередь спасай свою личную шкуру! То есть душу. Обаятельный очень священ-



ник. Нет, слушай, ты правда в это поверил? Глупость какая — пойти с повинной! Если все так, как ты описываешь, то никаких проблем возникнуть не должно. То есть они, конечно, возникнут, но зачем кому-то куда-то садиться из-за этого? Ты, сам говоришь, не хочешь, а я вообще тут при чем? Я сама — жертва. Как мне теперь писать? «В наше время, когда человек забыл самые главные ценности — ценность человеческой жизни, ценность любви, понятия честь и нравственность идут ко дну с привязанными на шею камнями...» Господи, у меня теперь из каждого слова голова твоей тети будет выныривать! Но ничего, ничего. Разве мы пальцем деланные? Выдержим, перебором. Как указывал Сартр — мы сами себе чувство вины. Мы сами себя осуждаем, сами назначаем себе наказание. Если все уже так случилось и сделать ничего нельзя — кнопка «отмена» в жизни не предусмотрена — то я вижу только один выход из положения — пренебречь.

К р о т о в. Чем пренебречь?

П о т ё м к и н а. Чувством вины. Нужно взять себя в руки, Валера! Зачем нам все эти проблемы, ради чего? Сделанного не изменишь, но ведь ты даже не по своей воле действовал!

К р о т о в. А по чьей?

П о т ё м к и н а. Наваждения! Наваждения, к которому ты склонен — это, кстати, надо взять на заметку и полечить тебя, это все-таки не годится, я не хочу однажды проснуться с перерезанным горлом. Тем более вторая воля, которая на тебя воздействовала, надо признать это, мы же честные люди, вторая воля была моей. Поэтому лечить тебя надо как можно скорее, вдруг у тебя возникнет фантазия уничтожить источник своего преступления.

К р о т о в. Какой еще источник? Что ты вообще сейчас говоришь?

П о т ё м к и н а. Я говорю о том, о чем очень трудно говорить. Не каждый сможет в таком признаться, Валера, хотя, наверно, каждый второй об этом думает. Но я не могу, мне профессия не позволяет, все, что я пишу, мне не позволяет! Да! Да, иногда, в приступах меланхолии и во времена острого обострения отношений с твоей тетей, у меня возникали такие мысли, как бы это сказать, мысли о том, что она уже человек немолодой. Да старуха она, что тут говорить! Типичная старуха! Огород, тележка, все эти платочки на голове, шаль чудовищная, зеленая куртка, которую носил ее отец... Боже мой, столько лет хранить куртку папаши — фетишизм какой-то! Конечно, я задумывалась о ее возрасте. Средняя продолжительность жизни женщин в России — семьдесят пять, ей — шестьдесят восемь, остается семь лет. Кошмар, семь лет жизни! Вот я и подумывала: если сложилась такая ситуация, если всем, в общем-то, уже очень надо, разве нельзя немного поторопиться? Упасть где-нибудь неудачно или съесть уже что-нибудь не то?

К р о т о в. Почему я очнулся в аэропорту, а не в самолете? Возвращаться было бы уже не на что.

П о т ё м к и н а. Конечно, все это ужасно, и я даже не жду, что ты спокойно будешь сидеть и слушать, хотя в свете случившегося мог бы и

помолчать. Валера, я сопротивлялась этим мыслям! Никогда, даже во сне, я не позволяла себе отдаваться этим фантазиям. Но теперь я понимаю, что есть вещи сильнее нас. Какие-то сверхъестественные вещи. Ты, такой малахольный, такой робкий, любивший, несмотря ни на что, какой-то телячьей любовью эту Бастинду, ты просто не мог такого совершить! Тебе бы в голову никогда не пришло, если бы... если бы... если бы не эта несчастная, трагическая любовь ко мне...

К р о т о в. Да?

П о т ё м к и н а. Я что-нибудь не так сказала?

К р о т о в. Нет, я просто пытаюсь понять...

П о т ё м к и н а. Почему говорят: будут двое одной плотью, два сапога — одна пара, муж и жена — одна... В общем, я хочу сказать, что любовь объединяет людей, настраивает друг на друга, так что они начинают улавливать какие-то скрытые вещи, становятся немного телепатами, зачастую даже не осознавая этого. А поскольку во мне иногда появлялись эти крамольные мысли, хотя я с ними и боролась, но все равно — ты их уловил, и вот тут, вот тут сыграла свою роль твоя малахольность. Валера! Только такому человеку, как ты, могла прийти в голову мысль — убить кощей, чтобы жаба превратилась в принцессу!

К р о т о в. Значит, все-таки жаба?

П о т ё м к и н а. Это тетя твоя — жаба!

К р о т о в. А, так, значит, кощей все-таки ты? Я просто перепутал цель.

П о т ё м к и н а. Валера, на сегодняшний день шуток достаточно!

К р о т о в. Как видишь, у меня плохо с чувством юмора. Вероятно, это все из-за малахольности.

П о т ё м к и н а. Послушай, мне тоже тяжело. Я тоже не знаю, как теперь с этим жить, но жить же как-то надо! Нет, давай сядем и будем реветь, давай пойдем в полицию с повинной в коллективном сговоре! Это все можно было бы сделать, но это все малодушие, Валера! Неспособность взять себя в руки, самому отвечать за свои поступки, вечное желание, чтобы кто-то со стороны наказал, похвалил, дал оценку. На самом деле, загляни в себя, на самом деле не хочешь ли ты скрыться от своей совести — вот-де пойду сознаюсь, только отстань от меня, только не грызи!

К р о т о в. Да, можно и так все перевернуть.

П о т ё м к и н а. Не перевернуть, а развернуть. Ты не пытаешься вдуматься, ищешь легких, очевидных путей. Пойти сдаться, пойти покаяться, а как же мы? Я не говорю о себе, ладно, но как Егор? Как ему после этого жить? С каким клеймом? Ведь люди не скажут, что это сын человека, который раскаялся, люди скажут, что это сын убийцы! Об этом ты не подумал?

К р о т о в. Кажется, у меня сейчас рассыплется голова.

П о т ё м к и н а. Возьми свою голову в руки, Валера, пренебреги своей головой, своим смятением, своими сомнениями. Пренебреги собой ради сына!



Потёмкина. Ванесса Мэй к двадцати годам уже имела всемирную славу, да еще успевала на лыжах кататься!

Кротов (*подхватывает, в том же тоне*). А Харламов уже играл за сборную ЦСКА.

Потёмкина. Именно!

Кротов. Хватит! Я не могу больше это слушать! (*Уходит.*)

Потёмкина. Валера! Валера, что ты собираешься делать? (*Уходит вслед за ним.*)

КАРТИНА ЧЕТВЕРТАЯ. ЛЮСЯ

Тихий августовский вечер. Золотые лучи закатного солнца освещают кухонную утварь. На кухне Егор и Люся. Егор разливает чай.

Люся. У тебя очень заботливый папа.

Егор. Да, он очень.

Люся. А у меня отчим, когда я с друзьями на кухне, заходит и говорит: «Сколько можно?» Сразу, понимаешь, «сколько можно»? Даже если мы только зашли. Не терпит, чтобы на кухне кто-то был, постоянно что-нибудь ест ходит, а люди его раздражают.

Егор. Тяжело.

Люся. Я друзей редко домой вожу. Потом еще ведь выговаривает мне, когда все уйдут. Выговаривает, что я живу за его счет, да еще нервы ему мотаю. Что могла бы вести себя потише. А я и так стараюсь редко дома бывать. И приходиться попозже. Но это его тоже раздражает, потому что он просыпается от звука двери. Смазал бы ее — и не было бы звука, что я могу поделаться? Я же девочка, я не умею смазывать двери.

Егор. Давай я смажу.

Люся. Ты что! Он же, если узнает такое, он меня зарежет! Или тебя. Он терпеть не может, когда кто-то прикасается к его вещам. Ну а дверь — это тоже вроде как его вещь. Он, если узнает, зарежет обоих!

Егор. И почему им всем надо именно резать?

Люся. Что ты имеешь в виду?

Егор. Я бы, если бы убивал — душил, а то ведь режешь, кровь идет — пачкаешься.

Люся. А еще можно топить или электрическим током. Слушай, интересная тема, почему-то я никогда об этих вещах не задумывалась.

Егор. А мать твоя как с отчимом?

Люся. А мать что? Она тоже за его счет живет. Мы все за его счет. И учусь я за его счет, так что терпеть приходится. Так-то он ничего, только кричит да страшает. Иногда с ним поговорить можно. О политике. Он только о политике разговаривает. И то, надо сидеть и слушать, а то скажешь что-нибудь, что-нибудь не то — тогда всё. Все мы страну развалили, ничего нам не надо. А я как могла страну развалить? Меня еще

и в проекте не было, я даже мыслями ее развалить не могла, потому что нечем было думать. А у тебя, наверно, мать как мой отец, да? Я сразу поняла, по взгляду — очень ей не понравилось, что ты меня сюда завел. Она, наверно, поесть хотела спокойно. Нет, я это понимаю все, мой дом — моя крепость. Я, может быть, тоже гостей гонять буду, когда в свой дом перееду. А папа у тебя заботливый, как моя мама. Идите, говорит, попейте чаю, а мы в комнате посидим. Фантастически. Только я бы еще бутерброд съела, да ты ведь не предложил, а просить как-то неудобно.

Егор. Что ты! Конечно! Супа, может? Я просто не подумал, Люся, прости.

Люся. Ничего, ничего.

Егор. Это я просто растерялся... Так супа? Колбасы?

Люся. И хлеба можно.

Егор (*угощает ее*). Ты не стесняйся, почувствуй себя как у себя. То есть как будто это твой дом. У нас тут всё по-простому на самом деле. Никто никого не гоняет. То есть были гонения, но теперь, вероятно, больше не будет.

Люся. Революцию устроили?

Егор. Можно и так сказать.

Люся. Я голодная очень, прости, пожалуйста. Дома-то я не была, а деньги экономлю. Которые на карманные расходы дают, я экономлю. Много всего охота, а больше просить, чем дают, — неохота унижаться, я ведь гордая, я ужасно гордая. А можно сметаны? Пусть сидит себе с деньгами на кухне. Прямо хоть пусть ест их, я лучше потерплю. Тем более в гостях обычно всегда поесть предлагают. Нет, я к тебе не за этим пришла, ты не подумай, я правда хочу на скрипке поучиться. Мечта всегда была. С детства. Но отчиму не нравилась эта идея. Это ж я бы ему по голове пиликала — так он объяснял. Репетировала бы дома, а он почему должен все это слушать? А у тебя, видишь, какие родители — слушали. Вы втроем тут живете?

Егор. Да, в общем, нет, то есть уже, возможно, да...

Люся. Большая квартира. У нас вот тесновато. У нас кухня в три раза меньше, наверно. Может, поэтому отчиму не нравится, когда кто-то в ней сидит. А что, кто-то съезжает от вас?

Егор. Не совсем. Не уверен.

Люся. Раньше ты все какие-то странные вещи рассказывал. Про хоккеистов своих, Флисова, Хамова.

Егор. Фирсова и Харламова?

Люся. Ну да. А теперь и это перестал. Ты по жизни молчун, да?

Егор. А это важно?

Люся. А что делать, если не разговаривать? Мне вот бабушка всегда говорила: самое важное, чтобы людям было о чем поговорить. Чтобы им было интересно говорить друг с другом, а так сидеть, zenки паять. Ну и чего? Язык тогда зачем даден? Жевать им, что ли? Спасибо, очень, очень вкусно. Сразу видно, мама готовила.



Егор. Вообще-то бабёна. Бабка моя.

Люся. Так вы с бабушкой живете?

Егор. Да нет, бабушку папаня зарезал... То есть я хотел сказать... Ну олух! Слушай, Люся, не знаю, как тебе объяснить... Понимаешь, какое дело вышло. Кажется, мой отец убил собственную тетку, то есть мою бабу. Да ты не переживай, у них были давние терки. Точнее, не у него, а у матери, то есть у моей матери с его тетей. Ну а он убил, потому что любит мою мать. Хотя тетю он вроде тоже любил. Но, видишь, любовь к жене затмевает любые другие. Я, кстати, тоже так буду.

Люся. Убьешь свою тетю?

Егор. Жену свою любить буду!

Люся. А-а... А это, значит, был предсмертный бабушкин суп?

Егор. Люся, прости! Не к месту я, конечно... Нечаянно получилось! Сорвалось как-то само собой. Просто я чувствую к тебе такое особое расположение... Когда можно рассказывать не только о Харламове.

Люся. И что же теперь с вами будет?

Егор. Вероятно, комната освободится. Можно будет наконец продать эту квартиру и купить две отдельные. То есть в итоге у меня будет своя жилплощадь. В общем, я хотел сказать, что очень жаль бабу Фаю, да и отца жаль, сядет теперь. Или отмажем. Если не признаваться, ее и не найдет никто: отец далеко зарыл, на одном старом кладбище, а мы единственные, кто об этом знает. Что-то у тебя с глазами стало.

Люся. Что с глазами?

Егор. Да выросли как-то вдруг. Обычно такие, поменьше.

Люся. Это я пытаюсь представить. Когда я пытаюсь что-то представить, у меня всегда выкатываются глаза. Здорово, наверно, испачкался твой папаня.

Егор. Я тоже под впечатлением до сих пор. Вот живешь так, живешь, и раз, твой отец кого-то убил, да не кого-то, а свою тетку. Мама рассказывала, что ее бабка собственного мужа застрелила, нечаянно правда, оба пьяные были. А вдруг это гены? Или нет, отец-то мой с бабкой матери не связаны никак. Нет, не гены, фуф, можешь не волноваться.

Люся. А чего мне вдруг волноваться?

Егор. Ну так. Вдруг ты разволновалась?

Люся. Нет, я совершенно спокойна. Я даже весела. (Смеется.)

Егор. Слушай, ты, наверно, испугалась, да?

Люся. Чего это?

Егор. Вот я остолоп, точно! Ты не бойся. Ну, убил мой отец бабу, так-то он таракана не обидит. Это все случайно вышло.

Люся. Рубил дрова, а она под руку подлезла?

Егор. Понимаешь, папаня мой — фантазер. Он выдумал себе, что убил свою тетку, чтобы спасти свою жену, то есть мою мать. Чтобы она обратно стала, как прежде.

Люся. А какой она была прежде?

Егор. Принцессой.

Лю с я. А сейчас кто?

Е г о р. А сейчас что-то вроде постаревшей принцессы...

Лю с я. Он хотел из тетиной крови жене эликсир вечной молодости сварить?

Е г о р. Я смотрю, у тебя тоже с фантазией все в порядке... Помирить он их хотел, ссорятся они постоянно. И чего им не живется? Я бы так и не думал ни о какой квартире, мне семья не мешает, но моей жене мешать будет, это я вижу. Вот сегодня я ключи искал все утро, так и не нашел: бабёна убрала. А все только потому, что в ключницу не вешаю. И ключница-то эта, смешно сказать — месяц назад на блошином рынке купила рухлядь какую-то, ностальгия у нее, и теперь все должны пользоваться. Причуды у бабёны. Ну, мне-то что, я терпеливый, к тому же бабёна — женщина, что с них взять? Я не сержусь даже. А мать от всех этих причуд с ума сходит: кричит, ругается, разъехаться хочет. Да и претензий у бабёны к матери больше, чем ко мне. Было то есть больше. Я, знаешь, даже свою причастность чувствую. Я же вроде как соучастник, понимаешь?

Лю с я. Не понимаю.

Е г о р. Если бы я не согласился на эту шутку, может, отец и не стал бы дальше воображать и не увлекся бы так. Но он очень просил. Отец, в общем-то, почти никогда ничего не просит. Никогда меня не ругает. Скрипкой не заставлял заниматься, это же материнское желание. А я ее терпеть не мог. Все ребята на горке, а я пилю, как идиот. Да и хоккею это мешало, так что в итоге — ни скрипач, ни хоккеист. Только и пригодилось для того, чтобы тебя в гости позвать.

Лю с я. Теперь еще больше не понимаю.

Е г о р. Ну как я мог ему отказать, Люся? Я согласился подыграть! Папаня скажет, что тюкнул бабу Фаю, мама расстроится и осознает, как она была к ней несправедлива, а дальше окажется, что мы пошутили, и все будут жить в мире и покое. Согласись, бред? И если бы я сразу настоял на своем, сказал бы твердо, что ни в чем таком участвовать не буду, то, может, всего этого не случилось бы. Как ты думаешь?

Лю с я. Совершенно ничего не понимаю. Это все-таки выдумка или на самом деле?

Е г о р. Отец думал, что фантазирует, а в это время убивал на самом деле. Воображение — страшная вещь, оказывается. Хорошо, что у меня с ним проблемы.

Лю с я. Да, у тебя проблемы. Значит, Валерий хотел спасти жену...

Е г о р. Хотел как лучше. Так что ты не переживай, свекор у тебя, в общем-то, мужик добрый.

Лю с я. Свекор?

Е г о р. Как-то ты на меня так действуешь, что я начинаю говорить то, чего не собирался.

Лю с я. А я на многих так действую: я болтливая — и другие заражаются.

Егор. В общем, ты знаешь, я бы на тебе женился.

Люся. Вот это я поучилась на скрипочке играть.

Егор. Все это совершенно не к месту, я понимаю, но раз уж сказал «а»...

Люся. Надо хорошо подумать, прежде чем говорить «б».

Егор. Я думаю уже два месяца.

Люся. Надо же, не замечала...

Егор. Люся, я человек простой, мне все эти цветы, конфеты, ухаживания — непонятны.

Люся. А это я заметила.

Егор. Да и ты тоже простая, чего нам тут разводиться?

Люся. Я же некрасивая совсем, да и ты учишься на факультете физкультуры.

Егор. А при чем тут мой факультет?

Люся. Сказалось вдруг. От внезапности. А что так рано? Разве в двадцать лет женятся?

Егор. Да как-то... Хочется уже.

Звонит мобильный Егора.

Люся. Ты ответь, ответь. Вдруг это из полиции?

Егор. Блин. По работе, надо ответить. (*Отвечает.*) Да! А что такое? А что случилось? Ну, я сейчас. Почти. Минутку. Сейчас, до компа дойду. (*Люсе.*) Прости, я только пять минут! (*Уходит.*)

Люся (*передразнивая*). «Я бы на тебе женился!» А я бы съела еще кусок этой колбасы! (*Отрезает колбасу, ест.*) Охламон!

Входит Кротов.

Люся. А Егор на вас совсем не похож.

Кротов. Разве?

Люся. Говорить не умеет, и желания какие-то... обыденные.

Кротов. Это, знаешь, не главное, Люсенька...

Люся. А он мне рассказал.

Кротов. Трепач.

Люся. Он нечаянно. Проболтался. Это я его заговорила, он и проболтался. Он, наверно, стесняется со мной, поэтому говорит первое, что в голову приходит, а в голове у него сейчас только одно. А я вас не осуждаю.

Кротов. Что же это такое, и ты туда же!

Люся. Куда туда же?

Кротов. Нельзя, нельзя не осуждать! Меня надо расстрелять, сжечь, повесить!

Люся. Что вы, у нас же смертная казнь отменена!

Кротов. Так вот и не знаешь, что хуже. Я не выдержу, Люся, я хилый, малодушный бухгалтер. Я ведь не пойду с повинной, я останусь здесь. Сначала тяжело будет, совесть будет грызть, а потом успокоюсь.

Жена перестанет скандалить, все станет тихо, даже хорошо. Все станет совершенно спокойно, как я всегда и хотел! Не осуждаешь! Теперь еще больше должна осуждать!

Люся. А я не поэтому не осуждаю. Просто ведь, понимаете, вы только не говорите никому, вы же не скажете, да? Я ведь часто-часто много-много разных страшных смертей представляла. Для отчима своего. И даже не страшных. Пусть он, думаю, ляжет, уснет, тихо так, спокойно, не тревожа никого и сам не переживая, раз — и на тот свет приберется. Вот я засну с такими мечтами, мне даже засыпать легче, а на следующий день он мне денег дает. На, говорит, на проезд, на питание, на духи свои ужасные. А я беру! А почему не взять? Да и он раскричаться может. А как бы было, если бы мои мечты эти вдруг сбылись? Просыпаюсь, а в соседней комнате под одеялом трупик лежит. Вот ведь взаправду-то я не думала об этом никогда. Взаправду мы ничего такого не хотим, да? Или хотим? Не дай бог узнать, чего я там взаправду хочу. Поэтому я вас не осуждаю, Валера. Хотя, конечно, фантастически все это. Вот уж никогда бы не подумала. Добрый вы такой, интересный, столько рассказываете всегда про эти ваши места экзотические. Мальчишки только про своих Рахмановых, а вы вот про Сарагосские острова.

К р о т о в. Галапагосские... Люся, ты знаешь, а я ведь совсем этого не хотел. У меня никогда не было таких мыслей — «вот если бы с тетей Фаей что-то случилось». Никогда в жизни!

Люся. Знаю, знаю, вы хотели, чтобы ваша жена стала как прежде.

К р о т о в. Болтун-то какой! Люсенька, да я сам не знаю, чего я хотел! Как-то мне пришла в голову такая шутка: иногда я съедаю пирог, а иногда пирог съедает меня. Все эти наши фантазии, желания — зачастую совершенно непонятно, кто хозяин меня самого — я или они. Я говорю: «У меня возникла фантазия». Откуда она возникла? По чьей воле? Ну хорошо, даже пусть возникла, но дальше-то она мною овладела. Ну и где тут я? Где моя воля, мои поступки? Чего на самом деле хотел действительный я?

Люся. Может, свободы?

К р о т о в. Почему свободы?

Люся. Не знаю, всем вокруг охота свободы. Отчиму — гражданской, маме — материальной, а моей подруге... этой самой. Она говорит, что это философия такая — эпикурьеизм. А вы, наверно, хотите свободы исполнения своих фантазий. Вас просто неудачно прорвало.

К р о т о в. Прорвало? (Смеется.) Прорвало! Милая ты, смешная Люся... Лючия. Знаешь, что означает твое имя? С латинского оно означает «свет».

Люся. Но я Людмила. Меня просто называют все Люсей.

К р о т о в. Нет, для меня ты свет. Последний свет в моей жизни.

Люся. Вот я вспомнить не могу, я сегодня уши чистила или не чистила? Валерий, а что вы такое сказали?

К р о т о в. Я сказал, свет надо включить, темнеет на улице. А ты знаешь, Люсенька, есть такая река в Сербии, Дрина называется.



Люся. Там водятся какие-нибудь экзотические животные?

Кротов. Там стоит дом. Прямо посреди реки, на скале. Маленький домик. Его построили молодые ребята, просто для отдыха. Потрясающее место. Мне кажется, если жить там, можно быть совершенно гармоничным, свободным, чистым. Ты бы хотела жить в домике посреди реки?

Люся. А Егор меня замуж позвал.

Кротов. А ты?

Люся. А я бы за вас пошла.

Кротов. После всего того, что ты сейчас обо мне узнала?

Люся. Бабушка всегда шутила, что любовь зла.

Кротов. Я же старый, Люся!

Люся. Да, староватый. Но с вами можно разговаривать сколько угодно и все время интересно. *(Обнимает Кротова.)*

Кротов. А хочешь уехать? В этот самый домик? Или на острова? Или куда хочешь?

Люся. С вами? С вами можно и на острова, и в домик, и в пещеру. Только чтобы там были все удобства. И Интернет.

Кротов. Смешная, смешная моя Лючия. Я в себе теперь такие силы чувствую, для меня теперь все возможно! Столько лет я как будто спал, я ничего не позволял себе, ел, пил, ходил на работу, как будто исполнял какие-то долги. А теперь я могу делать что хочу, что всегда хотел! Как будто крылья выросли, Люсенька, нет больше ничего невозможного!

Входят Потёмкина и Егор.

КАРТИНА ПЯТАЯ. РАЗВЯЗКА

Тихий августовский вечер. Те же после паузы.

Кротов *(отпускает Люсю)*. А мы тут разговариваем.

Потёмкина. Вообще-то ты пошел выпить стакан воды.

Кротов *(наливает воду, пьет)*. Вкусно.

Егор подходит к столу, наливает себе стакан. Выпивает половину, остальное выплескивает в лицо Кротову.

Потёмкина. Мой сын! По лицу ему еще, по лицу, отомсти за мать!

Люся *(становится впереди Кротова)*. Сначала мне!

Кротов хватает нож со стола, отводит в сторону Люсю, угрожает Егору и Потёмкиной.

Потёмкина. Окаянный!

Кротов. Предупреждаю! Мне уже терять нечего!

Потёмкина. Ирод!

Егор. Папаня!



К р о т о в. Я здесь все равно не смогу!

Е г о р. Папаня, это не фантазия!

К р о т о в. Я совершенно в здравом уме!

П о т ё м к и н а. Здравее некуда!

Е г о р. Я же сильнее тебя!

П о т ё м к и н а. Егорка, отойди от него!

К р о т о в. Люся, дай руку!

Е г о р. А ну не тронь!

Л ю с я. Я сама так хочу!

П о т ё м к и н а. Кого ты в дом привел?

К р о т о в. Мне уже терять нечего! Дайте нам уйти! Я если не уйду, я что-нибудь не то сделаю!

П о т ё м к и н а. А до этого ты все то делал!

К р о т о в. Я не осознавал! А теперь я все осознаю! Меня прорвало! Мне нужно уйти!

П о т ё м к и н а. Боже мой, да иди! Иди! Езжай хоть в Арктику! Егор, пропусти его. Скатертью дорога милому с порога!

К р о т о в. Я здесь больше не могу! Галка, я не могу!

П о т ё м к и н а. Давай, давай! Жаба превратилась в принцессу и стала моложе лет на двадцать! Смотри, как бы через двадцать лет опять не произошло метаморфозы!

Л ю с я. Вы просто ничего не понимаете! (Егору.) А тебе я отказываю!

Е г о р. Бросай нож!

П о т ё м к и н а. Егор, оставь его в покое!

Е г о р. Ты все равно не умеешь им пользоваться.

П о т ё м к и н а. Егор, мне уже все равно, пусть они идут!

Е г о р. Мне не все равно!

П о т ё м к и н а. Да пропади пропадом весь этот день! Егорка!

Егор кидается на Кротова, происходит борьба. Женщины кричат.

В конце концов Егор отнимает у отца нож.

П о т ё м к и н а. Караул! Рехнулись все сегодня, точно рехнулись!

К р о т о в. Ну и что ты теперь будешь делать? Режь! К черту, все к черту! Давай, режь!

Е г о р. Теперь можете идти на все четыре стороны. И побыстрее. Ну!

К р о т о в. Прости, Галка!

Кротов и Люся уходят. Некоторое время Потёмкина и Егор сидят в тишине.

П о т ё м к и н а. Напьюсь!

Е г о р. Хватит нам одного трупа.

П о т ё м к и н а (смеется). Зарплатная карта его у меня! Далеко не уедут, голубочки! (Успокаивается.) Напьюсь! Так и так умирать от разрыва сердца.

Егор. Давай капель тебе накапаю.

Потёмкина. Тихоня! Негодяй! Надо было ему сразу под дых!

Егор. Отец же.

Потёмкина. С таким отцом врагов не надо. Попить он пошел, воды ему захотелось! Чтоб тебе захлебнуться!

Егор. Хватит уже, мама.

Потёмкина. Люсенька! Вся бухгалтерия называет! Я сразу поняла, у меня на эти дела глаз наметанный! Егор! Ну, может, сейчас ты, после всего этого, уйдешь уже наконец со своего физкультурного факультета?

Егор. Чего это вдруг?

Потёмкина. Потому что у меня совершенно разбита жизнь! А ты можешь хоть как-то это исправить. Бабка-то твоя все, бабку уже не вернешь...

Входит Фаина Васильевна в зеленой куртке.

Фаина Васильевна. Это, может, тебе бы очень хотелось, душечка, но меня так просто не сжить.

Потёмкина с криком убегает от нее в другой конец кухни.

Фаина Васильевна. Брезгливая какая! *(Наливает стакан воды, жадно пьет.)* Жажда замучила.

Егор. Бабёна, а разве... Разве отец тебя не убил?

Фаина Васильевна. Конечно убил! Но меня так просто не возьмешь! Ох, насилиу выбралась с этого кладбища, перекособочено все, дороги нету, даже пешеходу пройти толком нельзя. На последнюю электричку еле заскочила. Э, нет, думаю, родные мои, не дам я вам такой радости. Потерпите меня еще не одну ночку. Еще лет тридцать прохожу в этих стенах! А потом во сне являться буду — до седьмого колена!

Потёмкина падает в обморок. Егор подхватывает ее,
пытается привести в чувство.

Фаина Васильевна. Да что ж это такое с ней сегодня! Хоть в больницу ее отправьте, пусть бы полежала месяца два, всем в облегчение.

Егор. Мама! Мама!

Потёмкина. Да, я записываю, записываю...

Егор. Вроде приходит в себя.

Фаина Васильевна. Пусть бы не приходила, я не возражаю.

Потёмкина. В наше время...

Фаина Васильевна *(передразнивая)*. В наше время!

Потёмкина. В наше время...

Фаина Васильевна. Это раньше было время, а сейчас так, одни часовые пояса, да и те отменить хотят.

Потёмкина. В наше время, когда все идет ко дну...

Фаина Васильевна. Можно это как-то выключить?

Потёмкина (*приходит в себя*). Что вы делали на кладбище, Фаина Васильевна?

Фаина Васильевна. Это что еще за натиск? У мужа своего спроси, что я делала. Он уж знает.

Егор и Потёмкина переглядываются.

Потёмкина. Дух.

Егор. Ты же не веришь.

Потёмкина. Духу-то что, что я не верю?

Фаина Васильевна. Что вы там шепчетесь?

Егор. Мы, бабён, ничего. (*Потёмкиной.*) Не рассердить бы.

Потёмкина. Ее погладь, она залает. Я лучше молчать буду.

Фаина Васильевна. Ребяткам корм насыпать. Завтра отлеживаться буду с утра. Болит все, сил нет. По буеракам, по бездорожью. И моя могилка рядом с отцом уже намечена. Да только кто ж ко мне придет...

Фаина Васильевна достает пакет пшена, собирается пройти к окну, но Потёмкина внезапно преграждает ей дорогу и пытается вырвать пакет из рук.

Потёмкина. Только не это!

Фаина Васильевна. Да что такое?

Потёмкина. Богом молю!

Фаина Васильевна. Да откуда у тебя Бог-то взялся, ондатра?

Потёмкина. И чего это у вас пальцы такие плотные?

Фаина Васильевна. А мы, душечка, по косметическим салонам не ходим.

Потёмкина. Да кто ж вас туда пустит!

Фаина Васильевна. Нам-то и ходить туда незачем, у нас и так все в порядке.

Потёмкина. Нет, это не может быть дух, у духов не бывает запаха изо рта!

Фаина Васильевна. Не дух, а душок! Всего-то сорок граммов! Помянула, как полагается, а ты, милочка, даже запомнить не удосужишься, когда поминки того, кто дал жизнь и твоему сыну в том числе!

Потёмкина. Все-таки дух, несет черт знает что!

Фаина Васильевна. Когда родилась какая-то там Цветаева, ей доподлинно известно, а такого человека память почтить — что вы! Какой-то бригадир какого-то завода! Да не какого-то, а судостроительного! Весь флот на моем отце держался!

Потёмкина. Вы что... Вы отца поминать ездили?

Фаина Васильевна. С закуской! С лучком, чесночком. И что?

Потёмкина. Заберите ваш пакет. *(Отпускает.)* Хотя нет, пожалуйста. *(Резко выхватывает пакет из рук Фаины Васильевны, высыпает в мусорное ведро, хватая поварешку, яростно перемешивает пшено с остальным мусором.)*

Фаина Васильевна. Левиафан! *(Уходит.)*

Егор. Где-то я отца даже понимаю...

Потёмкина. Вот, возьми деньги, купи завтра этой, этой... Купи бабёне новую пачку, пусть наше окно утонет в помете. Только ни слова обо мне. От себя купи.

Егор. Так на свои и куплю.

Потёмкина. Нет, деньги дам я. Так надо.

Егор. Да оно стоит двадцать рублей!

Потёмкина. Купи килограммов десять.

За сценой слышится крик Фаины Васильевны.

Фаина Васильевна. Обокрали! Раздели! *(Вбегает.)* Увели! Последнее отнять решила? *(Бросается на Потёмкину.)*

Егор *(преграждает ей путь)*. Спокойно, бабён! По существу!

Фаина Васильевна. Все раскидано, все вещи где попало!

Потёмкина. Тело он искал! Циркач!

Фаина Васильевна. Бусы по полу разбросаны!

Потёмкина. Нужны мне ваши стекляшки!

Фаина Васильевна. Любимый платок за диваном!

Потёмкина. Господи, когда он все перевернуть-то успел?

Егор. Баба Фая, приберу я твои вещи, успокойся, это я раскидал, я!

Фаина Васильевна. Что это ты? А она? Она пособничала?

Егор. Мама не знает ничего! Ничего не знает! Я расстроен был. Меня девушка бросила, я злость вымещал.

Фаина Васильевна. А чего ты ее у меня-то в комнате вымещал?

Егор. Какая комната первая попалась, на той и вымещал. Это состояние аффекта называется. Уберу все.

Фаина Васильевна. А карточка тебе зачем понадобилась?

Егор. Какая карточка?

Фаина Васильевна. Ты мне не финти! Какая карточка! Обыкновенная! Все сбережения, да кредиты еще можно брать!

Пауза.

Потёмкина. А кто еще знал про вашу карточку?

Фаина Васильевна. Как это кто? Никто не знал! Я знала и Валера знал, а больше никто не знал! А тебе, поди, отец сказал, а ты и воспользовался?

Потёмкина. А что, Валера, поди, и код знал?

Фаина Васильевна. Ничего он не знал! У него только на бумаге было на всякий случай записано! Надо же, чтобы где-нибудь было записано, у меня память уже не та, я имею право!

Потёмкина. И сколько же денег было на вашей карточке?

Фаина Васильевна. А что это ты у меня все выпрашиваешь? (Егору.) Отдавай карточку! И телефон куда забрал? Забыть ничего нельзя, сразу умыкнут! Совсем уже, совсем обобрали! Никаких сил больше с вами нет! Забирайте, раздевайте, вышвыривайте! Меняйте квартиру, все, не могу я больше выносить! Нет у меня ни сил, ни здоровья. Сегодня кровь носом пошла. Взяла и ни с того ни с сего пошла кровь носом! Пока платок искала, всю комнату закапала, чтоб вам эта комната по ночам снилась! Валере только об этом не говорите, Валера всегда очень за меня переживает, не надо ему, у мальчика у самого слабое сердце. А где он, кстати? Где Валера-то? Что у вас у обоих, язык онемел?

Потёмкина (после долгого истерического смеха подходит к Фаине Васильевне, целует ее). Чернокнижница! (Уходит.)

Фаина Васильевна. И как это понимать?

Егор. Геомагнитная буря, бабёна. Сегодня передавали. Большая геомагнитная буря.

Занавес



Николай ШИПИЛОВ

«ОТ ЧУЖОГО ОГНЯ ДО НЕНАСТНОГО ДНЯ...»

В этом номере мы продолжаем знакомить читателей с творческим наследием замечательного сибирского прозаика, поэта, публициста Николая Александровича Шипилова (01.12.1946—07.09.2006) — лауреата Государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства, Малой российской литературной премии (1997) за поэму «Прощайте, дворяне», литературной премии им. Андрея Платонова за рассказ «Пустыня Ивановна», премий им. В. М. Шукшина (1991), А. С. Пушкина, «Традиция» (1995), двукратного лауреата престижнейшего всесоюзного конкурса «Песня года». Н. Шипилов награжден медалью «Защитнику Белого дома».

Предлагаемая подборка песен и стихов, равно как и роман «Детская война», опубликованный в номерах 4 и 5 «Сибирских огней» за 2015 год, является эксклюзивным материалом и представляет собой часть произведений из готовящегося к 70-летию Николая Шипилова собрания сочинений.

Публикация подготовлена Юрием Гуровым и Татьяной Дашкевич-Шипиловой при участии Анатолия Смеловского.

СТИХИ

* * *

Голоса, голоса за стеной —
Это говор армян или греков.
И веков петушиное веко
Приоткрылось слегка надо мной.
Я устал говорить о судьбе
И о том, как трагична свобода.
Я люблю свои прошлые годы
И завидую в этом себе.
Из гостиниц райцентров и сел
Улетал, уезжал на подводах
И глядел на осеннюю воду,



Как на новую дверь новосел.
 Изю всех именованных благ
 Мне запомнилось высшее благо:
 За кормой закипавшая влага,
 Теплохода змеящийся флаг.
 Это счастье: с утра в октябре,
 Когда сонно и влажно в округе,
 Прочитав на спасательном круге
 Имя родины, сдернуть берет.
 Дорогим одиночеством горд,
 Брал я в руки гитару соседа,
 И лился за аккордом аккорд,
 Заменяя и сон, и беседу.
 А настанет пора умирать —
 Пусть то будет сибирская осень,
 Пусть тельняшка на смелом матросе
 Будет синим огнем догорать
 И звучать голоса молодых,
 Как крутые удары под дых.

<1986—1988>

9 Мая

Собрались и шустро стряпают ватрушки
 Тетя Аня, тетя Дуня — две подружки.
 Собрались вчера, с утра и до обеда
 Стол готовят, чтобы встретить День Победы.
 Люд наш лют, когда нашьют врага на нивы.
 Век проходит, не дают пожить счастливо.
 Вспоминают, как в войне ковали пушки
 Тетя Аня, тетя Дуня — две подружки.

И не ждут своих мужей в ремнях скрипучих —
 Самых добрых, самых сильных, самых лучших,
 И не пестуют внучат, купив игрушки,
 Тетя Аня, тетя Дуня — две подружки.
 А залает во дворе Трезор лохматый —
 Уж не ждут гонца из райвоенкомата.
 Выпьют в День Победы красного по кружке
 Тетя Аня, тетя Дуня — две подружки.

Кто-то первая вторую похоронит
 И последнюю слезиночку уронит.
 А сейчас смеются, словно боль далёка,
 И черемуха цветет в проемах окон.

А вино запросит песню, песня — пляски,
А душа запросит памяти и ласки.
И поют, и не глядят в глаза друг дружке
Тетя Аня, тетя Дуня — две старушки.

<1986–1988>

Саша-дворник

*...Ты мети, моя метла,
улицу Ватутина...*

А. Денисенко

Терпение, Саша, терпи!
Твой снег еще всюду и — тонны.
Метла твоя древняя дремлет со стоном,
Как битый кобель на цепи.
А утром, как шелест челест,
Послышится снега круженье,
Дворовых животных немое брожение,
Восторги вчерашних невест.
И ровно лопата берет
Снегов бесконечную малость.
О, если б лопата твоя поломалась!
Но ты поломался вперед...
В одышке малиновый рот,
Как фронт, задрожавший от взрывов.
Лопата воткнулась в сугробы, как крот,
Как мошку ловящая рыба.
Он валит монгольской ордой,
Он белый, как кафель в больнице...
Глаза твои, Саня, — бойницы
Меж шапкою и бородой.
Ты смотришь: куда его бить?
Как быть с тем, что было явленьем?
И как его можно любить,
Когда он уже по колени?..

<1986–1988>

Старый дом

В том доме тогда жили просто:
Работали, ели с ножа,
В субботние дни,
как коросту,
Скоблили все два этажа,
Детей для остратки лупили,

Чтоб выросли в инженера,
И водку с капустой любили,
И дрались пустячно не раз...
Когда уезжал я отсюда
Мальчишкой двенадцати лет,
Ровесница длинная Люда
Украдкой глядела вослед.
И с дальнего поворота
Я видел поверхность пруда,
Стройбатовцев черная рота
Таскала водой невода,
Их майки болтались на лозах.
А осень сера,
как шинель...
Я видел сквозь теплые слезы,
Что турман нырял в вышине...

С тех пор много лет миновало:
Горели дома, где я жил,
Землянки, и сеновалы,
И женщин чужих этажи.
Затравленный, зачумленный
Бежал я — не знаю куда.
Очнулся —
вот берег зеленый,
Рябая поверхность пруда.
И дом двухэтажный на взгорке...
О Боже, спасибо тебе!
...Помойка. Арбузные корки...
Белье на сухой городьбе...
Подъезд. Слышу звуки пирушки:
Не рушится строй вековой.
Малехонькая старушка
Спросила: «Тебе кого?»
У нас на Урале “здравствуй”
Сперва говорят...»
Ах, Урал...
Напрасно, двойник мой
вихрастый,
Ты Бога в дорогу брал.
Молчите... Не хлопчите...
Послушайте, как поют!
Я, словно уездный учитель
В присутственном месте, стою.
Стою...



С небольшим чемоданом,
Где несколько писем и книг.
Попутная.
Всё. До свиданья,
Далекого детства двойник.

<1986—1988>

* * *

Когда я воротился из похода,
То понял, что беда подстерегла:
На всей земле хорошая погода,
А мой домишко выстыл по углам...
В нем не было жены моей, вдовы ли —
Не дом, а растворенная тюрьма.
И дикие собаки рядом выли.
И мне казалось, я их понимал.

Пошел бы следом, да следа не сыщешь.
Сидел бы сиднем — где там усидеть.
Свистел бы вслед — беглянки не освищешь.
Ну как теперь собою овладеть?
Молитву б сотворить, да нет иконы.
Банёшку истопить бы — нету сил.
И я собак во мраке законном
Принять меня в их стаю попросил.

Собаки испугались, убежали.
Друзья: кто на печи, а кто — убит...
Кому теперь нужны мои медали?
И кто на ранах сменит алый бинт?
В дороге без привала я — бывалый,
Но в доме без хозяйки — как впервой.
И снова меня вьюга обвивала,
А позади пылал домишко мой.

Простите меня, отчие могилы...
Прощайте, я вас честно защищал...
Но тут мне больше нет житья без милой
И нет привычки к преданным вещам.
Уж лучше бы под знаменем из шелка
Лежал я в бранном поле неживой!
...И дикие собаки до проселка
Меня сопровождали, как конвой.

1986

ПЕСНИ*

* * *

В год собаки рожден, под осенним дождем,
Говорил я всю жизнь: «Подожди, подождем,
Потерпи, — говорил. — Поскрипи, — говорил. —
Слишком резвым тебя наш Господь сотворил».

И лупило меня, колотило меня,
Я в течение дня трижды шкуру менял,
В подворотнях ловил я мгновенья любви,
Только небо молил: «Боже, благослови!»

Подкосило меня и носило меня
От чужого огня до ненастного дня,
И азы позабыл мой усталый язык,
И глаза я закрыл, словно окна забил.

В голове лишь слова, в них и смерть, и живот —
Молодая вдова в хуторочке живет.
Эх, коней бы лихих и плевать на стихи,
Там у ней вечера веселы, как грехи!

Эх, гитара, давай, и гитара — дает,
Молодая вдова в хуторочке живет.
И смеется душа, как и прежде, жива,
Как же ты хороша, молодая вдова!

В год собаки рожденному волком не стать!
Мне б дорогу труднее, да друга под стать:
«Победим, — говорю. И всегда говорил. —
Хорошо, что с тобой нас Господь сотворил».

<До 1988 года>

* * *

Вам куда бы ни уехать от утех!
Словно к спеху, на потеху день утих!..
Ты была, наверно, тоньше, лучше всех,
А иначе бы с чего вот этот стих...
А пока была ты рядом, был я рад,
На двоих бы чашу с ядом мог испить,

* Песни на стихи Н. Шипилова, в том числе ранее не известные, можно послушать на сайте журнала: <http://сибирскиеогни.рф>



Но опомнился — и не вернуть назад,
Ни на шаг уже назад не отступить...

Вам куда бы ни укрыться, ни сбежать —
Так спасают от насильников уста.
Ты была, наверное, острее ножа,
А иначе — почему я мертвым стал?
А пока была ты рядом — я летал,
Звал с собою в сокрушительный полет,
Но опомнился, а ты уже не та —
Тебе крылья подарил аэрофлот.

Вам куда бы ни спуститься с высоты —
Без огня же путь покажется далек.
Как любила ты огонь, но даже ты
Испугалась, что сгоришь, как мотылек.
А пока была ты рядом, я горел,
Был души твоей владыка и пастух,
Но опомнился и сразу постарел,
И огонь в костре пастушеском потух.

1986, Москва

Романтическая песня

Запыленной пачкой стареньких газет,
Лодками без днищ на старых пирсах
Катятся обрывки дорогих мне лет
В городе трущоб Новосибирске.

Города другие, тугие кошельки —
Чтоб смеяться, им не нужен повод.
Там, где мы с тобою по весне прошли,
Дождь идет походкою слепого.

Я узнал, что боль — на самом деле боль,
И не ножевая, а живая.
Счастье не с любимой,
Просто так — с любой,
А с любимой счастья не бывает.

Я узнал презренье к острию ножа,
Страх перед зимою одинокой.
Счастье в ожиданье. Потому-то жаль
Свет забытых, тьму забытых окон.

Синь да сыпь черемух...
Спросят: «Где живешь?»
Я отвечу: там-то, мол, и там-то.
А по следу старьй морозящий дождь
Шаркает походкой арестанта.

В темной рамке неба — лунное пятно.
Я иду, я просто так — прохожий,
А по следу шагом миллионов ног
Дождь идет, невольник чернокожий.

24 апреля 1978, Новосибирск

Потянуло холодом

Потянуло холодом с северка,
Ой, да затуманилось с вечерка,
А у меня — ни куртки, ни свитерка,
Как у непутевого путника.

Потянуло голодом с четверга...
Хоть была бы фомка, хоть выдерга,
Взял бы из хозяйского погребка
Что-нибудь для этого вечерка.

Погоди, прибьешься к бомжатнику,
К фармазону и медвежатнику.
Может быть, когда-нибудь с вечерка
Будет тебе водка и ливерка.

Потянуло холодом, эх, с полей...
Ну, давай же песню повеселей!
Весели же душеньку, весели,
Пока тебя тут не повесили.

На дорогу ноги наматывай,
Глянь — туман рассеется матовый.
На какой-нибудь из больших дорог
Будет тебе куртка и свитерок.

1989, Москва

ПЕРЕПИСКА
Н. Н. ЯНОВСКОГО И В. П. АСТАФЬЕВА.
1965–1979*

* * *

26.VIII.1975.

Дорогой Виктор Петрович!

Я помню, как совсем недавно Мария Семёновна прислала нам книгу стихов Н. Рубцова. Для нас это был ценнейший подарок, и мы с удовольствием видели, как загорались глаза наших друзей при одном виде этого томика. Мы, разумеется, давали ее почитать и делали это тоже с удовольствием, так что Марии Семёновне «перепало» немало искренней благодарности за это ее душевное движение — послать нам хорошую дорожную для нее и для нас книгу.

У меня «речь» пойдет о другой книге. Просто эта книга и поэтична по содержанию и хорошо, редко для нас (печатали не в Новосибирске, а в Калининне!) изданная, а главное — <с> отличными рисунками С. Калачева. Вы — крестьянский сын, потому поймете мой восторг от лошадей, которые даны в разных ракурсах и — с характерами! Посмотрите.

Вы, вероятно, уже уехали на Байкал. Посылаю на всякий случай сейчас, чтоб потом не пожалеть, т. к. книга быстро расходуется.

Василий Коньяков [1], кстати, очень хороший человек и честный писатель. Мне он нравится, больше — я его люблю.

Неплохо издана «Сов. Россией» Ваша повесть «Перевал» (я ее только что купил), но художник все-таки далеко не всюду озабочен характером действующих лиц, хотя «фигуры» и полны динамики. Однако и такую книгу приятно подержать в руках.

Я только что сел за стол — увы, более месяца болел. Потому и не отвечал.

Марии Семёновне и Вам от нас с Ф. В. сердечный привет.

Ваш Н. Яновский

1. Коньяков В. М. (1927—1998) — прозаик.

* Подготовка к публикации и примечания Владимира Яранцева. Продолжение. Начало см. «Сибирские огни», 2014, № 8, 2015, № 8.

* * *

(V.1976.)

Дорогие Фаина Васильевна!

Николай Николаевич!

Шлю Вам низкий поклон и наши лучшие пожелания к празднику весны и Победы!

Здоровы будьте!

Мы живем помаленьку, днями стали тоже дедом и бабушкой — дочь подарила внука. Я нахожусь в больнице — очередное обострение пневмонии, но это уже почти привычное дело.

В это же время, не позже и не раньше, цензура взялась резать «Царь-рыбу» — идет со скрипом и большими утратами. Вот и пиши о современности! А я ведь на нее и зашел-то не с самого главного места, вроде бы. Не знаю, как пройдет третий кусок, второй просто изморожан и вообще не пустили б, если б не помогли сверху. Не скоро теперь я примусь за эту самую современность — про БАМ-то я писать не буду, а все остальное не ходово. Да хрен с ними — все равно собираюсь целиком засесть за войну, предварительно закончив «Поклон».

Обнимаю — Виктор Петрович.

* * *

Дорогой Виктор Петрович!

Меня очень обрадовало Ваше послание ко дню Победы. Мы с Ф. В. шлем Вам вместе с Марией Семёновной наши искренние пожелания здоровья и обыкновенного житейского благополучия. А главное — поздравляем Вас с внуком! По опыту знаю, какое это необыкновенное чувство, как вдруг по-особому воспринимается весь мир через глаза этого еще не знакомого и кровно близкого существа. Любопытно, что оно (существо) становится как бы ближе и дороже собственных детей. Странно, но факт. Видимо, потому, что наши дети уже отпочковались, от нас независимы, а эти еще беспомощные и дальше в неизвестное продолжают наше «земное» существование. Словом, внук — это отлично, и я поздравляю Вашу дочь.

Вашу «Царь-рыбу» я еще не видел, так как в этом году нам, писателям, отказали в подписке на «Наш современник», заявив: «Писатели должны писать, читать им совсем необязательно». Это подлинные слова одного «культурного» деятеля в Новосибирске. Но Вы, конечно, понимаете, что прочту я Ваш роман непременно. О начале в № 4 [1] я уже слышал хорошие отзывы. Что же касается «непроходимости» некоторых современных тем и проблем, то это наша общая беда, из-за которой не следует оставлять современную тему, хотя сам я весь в истории — в недавней (Вяч. Шишков) и в давней (Н. М. Ядринцев). Тем не менее я такой совет, как говорится, даю, ибо история отнюдь не поле для умиротворенных и примирительных разговоров. Увы, многие факты истории

сегодня стараются «забыть», точнее, не дают им ходу на предмет подлинно научного осмысления. История наша столь же жгуче современна, все дело в том, как на нее поглядеть. Вот ведь Ю. Трифонов [2] коснулся истории в последней своей повести в «Дружбе народов», но как актуально она у него прозвучала. Более едко-критического отношения к нашей действительности я пока не знаю; ее сила в объективно художественном анализе; и горечь и радость ощущаешь, читая эту повесть. Не случайно о Трифонове Михалков [3] не заикнулся в своем докладе на съезде, и не случайно подонок Чалмаев обрушился на него в журнале «Москва», противопоставив его Шукшину, которого при жизни он тоже поносил...

Живу я в работе да в болезнях, которые посещают меня все чаще и чаще. Жаль, что эти дни надолго — на неделю и месяц выбивают из рабочей колеи. Раз уж пошла речь о болезнях, то следует Вам сообщить, что Сапожников серьезно заболел — лежит в больнице в предынфарктном состоянии. Уехал на охоту да там и свалился, попал в больницу, Наташа привезла его в тяжелом состоянии. Печальное известие наводит на грустные размышления, хотя, конечно же, до поры до времени мы хозяева своего здоровья. Вот только беречь мы его не умеем.

Два Виктора — Лихоносов и Потанин — не забывают меня, пишут, и мне это приятно; потому что намного они моложе меня, и в моем одиночестве их голоса как поддержка, о чем бы они ни писали. На седьмом десятке начинаешь понимать значение обыкновенного человеческого участия острее, чем раньше, в дни юношеской беспечности.

С 8 апреля я тоже слег и очухался только к 9 мая. Мечтаю, быть может, в мае удастся поработать.

Будьте здоровы.

Обнимаю

Ваш Н. Яновский.

1. «Царь-рыба» печаталась в «Нашем современнике» в 1976 г.
2. Трифонов Ю. В. (1925—1981) — прозаик. Повесть «Другая жизнь».
3. Михалков С. В. (1913—2009) — поэт, прозаик, драматург.

* * *

7 июля 1976 г.

Дорогой Николай Николаевич!

Вот уж скоро месяц, как я в деревне — прихожу в себя после больницы и от всех этих изнурительных трудов по «редактуре» «Царь-рыбы», которую точнее надо было бы назвать истязанием человека, изгальством над душою и мыслью художника.

Верю, что если люди окончательно не сойдут с ума и не доведут друг друга до последнего скотства и самоистребления, правнуки наши будут удивляться — как это мы еще умудрялись чего-то рисовать, писать, пока-

зывать и даже иногда высказывать какие-то мыслишки в тех нравственных оковах, в наморднике таком хитросплетенном из проволоки сладких тянучек, бурьяне таком и чертополохе еще умудрялись находить иной раз не только цветочек, но и ягоду или пополезней злак какой.

Ужасно! Состояние такое, будто в ступе душу толкли, и тут погода нынче совсем нас замучила: почти не переставая идут дожди, холодно, все отсырело, грязь даже в огороде, трава радуется и прет вверх, но трава эта «пустая», сказали мне пастухи, с нее скотина только дрищит и болеет, ибо не получает она нужного тепла, и чем-то эта густая, зеленая и бесполезная трава напоминает нашу всеместную, беспардонную демагогию и ложь, которая так уж нас опутала, что мы ее замечать порой не можем, да иначе бы и жить невозможно было. Вот долдонит радио в невинной детской передаче: «Сегодня начало лета. Птички вывели птенцов. Сегодня выпустили колхозных телят на новую траву и они, задрав хвосты, начали бегать и резвиться...»

Вот ее бы, м...у эту с радио, которая сочинила такую «ударную передачу про колхоз», поддержать зиму в колхозных холодных <нрзб> на 500 граммах кормов, при пьяницах мужиках, которые сутками как загуляют, не только есть, но и пить скотине не дают, вот бы и бегала она, «задрав хвост»...

И ложь-то маленькая, ничтожная, но если все вместе сложить. Или еще вот идет передача с ярославского завода, называется (дефект рукописи. — В. Я.) «В рабочий полдень» (я вынужден слушать, ибо в больнице нарушили мне голову лекарствами и задурела моя контузия — не могу ни писать, ни читать), так вот в передаче этой прославляются муж и жена за то, что работают на одном заводе, на одном цикле (достижение! Не воруют, а работают — редкость-то какая, все кругом воруют, а они вкалывают). Так вот простодушная жена говорит про мужа: «Он меня заразил...» Слава богу, заразил только «примером своим трудовым»...

И ведь вся эта словесная зараза спокойно существует при том <нрзб> надзоре за словом, которое у нас развели. Чем хуже, тем лучше. Читаю сейчас двухтомник Кости Воробьева [1] (заказали мне о нем статью в «Новый мир»), читаю медленно, спокойно. Какого писателя «не заметили», и в это время витийствовало и развелось сколько пустобрехов. А ведь печатай Костю Воробьева, невозможно было бы печатать, стыдно читать такие бестселлеры, как «А зори здесь тихие» (дефект рукописи. — В. Я.), бредни Грибачёва, Горбачёва, Попова, Первенцева с Бабаевским и Сартакова [2] с его вышестоящим гражданским начальником, человеком столь же серым, самораздутым, сколь и бездарным. Вот потому и не пустили Костю «в люди», а Твардовский, который его любил и печатал, помер рано. Даже писатели спрашивают: «Это который Воробьев — “Минута молчания” или “Капля крови” который написал? Мура!» Правильно. Мура, но напечатанная миниатюрными тиражами и всем известная.

А, да черт с ней, с литературой этой! Как Вы здоровы? Не поедете ли на съезд? Я поеду — охота с ребятами повидаться. А то так и не хватит времени с друзьями посидеть. Внук наш, тоже Витька, растет хорошо, бабка мечется между двумя Витьками — старым и малым.

А у меня, несмотря на ипохондрию, в голове четыре последних главы «Поклона», одна уж на бумаге есть, и я в сентябре съезжу в Сибирь да и сяду приканчивать «Поклон», допишу новые главы, «подтяну» к ним старые и целиком переключусь на войну, надо мне написать «мою войну», а то больно много врут о ней. Ну, вот и все.

Поклон Фаине Васильевне. Целую Вас и обнимаю.

1. Воробьёв К. Д. (1919—1975) — прозаик.
2. Грибачёв Н. М. (1910—1992) — прозаик, общественный деятель. Горбачёв Н. А. (р. 1923) — прозаик. Очевидно, Попов В. Ф. (1907—2001) — прозаик. Первенцев А. А. (1905—1981) — прозаик. Бабаевский С. П. (1909—2000) — прозаик. Сартаков С. В. (1908—2005) — прозаик.

* * *

11 августа 1976.

Дорогой Виктор Петрович!

Я долго не отвечал на Ваше последнее для меня интереснейшее письмо, потому что с головой ушел в книгу, которую надо было сдать к 1 августа, иначе она не попадала в план 1978 года. Это — «Литературное наследство Сибири», том 4. В нем оказалось более тысячи страниц, и Вы понимаете, какая это «машина», как трудно складывать такую книгу, к тому же связанную с событиями столетней давности. Писал предисловие к этому тому — «Проза Н. М. Ядринцева», и целиком обитал в литературе XIX века. Читать эту литературу творчески совсем не одно и то же, чем читать ее, перечитывать «просто так». Впрочем, перечитывать ее не творчески в нашем возрасте, вероятно, невозможно. На каждом шагу непременно открываешь для себя новое — кого бы ни взял, будь то Мачтет или Г. Успенский, Оммулевский или Гаршин, о Достоевском и Салтыкове-Щедрине уж и не говорю. Они неисчерпаемы. О Ядринцеве, о котором как о писателе знают мало, а точнее — ничего не знают, писал с удовольствием. Понимаю, что, как и в случае с Зазубриным, на меня могут обрушиться разного рода обвинения. Но завершить эту работу мечтаю своим необходимым долгом патриота-сибиряка, ибо столь неистового, пламенного патриота Сибири, как Ядринцев, наша история не знает. Работы над томом предстоит еще много, но главное сделано: заложена основа тома — собраны его лучшие произведения в стихах и прозе, даются его публицистика, выступления в области критики и литературоведения, письма, воспоминания...

Только после того, как я свалил эту гору с плеч, я мог заняться чтением текущих из месяца в месяц журналов. Прочитал (в первую очередь) и Вашу книгу-повествование «Царь-рыба», памятуя о тех истязаниях души художника, о которых Вы мне писали. Увы, я слышу эти, мягко говоря, «жалобы» от многих — от В. Распутина и В. Канторовича (очеркист и критик), от Н. Самохина и А. Горелова (литературовед), от Леонида Иванова и И. Золотусского [1]. Свирепость «истязателей» доходит до немьс-

лимых пределов. Буквально то, что вчера опубликовано было в журналах и книгах, сегодня выбрасывается без объяснений. На самостоятельную мысль идет наступление широким фронтом. Снова всюду цитируется один авторитет и все, что сверх того — от лукавого. Исторические уроки не идут пробок, их мгновенно забывают, а напомнить сознательно не дают.

Так вот прочитал я Ваше истерзанное повествование с превеликой радостью. Написано оно красочно, лирично, публицистично. Вы с Вашим характером, насколько он мне открылся, видны мне в каждой фразе, в каждом слове. Это книга о Вашей любви и о Вашем гневе. Пафос ее я целиком разделяю и рад, что именно Вы написали такую жгущую сердце книгу. Она о хозяйственном и хозяйском отношении человека к земле, к ее дарам. Она о красоте природы и варварском истреблении ее. «Царь-рыба» написана с великолепным знанием этой природы и с резкой силой обличительного гнева против тех, кто ее не любит и хищно, безумно или злобно уничтожает. Читал я Вашу книгу и невольно подумал, что хотя человек и чудо природы, но он отнюдь не венец ее творения, как мы частенько об этом говорим с заметным чувством самодовольства, и не мудрец, равноправно творящий «вторую природу», которая чуть ли не совершенней природы первозданной. О любви к природе писали немало, о потребительском отношении к ней тоже. Но вот философию самовозвеличивания, социальные корни которой нам еще неизвестны в достаточной мере, обличаете Вы в числе немногих. Вы напоминаете людям, что, хотя «они» и творят «вторую природу», обольщаться относительно безграничности своих возможностей не следует, памятуя, что мы все-таки «дети природы», а не ее господа. Вы нанесли чувствительный удар по философии самовозвеличивания, весьма симптоматичной в век НТР.

Я читал рецензию в «Л<итературной> Г<азете>». Она по сути двойственна. В ней есть намеки на какие-то разногласия с Вами рецензента. Но они почему-то зашифрованы, не объяснены, настолько, что уже начинаешь не верить в искренность его похвал. Пиши, что чувствуешь, что и как понимаешь, но не держи камень за пазухой.

Я получил из СП РСФСР приглашение на вологодское совещание «в конце сентября». Когда оно будет точно, не знаю. В конце сентября я буду в Москве, независимо ни от чего, но, естественно, мне очень хотелось бы побывать в Вологде вновь и повидаться с Вами. 25 августа я лечу в Коктебель и 20 сентября буду в Москве. Состоится ли это совещание и не отсеят ли меня вновь, как это уже не раз случалось? Разъезжает обычно весьма постоянный состав СП.

ФВ и я шлем Марии Семёновне и Вам добрые пожелания здоровья и благополучия.

Обнимаю

Ваш Н. Яновский

1. Канторович В. Я. (1901—1977) — критик. Самохин Н. Я. (1934—1989) — прозаик, журналист. Иванов Л. И. (1914—1989) — прозаик, очеркист, публицист.

5 сентября 1976. (отв. 15/Х.76.)

Дорогой Николай Николаевич!

Я долго был в Москве, готовил «Царь-рыбу» для «Роман-газеты» (если она пройдет все препоны, возникающие на ее пути, то в сокращенном виде появится в № 2 за нынешний год). Устал я от этой «Рыбы» смертельно, забрался наконец-то передохнуть дней десять в деревню (впереди редаKTура книги в издательстве), но и в деревне меня отыскивали люди, киношники, хотят ставить «Перевал» на «Мосфильме»! Вот и надо было снова работать, помогать. Лишь сегодня они уехали. Утешает лишь одно, что, если дойдет до съемок, снимать будем скорей всего на Горном Алтае, чем в Саянах, и, следовательно, получится возможность пожить лето, отдохнуть в Сибири, а то я уже третий год, как не могу туда попасть — все недосуг.

Домашние мои пока, слава богу, в порядке, внучку исполнилось уже четыре месяца, вот только сын уезжает от нас в Чердынь работать в музей и писать научную работу. Там архивная и музейная целина, а главное — не приживается он в Вологде, прирос к родному Уралу душой, туда его и тянет, как меня в Сибирь. Я все больше подхожу к мысли поставить дом в родном селе — Овсянке. Чего я тоже болтаюсь тут, среди злых немумьтых вологодских аборигенов?

Кстати, о совещании в Вологде толком никто ничего не знает. Был зимой Дементьев [1], брякнул что-то, ему ответили: «Пожалуйста, но предупредите месяца за два», я разговаривал с завом агитации обкома в конце августа, и он сообщил, что ниоткуда — ни звуку, ни хрюку. Если что будет — я сообщу. Вызов можем оформить и здесь. Мне очень хочется потолковать с вами, и накопилось, о чем потолковать.

Несмотря на усталость и тяжелую голову, много во мне замыслов и главный из них — завершить «Поклон» — еще четыре главы, и всё. Одна почти готова, вторая вчерне написанная, две писать надо и тогда «Поклон» будет состоять из двух книг — про детство и про юность фэзо<ш>ную вплоть до ухода на фронт и одна глава — возвращение с фронта — вместе с «Одой огороду» и «Царь-рыбой», «Поклон», ставши в середину, сделает что-то (дефект рукописи. — В. Я.). Поклон Фаине Васильевне. Вас обнимаю — Вик. Петр.

Р. С. А у нас так лета и не было. Замело! Все замело! Вот постояло пять дней без дождя, не успели и порадоваться — сегодня снова дождь. Урожая нет. Одни грибы, и те с червями...

1. Дементьев В. В. (р. 1950) — критик.

15.X.1976.

Новосибирск

Дорогой Виктор Петрович!

Только что вернулся из длинной поездки — Коктебель, где отдыхал, Москва, где работал в библиотеке. Дома нашел Ваше письмо. Рад был его получить. Весточки такого рода просто необходимы в наш суровый век (господи, какой век нашей истории не был суровым?!). Точнее: на склоне лет есть потребность в душевном общении, иначе загнешься ранее времени...

Совещание в Вологде не состоялось. Мне сказали, что «отложили до зимы». Видимо, все это от нерасторопности все того же В. Дементьева. После того, как он стал председателем Комиссии по критике, она по существу прекратила свою деятельность. Но если вологодское совещание когда-либо осуществится, то мне хотелось бы на него попасть. Хочется еще раз побывать в городе, повидаться, поговорить.

Мне И. Л. Гринберг рассказывал, как Вы выступали в Молдавии, куда съехалось более сотни писателей. Кажется, и он не очень одобрял пафос Вашего выступления, но мне кажется, что энергия и денежки (колоссальные) летят в трубу и отнюдь не способствуют развитию литературы. О помпезности этих мероприятий не говорю.

В Москве мы с Ф. В., конечно, побывали на «Черемухе» в Ермоловском театре. Они пьесу поставили старательно и смотрится она с интересом, чувствуются астафьевские характеры и астафьевский текст (от автора). Но благостность финала они подчеркнули с особенной силой, а суть-то не в нем, а в преодолении самого себя. В процессе преодоления. Играть этот процесс трудно, потому упор на внешнее его проявление — на конфликт — «уголовником», на прозрение этого уголовного. Затянута сцена отправки героя после того, как его искалечило. На театре получилось много шума и суеты, а ее смысл как-то потерялся. Но в пьесе есть то, что играть, есть яркие характеры: главного героя, его невесты-жены, калека-пьяница, и спектакль публика принимала хорошо (зал полный), а нам все было интересно и важно, потому «придирчиво» к нему, спектаклю, относились и радовались его успеху, переживали все за автора-друга.

С кем бы мы ни говорили, о романе «Царь-рыба» отзывались всегда хорошо, чаще восторженно, как о крупном явлении современной литературы. Рецензии (в «ЛГ» и в «Лит. Рос.») появились пока маловразумительные, состоящие из общих слов. С Ф. Кузнецовым [1] виделся в Коктебеле, но о рецензии его не говорил сознательно (а он и не спрашивал), т. к. ничего хорошего о ней сказать не мог (устраивает, конечно, общее одобрение).

Итак, Вы завершаете «Поклон». Отлично. Жажду все это читать, т. к. (к тому же) не оставил мысли написать монографию (красноярцы хотели включить в план, да что-то замолкли). Напишу о Шишкове — буду думать вплотную. Ваша активность и работоспособность восхищают. Так и надо жить. Только вот надо бы соразмерять наши силы и не работать на износ. Научиться отдыхать, оказывается, так же важно, как и научиться работать.

Поедете в Сибирь — не проезжайте мимо Новосибирска, мы тут всегда будем Вам рады.

А у нас только что — дней пять назад — родился еще один внук... Идет времечко, безостановочно!

ФВ и я шлем Марии Семёновне и всему семейству Вашему сердечный привет.

Обнимаю.

Ваш Н. Яновский

1. Кузнецов Ф. Ф. (р. 1931) — критик, литературовед.

* * *

3.III.1977.

Дорогой Виктор Петрович!

С удовольствием посылаю Вам свою книжицу [1]. Она небольшая, но для меня дорогая, ибо о хорошем человеке, с которым дружески связан вот уже лет 20-ть. Конечно, не все удалось, но что же делать, если бог так ко мне немилостив.

Скоро, как говорят, в Барнауле выйдет книжица пообъемней, и в ней треть будет занята статьей о Г. Д. Гребенщикове, старом сибирском писателе десятых годов, друге Вяч. Шишкова, о котором сейчас пишу книгу листов на 15. Для многих Гребенщиков — пустой звук, ибо с 1920 г. он в эмиграции, поэтому статья моя — своего рода «открытие» забытого писателя.

Вот этому я рад.

Кстати, о забытых.

На днях узнал, что в Вологде живет Виктор Азраилович Гроссман, который когда-то печатался и даже переводился, дважды сидел и т. п. Зная Бунина по Одессе, дружил с К. Чуковским, помнит многое-многое, а вот в этом году в сентябре ему исполнится 90 лет. Может, стоит писательской организации Вологды заинтересоваться им, узнать, нет ли у него каких воспоминаний (в 50-х годах он печатался в «Юности»), произведений, да и поздравить человека такого возраста не грех. Его вологодский телефон 2-24-16.

Мне сообщили, что он не развалина, а бодрый старик, интересный собеседник. В этом случае инициатива писателей была бы уместной, ве-

роятно. Подумайте. Я слышал, что Б. Полевой [2] намерен как-то отозваться на этот юбилей.

Сам я очень занят В. Шишковым. Под завязку, написал стр. 350, вероятно, для окончания еще стр. сто надо. Устал, но не разогнусь, пока не кончу.

А тут еще затеял для «Сов. писателя» книгу «Вяч. Шишков в воспоминаниях современников», собрал более сорока авторов, живых и ушедших, перечитываю, разыскиваю, сверяю, комментирую.

На очереди том «Лит. наследства Сибири», посвященный Н. М. Ядринцеву. Он собран (более 1000 страниц), потребует еще большой работы. Однако она увлекательна, потому что впервые во весь рост встанет перед читателем не только ученый, а прежде всего писатель Ядринцев, поэт и критик, прозаик и литературовед. Вот мои затеи на ближайшее время.

Давненько не получал от Вас известий. Хочу верить, что Вы здоровы и работаете.

Ф. В. и я шлем Марии Семёновне и Вам большой привет и наши дружеские пожелания здоровья и благополучия. Обнимаю Ваш Н. Яновский.

1. Яновский Н. Леонид Иванов. — Новосибирск: Западно-Сибирское книжное издательство, 1977.
2. Полевой Б. Н. (1908—1981) — прозаик, главный редактор журнала «Юность» (1962—1981).

* * *

(отв. 24/VI.77)

Дорогой Николай Николаевич!

Ну, вот и весна пришла, у нас тоже была суровая, но сухая зима, и оттого я не слег в больницу, а работал много, трудно и начерно закончил «Последний поклон» — четыре главы заключительные, около десяти листов, очень были сложны по задумке и еще потребуют немалой работы, но уже легче — 20 лет я доставлял себе удовольствие этой книгой, но и она стала уже надоедать — надо было заканчивать. Вместе с «Царь-рыбой» — «Поклон» будет около шестидесяти листов, и эта «Моя Сибирь» полностью себя исчерпала, буду переходить на «Мою войну», даст бог сил и дней, чего-нибудь и напишу еще.

Сейчас я собираюсь вместе с М. С. в Ялту, бегу от сырости, надеюсь отдохнуть, а в июне поеду на Родину, там начинаются съемки фильма по «Перевалу», съемочная группа выбрала местом съемок все-таки реку Ману. Я буду помогать им и помаленьку, не торопясь, перетяпывать весь «Поклон», делить его на две части и новые главы доводить «до ума», все равно в нынешнем году, по причине праздника, они напечатаны не могут быть, ибо совсем не праздничны.

Получил Ваше письмо и книжку о Леониде Иванове — спасибо. Шлю Вам свою «лауреатскую», просто для коллекции, там все Вам знакомо. Читал на днях какую-то чахлую, дежурную статью о сибирской критике, где поминают и Вас — хорошо, что поминают, да больно уж много стало писаться статей «по случаю» и «поводу», газеты совсем превратились в благовестные листки, особенно наши, литературные.

Дома у меня пока все слава Богу, внучек выправился, растет, пухленький, вчера у него был юбилей — брякнуло человеку 11 месяцев!

Ну, вот, коротенько и все.

Кланяюсь Фаине Васильевне.

Марья Семёновна шлет Вам и ей приветы и наилучшие пожелания.

Я обнимаю Вас дружески

Виктор

28 марта 1977 г.

* * *

24.VI.1977.

Дорогой Виктор Петрович!

Я не отвечал так долго на письмо, потому что надеялся, что вот-вот придет соглашение (так в тексте. — В. Я.) из «Сов. писателя» на монографию «Виктор Астафьев». В январе 1977 г. редакция изд-ва сама предложила эту тему мне, но до сих пор ее не утвердила. 15/VI я был в Москве, заходил, там проволочку объяснили то болезнью зав. отделом, то болезнью главного. Но обещали скоро решить этот вопрос. Однако независимо ни от какого бы то решения, я эту тему не оставляю и, как только высвобожусь, за нее непременно возьмусь. Хотя, конечно, с соглашением в руках планировать работу легче.

В Москву в изд-во «Худ. лит-ра» отвез своего «Шишкова», которого закончил наконец. Получилась большая для меня книга в 17 п. л. Прочитал В. Шишкова заново и по-новому. Что теперь скажут рецензенты, редакция, — бог весть. Сейчас боятся любого нового слова.

Устал я с книгой, но решил форсировать со статьей для Новосиб<ирского> издательства, т. к. надежд на Москву больших не питаю. В Барнауле должна выйти моя книга листов на 10, но ее Комитет взял под контроль и вот — задержка. Черт поймет этот всезнающий комитет. Ужасающая централизация. На местах, оказывается, не знают, что творят.

Побывал в Москве, повидал внучку и главное — внука, которому 8 месяцев. Идет время — растут внуки, а мы стареем, дряхлеем, болеем! Грустно как-то стало жить. Неоткуда радости ждать, хотя бы мгновенной, редкой. Вот только внук растет хороший — одна радость.

Недавно прочел в одной информации, составленной (так в тексте. — В. Я.) в «Сиб. огнях». По ней выходит, что впервые напечатался В. Астафьев в «Сиб. огнях». Врут беззастенчиво, прохиндеи, забыл,

видно, Никульков, как яростно выступал он против повести «Пастух и пастушка». В редакции идут постоянные замены. Недавно заменена почти вся редакция. Никульков оказался волевым командиром.

Более пяти лет я не хожу в писательскую организацию. Даже на перевыборы не появляюсь. Работаю и печатаюсь не меньше, чем раньше. Это главное для писателя. Ко мне приходят многие, и это значит, что кому-то я нужен. На старости лет ощущение такое необходимо.

За книгу — спасибо. Буду работать, все окажется нужным. Ваших книг у меня целая полка, и я радуюсь. Конечно, нет первых изданий, но Ермаков мне обещал их, когда начну работать.

Осенью поеду в Иркутск. Там буду добирать материалы для «Лит. наследства» т. 4, посвященного Н. М. Ядринцеву. Все, кто читал этот том, одобрительно отзываются о Ядринцеве — писателе и человеке. В томе будут десятка полтора воспоминаний о нем, впервые собранные, а некоторые впервые публикуемые. Издание этого тома буду рассматривать как крупнейшее свое достижение.

Мы с ФВ шлем Марии Семёновне и Вам большой привет и желаем здоровья.

Обнимаю.

Ваш Н. Яновский.

* * *

4 июля 1977 г.

Дорогой Николай Николаевич!

Получил Ваше письмо в больнице, угодил с сердечным приступом. Должен был лететь в Красноярск, там на реке Мане снимался фильм по «Перевалу», и быть мне было там необходимо с киношниками, да и на родине не бывал уже 3 года, а у нас тут шли дожди, потом жарко и жарко сделалось — дышать нечем. Я побежал за билетом, за тем-сем, и накануне вылета на пленум, в Москву, меня и взяло. Особенного ничего нет, возраст сказывается и наша «легкая» сидячая работа, а полежать дней 20—30 придется и в Сибирь раньше августа уже не попасть. А стосковался шибко. И надо бы там, на месте решать вопрос с переездом. Тяжело и думать об этом самом переезде, каково-то будет переезжать? Но ничего не сделаешь — необходимо. Здешний болотный климат совсем меня доконал.

Дела мои идут потихоньку. Скоро должна выйти в «Молодой гвардии» новая книга. Вся новая! Я ее Вам пришлю сразу же. В 79 году изд-во «Худ. литература» собиралось сделать двухтомник, я говорил, чтоб за предисловием обратились к Вам. Не возражаете? Вам его будет написать нетрудно, поскольку есть у Вас статья обо мне. Так я решил про себя. Если это мешает Вашим планам, тогда дело другое. Но до 79-го, в 78-м должен выйти «Последний поклон», сдана в «Современник» <в> августе, подступил уже июль, а у меня еще не у

шубы рукав, еще и новые главы не готовы и старые, и просмотренные дай бог сдать в сентябре.

Получился «Поклон» из двух частей листов на 30—32. Кончаю я его, «Поклон», уже с натугой, поднадоел. Тянет писать о войне, дозрел, видно. После поездки в Потьму, в леса и посещения мест боев желание это удвоилось, но я наметил себе года два передохнуть и заняться здоровьем, также после лечения поездию по стране и по свету белу. Хочу у друзей-фронтовиков дома побывать, исподволь готовиться к «своей войне». Многое уже придумал и передумал. Тянет написать еще одну пьесу, набрасываю «Затеси» на ходу. Без дел не бываю. Без дел не бываю, да суеты много, она мешает делу.

Поклон Фаине Васильевне. Обнимаю Вас —
Ваш Виктор Петрович.

* * *

10(11?).VII.1977 г.

Дорогой Виктор Петрович!

В нашем Союзе мне сообщили, что 18.VII Вы будете в Новосибирске на «неделе», но вот я получил Ваше письмо от 4.VII и в нем нет упоминания, что Вы скоро приедете, чему я был бы очень и очень рад. Что случилось? Вы раздумали или вообще не собирались? Ах, как нужны время от времени такие встречи! Жизнь, как известно, коротка, а близость с душевно родственными людьми еще более быстротечна. Одних теряешь неизвестно почему, других, потому что наступил их предел. Вот совсем недавно, 27 июня, умер Владимир Яковлевич Канторович, которого я любил и ценил последние 15—18 лет. Писать об этом в прошедшем времени дико и нелепо. Однако ничего не поделаешь: такова наша жизнь.

15—21 июня я был в Москве. Отвез своего «Шишкова» в издво «Художест. литература» и уже получил известие, что они собираются книгу включить в ближайший план, видимо, в план 1979 или 1980 года. Мне теперь все равно, ибо главное сделано: книгу, о которой мечтал, написал. Заново и полемически прочитан весь Шишков. Я рад, что это выпало на мою долю.

Что касается предисловия к Вашему двухтомнику, то тут я охотно соглашаюсь — пусть только определяют объем предисловия и дадут мне состав двухтомника. Беда только в том, что в Москве частенько приглашают «своих», и непременно именитых...

У меня большая радость. IV том «Лит. наследства Сибири» Комитет разрешил издавать в двух книгах по 25 печ. листов каждая. Это значит, что произведения Н. М. Ядринцева-писателя впервые за последние сто без малого лет будут изданы в таком 50-листном объеме. Собрать все это и убедить людей, что мы имеем дело с подлинными духовными

ценностями, и стоило немалых трудов. Если эти книги наконец выйдут (в 1979—1980 гг.), я буду по-настоящему счастлив.

Да-с, в Москве у меня растет внук, хороший восьмимесячный парень. И тоже радуюсь. В старости есть свои счастливые мгновения, их тоже не следует сбрасывать с нашего счета.

Ф. В. и я шлем Марии Семёновне, Вам и всем домашним Вашим дружеский привет.

Обнимаю.

Ваш Н. Яновский.

* * *

25.IX.1977.

Дорогой Виктор Петрович!

Большое спасибо за книгу. Я ее получил вовремя, так как сел за монографический очерк под названием «Виктор Астафьев». «Советский писатель» заключил со мной договор на книгу объемом в 12 печ. листов. У меня теперь есть место, чтоб «разгуляться» и написать обо всем подробно и обстоятельно.

Разумеется, у меня будут вопросы и просьбы. Но я их сейчас излагать не буду. Сначала освоюсь в том материале, который известен и доступен.

Я рад, что именно мне после А. Н. Макарова выпала эта почетная роль монографиста. Вы помните, что я давно мечтал об этом. Монография о В. Астафьеве будет 34-ая монография о писателях-сибиряках (о других я, можно сказать, не писал). В этом году я закончил монографию о Вяч. Шишкове (18 п. л.). Неожиданно она оказалась полемической от начала до конца. По существу, это новое прочтение широко известного Шишкова. В изд-ве «Художественная лит-ра» к ней хорошо отнеслись (я работал по договору с ними) и обещают ее напечатать в 1980 году.

Но сейчас я буду сосредоточен только на Вас, и это меня чрезвычайно радует. Одно дело читать — другое вчитываться. В этих случаях обнаруживаешь такое количество неизведанных радостей и открытий, какие и не снились мне как читателю.

Марии Семёновне мой глубокий поклон, а Вас я обнимаю. Ваш Н. Яновский.

* * *

12.XII.1977 г.

Дорогой Виктор Петрович!

Прежде всего поздравляю Вас и Марию Семёновну с наступающим Новым годом. Бог мой, еще один год канул в вечность! И в голову лезут разные банальности: не остановить бег времени, еще одним годом ближе

к смерти и т. п. А ведь главное — как прожит этот год и что он с собою принес. Итоги и смысл должны терзать наши души...

Когда я пишу монографию о писателе (а я их написал более тридцати), невольно задаешься этими вопросами и для человека, о котором думаешь, и для себя. Это неизбежно, иначе ничего не получится: убедился на своем опыте.

В этом году я завершил монографию о Вяч. Шишкове (ее уже с 1979 года, как предполагали, перенесли на 1980) и, честное слово, исстрадался, увидев, убедившись, как, несмотря на его большой талант, все-таки не понимали современники и буквально каждое его новое произведение в печати встречалось в штыхы. Некоторые его произведения до сих пор не включаются в соб. соч. как идейно несостоятельные, хотя ныне легко можно доказать, что он заглядывал дальше своих современников. Доказать легко, а пробить в печать эти произведения стоит немалых трудов. Сломать инерцию мышления не просто. А главное — все боятся: как бы чего не вышло! «Ватага» 50 лет не переиздавалась, «Дикольче» названо кулацким произведением, а «Шутейные рассказы» — пустые и устаревшие... Вот этим, переизданием забытых замечательных произведений Вяч. Шишкова я и занимаюсь в последнее время. Но в современных планах, увы, им места пока что не остается.

Вот уже несколько месяцев как я занят «Творчеством В. П. Астафьева» по договору с изд-вом «Сов. писатель» (оно отпустило мне 12 печ. листов). Так теперь наступило время, чтобы потерзать Вас вопросами.

Первый из них — биографический. Я, думается мне, должен знать больше того, что Вы написали в автобиографиях, мне доступных. Причем знать точно. Я составил «реестр» по годам (по Вашим источникам), и сразу возникли вопросы: отчество Вашего отца, годы его жизни, крестьянин ли он в момент, когда Вы родились? Год рождения Лидии Ильиничны (кстати, точно ли утонула весной 1932, т. к. по-другому Вашему источнику в 1931 г.?) и ее девическая фамилия. Неясно, когда и где Вы учились в начальной школе (пошел в первый класс). Примерно хотя бы месяцы беспризорничества, дата (в смысле месяц и год) поступления в детдом. Начал учиться в 4 или сразу в 5 классе? В 1940 г. оставил детдом? В 1940 поступил в ФЗО или в 1941? Из Игарки, где работал, поехали (трудно, голодно) в Красноярск? — Я не понял по Вашему рассказу об этом времени. Нельзя ли поподробней о пребывании на фронте? Лаконично: служба в звании, передвижения (на каких фронтах), ранения, обучался ли в 1942, где находился с 1945 (?) по день мобилизации в октябре 1945 г. 1946—1950 — здесь мне тоже недостает подробностей — и работа, и семейные события. Вы в «Чусов<ском> раб<очем>» уже с 1951 года стали внештатным корреспондентом, точно ли до 1955 года Вы работали в этой газете литсотрудником? Словом, мне необходимы более или менее (а лучше абсолютно) точные сведения о важных фактах Вашей биографии.

Но сразу хочу оговориться: если Вам это делать почему-либо неприятно и хлопотно, то все: у меня вопросов нет и, естественно, нет ка-

ких-либо личных недоумений. Я это пойму правильно, потому что Ваша биография в какой-то мере в Ваших книгах и в уже опубликованных автобиографиях.

Второй круг вопросов — творческих.

Корреспонденции и очерки в «Чусовском рабочем», в газетах «Молодая гвардия» и «Звезда» я прочитал почти все (за редким исключением), выделил в приложенном списке рассказы и чем-либо значительные очерки. Но я бы хотел знать реальную дату (в пределах года) их написания. Допустим, рассказы «Земляника», «Дерево без корней», «Тимкоуль» могли быть написаны в 1952 — ведь у меня всюду дата (год) публикации. Второй сборник «Огоньки» подписан в печать в январе 1955, следовательно, все рассказы в нем написаны не позднее 1953 и 1954 годов (ах, если <бы> здесь мне известна была последовательность, хотя я понимаю, что могло писаться и дописываться в разное время!). Вероятно, роман Вы начали писать в 1955, потому что тут сравнительно мало публикаций, как и во все последующие годы, до выхода романа в свет.

С 1951 по 1958 г. Вы как писатель находились, так сказать, в эмбриональном состоянии, и мне хочется проследить динамику роста именно в этот период. Не обижайтесь на это слово, поскольку оно для меня рабочее и обозначает начальный период Вашей работы. Для того чтобы что-то понять, надо его для начала расчленить, «разъять», как выражался Пушкин. С 1959 года, по-моему, начинается новый этап в Вашей творческой биографии. А как ее членить дальше и надо ли это делать, я еще не знаю. Напишу эту ответственную главу, тогда попробую решить и эту задачу.

Естественно, что и эта дата условна. Это для читателя, для общества Вы как писатель проявились в новом качестве именно в 1959 году. Для себя, внутренне, Вы созрели раньше — на опыте романа, на обдумывании «Перевала», «Стародуба». Это я буду тоже учитывать.

Итак, на первый раз (пугайтесь!) вопросов более чем достаточно.

Я не читал рассказов «Суд» и «Серёга». Нет ли случайно их вырезок?

Я прочитал «Беседы о жизни» («Молодая гвардия», Пермь), 1965, 4/IV, № 42, «Читатели возражают писателю» (там же, 1965, 11/IV № 45), статью «Солдату все еще снится» в газ. «Звезда», 1965, 7 V № 106 и считаю это все чрезвычайно интересным и мне для работы нужным. Нет ли у Вас вырезок из этих газет?

И в том и в другом случае я не задержу их и быстро верну.

Честно говоря, мне хочется Вас повидать. И давно.

Но как это осуществить — не знаю. Зима, и в это время письменный стол с особенной настойчивостью требует к себе внимания и заботы... В конце концов, этим мы живем.

Ф. В. поздравляет Марию Семёновну и Вас с наступающим Новым годом и шлет самые добрые пожелания.

Будьте здоровы.

Обнимаю.

Ваш Н. Яновский

* * *

г. Новосибирск 24 декабря 1977 г.

Дорогие Фаина Васильевна!
Николай Николаевич!

Из пустынного северного уголка России, из сирой и убогой деревушки — Сиблы поклон Вам и новогодние поздравления! Здоровы будьте! И как прежде жизнедеятельны! Радости Вам в детях и внуках!

Я здесь отсиживаюсь после Москвы, в самые-то хляби, когда Ник. Ник-ч был в Малеевке и развивал критику, я сидел в Переделкино и сдавал «Последний поклон», да возился с кинокартиной по «Перевалу». Сдали то и другое, но так много отдал сил и нервов, что до се прийти в себя не могу. Объявил «перекур» года на два, но в городе нет покоя, вот и удрал сюда и здесь умудрился простыть — ломает всего, ну, авось, налажусь. Не впервой. Хочется во время «перекура» построиться в родном селе и переехать. Не знаю, как получится, надо ведь, кроме всего прочего, ломать и молчаливое сопротивление семьи, жены в особенности, ведь переезд нынче равен десяти пожарам, ее тоже понять можно. А что у Вас новенького?

Кланяюсь и обнимаю Вас — Ваш Виктор Петрович.

* * *

8.I.1978.

Дорогой Виктор Петрович!

Я получил Ваше новогоднее послание. Спасибо! Так где же Вы? Я так и не понял, но все равно радуюсь, что Вы «оклемались» и собираетесь сделать длительный «перекур». В писательский «перекур» я, правда, не верю — в этом смысле он хуже каторжника со сроком, но желание превосходное да еще в родных местах! А зачем вам переезжать со всем имуществом? Заберите Марию Семёновну и живите в Сибири как в «загранкомандировке» и год, и два, и три, пока не призовет Вас «к священной жертве Аполлон». А Вы знаете, что наши желания совпали, и я мечтаю освободить себя на годик от обязательных программ, поехать по стране, с людьми хорошими поговорить, на солнышко посмотреть без дум о завтрашнем куске и подумать о чем-нибудь дорогом и заветном, не на бегу, не от случая к случаю, а так, чтоб душе и людям радость была. Задыхаюсь от недостатка обычных «радостей»...

Написал статью о «Матёре» В. Распутина. Но где ее печатать, не знаю. С «Сиб. огнями» у меня ладу до сих пор нет. С «Нашим современником» после истории со статьей о В. Шишкове тоже ничего не получается. Налегаю теперь на книги — в Барнауле «На переломе» (1978), в Новосибирске «Поиск» (1979), в Москве «Вяч. Шишков» (1980) [1]. Это более 40 п. л. Уже написано, сдано и на первом этапе одобрено. Что дальше будет, не знаю, но сделал я работу честно.

Сейчас вот — об этом я Вам уже «докладывал» — мечты о книге под названием «Виктор Астафьев». Что из этого получится — бог весть, но стараюсь. Посылал я Вам книжку, какие-то вопросы задавал, о чем-то просил — не знаю, получили ли, но, ей-богу, все это не носит характер обязательный. Начитался я всего «вокруг да около» — так что голова кругом идет, и не знаю, с чего и как начинать. Монографистов у Вас, оказывается, было много, и быть оригинальным мудрено.

Перечитываю Ваши письма ко мне и вижу: это уже наша история, и она не менее сложна и таинственна, чем, допустим, история жизни Ядринцева, которую я изучаю много лет. А как эту и ту историю передать максимально правдиво, ближе к правде — задача не из легких да по существу невыполнимая. О Ядринцеве мы попросту многого не знаем, о нас самих — разве возможна сегодня правда?! Вот А. Макаров в «закрытой» рецензии на «Кражу» пишет, что «автор как бы пересматривает вопрос о коллективизации». Почему «как бы», когда я, например, так и думал: пересматривает и хорошо делает! Помните, как Рясенцев [2] редактировал с целью вытравить это «как бы». Вот и напиши сейчас об этом — скажут: не пройдет, как мне уже сказали в Иркутске о статье, посвященной «Матёре» (я писал ее по заказу «Сибири»). И даже те, кто, читая с сочувствием, сказали: отлично, но непроходимо. Самое убийственное в этом: действует самоконтроль, самоцензура, отвратительное явление нашего времени. Оказывается, всем известно, о чем можно и о чем нельзя говорить и писать. Ну, я понимаю, есть какие-то табу в области политики, ну а в хозяйстве, в экономике, в философии, в социологии, в искусстве и литературе, в истории и проч. невозможны никакие табу, иначе не избежать застоя общественной мысли. Было время — мы такой застой пережили — неужели нашему поколению выпала доля пережить его дважды?

Новые главы из «Последнего поклона» в «Нашем современнике» еще не читал, но в газетах два (?) прочитал. Интересно, «для себя» Вы завершаете этот цикл или это завершение относительное, как и в 1968 году? Вы уже подготовили отдельное издание в новом варианте? По-моему, это надо сделать, придав повести о детстве и юности максимальную степень законченности. Мне кажется, что и из цикла «Затеси» пора уже сделать более или менее канонический текст, разделив их, если последует продолжение, на книги — часть первая, вторая и т. д., принцип формирования здесь может быть двоякий: социально-психологический, философский (группировать по глубинному сходству содержания), и хронологический — по датам написания. Лично я за хронологический, так как он будет характеризовать движение авторской мысли. Да и Вам будет логичней их формировать так, ибо «сходство» по содержанию вещь относительная, особенно в таких, казалось бы, «мелких» сиюминутных мгновениях жизни, запечатленных в «Затесях». Кроме того, они неравноценны по смыслу и равноправны в характеристике личности художника. По-моему, ранний «охотничий» цикл свободно входит в, так сказать, первую книгу «Затесей». Кстати, не пугайтесь академичности и ставьте

дату даже под «мелким» (по объему) рассказом, это Вам же со временем сослужит хорошую службу (не придумал другого слова), а об исследователях не говорю — для них это первостатейная помощь.

Кстати, подумайте о книге с примерным названием «О литературе и о себе». Такую серию издает «Советская Россия». Судя по моей библиографии, у Вас много выступлений, рецензий и «разговоров» о себе, о литературе. Такие книги издал Ю. Бондарев, Ю. Нагибин [3], о Сергее Залыгине не говорю, ибо в этом жанре он работает систематически, а не от случая к случаю. Поверьте, что издание такой книги назрело, учитывая Ваш сегодняшний и, я надеюсь, непроходящий авторитет в литературе. К тому же такая книга поможет свести воедино Ваш взгляд и на жизнь, и на литературу непосредственно, так сказать, открытым текстом, не через образ.

Но довольно, я уже влез в недозволенную область непосредственных советов и рекомендаций. Потому останавливаюсь и желаю Вам осуществления задуманного «перекура», т. к. не сомневаюсь, он даст ощутимые плоды.

Марии Семёновне, Вашим детям и внукам наш общий поклон и добрые пожелания, а Вас я обнимаю и остаюсь

Ваш Н. Яновский

Р. S. На Новый год приезжала дочь с сыном, пошедшим в первый класс, а в Москве растет внук, которому уже «перевалило» за один год. Идет времечко и машет нам рукой: адыо, дескать, немного вам осталось!.. И болезни одолевают — вот грех-то! И никуда от этого не денешься.

Будьте здоровы!

Н. Я.

1. На переломе. Из литературного прошлого Барнаула. Статьи. — Барнаул: Алтайское книжное издательство, 1978. Поиск. Литературно-критические статьи. — Новосибирск: Западно-Сибирское книжное издательство, 1979. Вячеслав Шишков. Очерк творчества. — М.: Художественная литература, 1984.
2. Рясенцев Б. К. (1909—1999) — критик, театровед.
3. Нагибин Ю. М. (1920—1994) — прозаик, журналист, сценарист.

* * *

(отв. 18/I.78.)

Голубчик, Николай Николаевич!

Получил я и книжку и письмо Ваше с вопросами. Я тут все дела закончил, «Поклон» одолел и заболел. Опять простудился. Пробовал лечиться русской печью в деревне, еще хуже раскис на ней. Вернулся домой, подлечился и вот пишу Вам. Сознаюсь, мне сейчас неохота не только писать чего-либо, но даже от чернил, от запаха их и вида тошно — так я устал.

Поэтому бегло отвечаю Вам, совершенно сознавая <нрзб>, что Вам не обойтись, чтоб не побывать у меня.

Все вырезки есть. Книги тоже. Марья Семёновна изладила карто-теку, и работа Ваша значительно облегчится и упростится, что ли, с помощью ее.

Кроме того, и это самое нужное — у меня целые папки, толстые папки писем, по «Поклону» и «Царь-рыбе», и такие есть размышления, рассказы, мудрствования, до которых и нам-то не додуматься.

Все это богатство пылится без уважения и толку, а Вам ведь 12 листов! (подумать страшно) надо чем-то заполнять. Кроме того, раз у меня время свободное, и я могу быть в Вашем распоряжении. Время это, что убьете на поездку, оправдано будет в работе, Вы ее скорее сделаете.

Теперь о сроках. Надо Вам ехать или числа с 20-го января (я с 15-го буду в Киеве на «круглом столе»), либо в начале февраля (в середине, если буду здоров, поеду в Караганду к братьям-фронтовикам), почти до конца марта собираюсь быть дома.

Еще Вы забываете такой струмент, как телефон. Женя Городецкий звонил мне. Слышно Новосибирск хорошо. Ну, а если уж Вы не сможете приехать, тогда, конечно, pošлю я Вам и книжки нужные, и вырезки. Только не пишите Вы о «Снегах» [1]. Говенная книга, самонадеянный мальчишка решил написать роман и накатал! Вопросов, которые бы меня ставили в «неловкое положение», нету, да и откуда им быть? На удивление даже самому себе, я прожил жизнь хоть и пеструю, но совершенно не запутанную. Тут все зависит от Бога, но ведь и в тюрягу попасть, и возле штрафной роты хаживать близко, и изувером мог быть в драках и за воровство, но сошло как-то. Только Богу это известно. Я вон смотрю, как иные люди умеют запутывать свою жизненку, аж выхода нет обратно, только петля — один выход. Меня, верно, спасли книги от пьянства и карт, а они-то больше всего и запутывают нашего брата <нрзб>. Хороший, кстати, «стимул» для молодого писателя! Сейчас вот сделалось много благополучных писателей и сразу осерилась литературщина совсем, а и была-то серой, а тут еще и завшивела — за весь прошлый год достойно Великой русской литературы одно лишь произведение — «Усвятские шлемоносцы» [2], если учесть, что членов, только членов союза уже свыше 10 тысяч!, то сердце замирает, ужас волосы шевелит — какое тут духовное обнищание! И кабы только духовное...

Вот видите, как нам необходимо поговорить! Если полетите на самолете — берите сквозной билет — утром вылетите из Новосибирска и в 5 вечера будете уже у нас чай пить. В Москве лишь переедете из Домодедово в Быково. К нам ходит три рейса, Яки-40, из Москвы до нас один час лету.

Зима у нас ныне стоит суровая, морозы грянули, и весь грипп сразу опятился в Аравию, Израиль и Англию. Мы их, сук, не хлебом, дак грибом!..

Забирайте с собой и Фаину Васильевну. Вот они с нашей наговорятся! А пока я Вас обнимаю и кланяюсь Ф. Вас-не.

Ваш — Виктор Петрович.

1. «Тают снега» (1958) — первый роман В. Астафьева.
2. «Усвятские шлемоносцы» (1977) — роман Е. Носова.

* * *

10.I.1978.

Новосибирск

Дорогой Виктор Петрович!

Только что отправил Вам письмо и тут же получил Ваше — с ответами на вопросы и с приглашением приехать. Что и говорить, я снялся бы сразу и завтра был бы у вас, но беда в том, что заболел чуть ли не с 30/XII и до сих пор не могу прийти в себя, хотя и крепился и перемогал. Думаю, что продлится это не более неделки, я окрепну и буду планировать поездку на первые числа февраля, а если удастся, то чуть-чуть ранее (тут я учитываю Ваше январь-февральское расписание). Полагаю, что неделку я у Вас побуду (Фаина Вас. охотно присоединяется — оставаться дома ей одной, разумеется, не хочется, да и мне будет покойней).

Конечно, это лучший для меня вариант, да и просто мне очень хочется Вас повидать, поговорить независимо от «монографических» задач, стоящих передо мной. На такого рода встречи я никогда не жалел времени. Дружеские чувства — это божий дар, а в моем возрасте это дар вдвойне, и когда я их в себе и на себе ощущаю — я счастлив. С этим я к вам и еду.

По телефону позвонить я Вам не смог сейчас же, т. к. пока не знаю Вашего телефона, но думаю, что это легко установить. Сейчас в этом нет острой необходимости, но перед тем, как поехать, я позвоню или сообщу телеграммой.

Болезнь немного выбила меня из рабочей колеи, но настроение у меня «боевое», потихоньку вооружаюсь теоретически, изучаю все вокруг да около. После монографии о Вяч. Шишкове делать это мне чрезвычайно интересно и радостно.

Для новосибирского изд-ва составил сборник статей на 18 печ. л. Туда включил и статью «Деятельное добро» [1] наряду со статьями «В. Шукшин и его роман “Любавины”», «Заботы и тревоги В. Распутина», «Заметки о повестях В. Тендрякова», «Роман Вяч. Шишкова “Ватага” и его критики» и некоторые другие — большинство статей новых. А вот статью «Георгий Гребенщиков в Сибири» забодали с порогу, ибо этот талантливый писатель-сибиряк эмигрировал в Америку еще в 1920 году. И забодали его сначала в «Сиб. огнях» — Коптелов и Никульков, и ходу ей в Новосибирске нет. Статью «Деятельное добро» я включаю,

т. к. в ней отражена моя позиция по ряду теоретических вопросов, а монография, если бог даст мне ее написать, появится на свет не ранее 1981—1982 года (пролежит в издательстве не менее двух-трех лет).

Итак, до встречи. Я еще за январь черкну, если у меня что-то случится.

Ф. В. и я шлем Вам с Марией Семёновной сердечные дружеские приветы.

Обнимаю

Ваш Н. Яновский

1. Речь идет о книге Н. Яновского «Поиск». Статья «Деятельное добро» в книгу не вошла. См. также письмо Н. Яновского от 8.12.1978 г. в данной подборке. Статья о Вяч. Шишкове получила название «Гражданская война в изображении Вяч. Шишкова».

* * *

19.II.1978.

Новосибирск

Дорогой Виктор Петрович!

Четыре дня как мы дома. В Москве пробыли неделю и не знали отдыха: занимался день в библиотеке, потом бежал к внучатам, к этим хорошим, неутомимым малявкам. Как воюет Витя-малый? В сборе ли вся Ваша семья? Всем наш привет и поклон.

Посылаю только три книжки В. Курбатова [1]. Бегал в магазин — у нас уже нет в продаже, разошлась книга. Написал в Омск, может быть, у них еще есть. Помню, я покупал 10 экз., и не заметил, как они у меня разошлись.

Валентин Яковлевич пусть на меня не сердится. Книга после доработки все-таки стала лучше. А беспорный талант его я отметил с первых же слов своей рецензии. Просто мы люди разных поколений и пишем по-разному. И хорошо, что по-разному. Мне ведь теперь не достичь такой легкости и красоты стиля, как у него и у некоторых других молодых критиков — в разных мы университетах учились.

В Москве меня ждали новости и приятные. Оказывается, книга «Воспоминаний о Вяч. Шишкове» включена в план 1979 года и ее будут сдавать в набор в июле-августе. Мы с Клавдией Михайловной отобрали около 50 фотографий, и Н. Х. Еселев, тоже исследователь творчества Вяч. Шишкова, взялся отнести их в издательство и поговорить с художником. Его воспоминания тоже включены в эту книгу.

Клавдии Михайловне я передал твой привет и рассказал о твоём отношении к Вяч. Шишкову. Будешь в Москве — заходи к ней, человек она добрый и приветливый, свято чтит память Вячеслава Яковлевича. Перед такими людьми я преклоняюсь.

И еще одна новость. В «Советской России» книжку Вяч. Шишкова «О литературе и о себе» [2] только по моей заявке, сделанной в декабре 1977 г., включили в план 1979 г., и я, приехав домой, не разгибаясь, готовил ее все эти четыре дня, вчера сдал на машинку (почти 7 печ. листов) и сегодня примусь за предисловие к ней под названием «Уроки Вяч. Шишкова».

Закончив работу с этой книгой, начну писать примечания к «Воспоминаниям» и до «Астафьева» доберусь не ранее, как в марте.

Для первой главы у меня теперь все есть, душа моя покойна и счастлива, «зарядку» я у тебя получил отличную. Эта встреча была ну просто необходима и для души и для дела, которое не выполнишь хорошо без любви.

Марии Семёновне и тебе Ф. В. шлет привет, да она, видимо, и сама будет писать.

Обнимаю
Твой Н. Яновский

1. Очевидно, книга В. Курбатова «Виктор Астафьев» (Новосибирск, Западно-Сибирское книжное изд-во, 1977, серия «Литературный портрет»).
2. Шишков В. Мой творческий опыт. — М.: Советская Россия, 1979.

* * *

9. III. 1978.

Дорогой Виктор Петрович!

Только что получил из Омска 10 экз. книги В. Курбатова и — посылаю. Я потихоньку влезаю в первую главу будущей книги, но именно потихоньку, потому что болел, составлял книгу Вяч. Шишкова, писал к ней предисловие.

До «Ватаги» еще не добрался, а «Любавины» не вышли. Как все это у меня появится, непременно пришлю.

Проболел почти две недели и все подзапустил. Вы не собирались еще в Барнаул? Поедешь, не проезжай мимо. Буду рад видеть тебя у нас.

Марии Семёновне, всему Вашему семейству от нас с Ф. В. большой привет.

Обнимаю
Твой Н. Яновский

* * *

13. III. 1978.

Новосибирск

Дорогой Виктор Петрович!

Только что получил книгу «Любавины». Буду рад, если предисловие Вам понравится. Предлагал я его двум журналам — увы, не взяли. Видимо, не дорос до журнального уровня. Но ничего — это тоже 100 тыс.

Итак, покончив с «шишковскими» делами, засел за первую главу — кажется, что-то получается, хотя «мучила» она меня долго и я написал с десятков «зачинов». Теперь зачин есть и остальное будет складываться легче.

Вот не взял я у тебя «Последний осколок» [1] и жалею — по выпискам, которые сделал, приводить текст боюсь...

Как самочувствие, как Витя-маленький? Получил ли мои посылки? ЛНС, т. 3 ищущу, как обещал, найду — непременно пришлю.

Марии Семёновне привет и поклон.

Обнимаю.

Твой Н. Яновский

1. Астафьев В. Последний осколок. Слово о боевом друге // Литературная газета. — 1974. — 8 мая. О фронтовом друге В. Астафьева В. Шадринове.

* * *

16.IV.1978.

Дорогой Виктор Петрович!

Не знаю, имеешь ли ты эту книгу истого сибиряка, погибшего в 1937 году. На всякий случай посылаю. Если будет время, прочти. Здесь впервые печатаются части, как они именовались у автора. Когда я забрал рукопись у жены М. Ошарова (1956) [1], — она теперь умерла, — повесть так и называлась «Звено могил». В 1964 г. Рясенцев окрестил ее «Бегут воды Комчу(? — В. Я.)», могилы, дескать. Очень мрачно, не под стать нашему оптимистическому времени. А третья часть «Сауд» погибла в следственных органах. Ходил я туда, просил, но они только руками развели: не ищите, все равно сожгли! Отдельным изданием «Звено могил» вышло под названием «Трудное счастье» — подлинное название отклонили все по тем же мотивам. Обработывали ее (в ней много было этнографизма) мы с Е. Ф. Ивановым [2] (он умер), здесь я оставил его одного, т. к. жена, бедствующая на маленькой пенсии — ей около 80-ти, — совсем получила бы гроши. Ох, как обируют наследников писателя на «законном основании» — уму непостижимо! Когда речь идет о соб<раниях> соч<инений> «классиков» наших — куда ни шло, что-то родственникам остается, а в массе наследники «неклассиков», жены, часто не имеющие профессии, держатся буквально на голодном пайке.

А пишу еще вот по какому поводу: мне нужен полный состав «Последнего поклона». Часть первую я знаю (со включением «Мальчика в белой рубахе»), и в каком порядке и как складывается часть вторая? Это я не записал в свое время и теперь гадаю. Написал книгу наполовину, т. е. 140 стр. Что-то будет дальше! Марии Семёновне и всему семейству поклон от Ф. В. и меня.

Обнимаю. Твой Н. Яновский

1. Ошаров М. И. (1894—1937) — прозаик.
2. Иванов Е. Ф. (Филипыч) (1895—1973) — прозаик, журналист.

* * *

20 июня 1978 г.
(отв. 13/Х.78.)

Дорогой Николай Николаевич!

Я был в Крыму, намерзся там, намок и, не подлечившись, вернулся домой, а здесь льет — свету белого не видать и холодина тоже. Но собираемся в деревню на все лето, там хоть печка есть, дровами можно себя подсушить, да и малого погреть. Растет быстро, болтает все уже, дерется с бабой и дедом и тут же «любит» их, крепко обнимая.

Ошаров у меня есть, но Вам за книгу спасибо, у меня ведь сын и дочь собирают свои библиотеки. «Последний поклон» выйти должен в августе, была уже сверка. Как выйдет — немедленно пришло.

В Крыму, под дождь и слякоть обдумывал я будущую книгу о войне. Получается трилогия — Первая часть — запасной полк: — «Чертова яма», вторая — фронт, плацдарм: — «Бездна», третья — доблестная, послевоенная жизнь: «Веселый солдат» — весь роман остается с прежним названием: — «Прокляты и убиты» [1].

Работа огромная, всю я ее уже вижу насквозь, остается лишь набраться сил, покончить с текучкой и мелочами, да и садиться, благословясь, за работу. Боюсь я этой работы, но уж никуда мне от нее не деваться. 1-й том собрания сочинений сдают в производство, но что-то Валя Курбатов прислал отчаянное письмо с воплем: «Предисловие не получилось!» У него это бывает, часто посещает его распространенное у русаков состояние, название которому — самоуничтожение.

Дома пока все слава богу.

Я скребу «Затеси» и готовлюсь писать в деревне об А. Н. Макарове. Уже пора да, может, пьесу закончу до зимы, но больше буду думать и думать о будущем романе.

В сентябре поеду в родное село покупать избу, без нее мне в этой сырости романа не одолеть. Хоть на что, но надо ездить в Сибирь.

Поклон Фаине Васильевне.

Обнимаю —

Твой Виктор Петрович.

1. Роман «Прокляты и убиты» (1994), повесть «Веселый солдат» (1998).

* * *

14.Х(?).1978.

Дорогой Виктор Петрович!

Получил я от тебя письмо давно, а ответить до сих пор не собрался. И не то что не собрался, а вопросы у меня накопились и хотел я их на тебя «вывалить», а потом — хорошо, что сразу не написал — одумался: и так

много времени у тебя отобрал, да что это я к тебе с вопросами — надо исследованием заниматься. Вот и читал я твое письмо раза четыре — почитаю, почитаю и снова отложу: вопросы обуревали.

Так вот дошел я до последней главы, а потом прочитал все и решил: надо переписывать, тем более что «Сов. писатель» разрешил мне не торопиться. Сижу снова над первой главой, дописываю и переписываю. Конечно, дело теперь пойдет быстрее. Но все равно к последней главе ключа еще не подобрал.

Жажду получить «Последний поклон» в последней редакции — ведь я видел правленный текст и теперь ощущаю потребность в него заглянуть. Это уж от исследовательской страсти — знать все, если сие возможно.

Кроме всего прочего, в это лето у меня был аврал — готовил свою книгу объемом в 18 п. л. (на 1979 год) и очередной том «Лит. насл. Сибири» (Ядринцев). Это том в 50 п. л., и ты понимаешь, что значит такая рукопись. В этом же году подготовил рукопись «Воспоминаний о Вяч. Шишкове» (Сов. пис., 1979) и Вяч. Шишков о литературе и о себе (Сов. Россия, 1979). А это тоже около 25 п. л. А тут еще успел дважды поболеть...

А как я рад, что ты романом занят — это же отлично! А о Макарове непременно напишите. После его писем я иначе взглянул на него, на его работу и человеческие качества. Для меня он был талантливый критик несколько официозного направления (он умел смягчать грубую силу направления), теперь же он для меня фигура в нашей литературе трагическая... Словом, тема эта обширная и тут есть над чем подумать.

За Витю-малого рад — раз он хорошо растет и спуску дедушке и бабушке не дает. У меня внуку 11/X исполнилось 2 года, но жаль, я его давно уже не видел.

Всему твоему семейству, а особенно Марии Семёновне наш с Ф. В. поклон и привет. Горячо желаем всем здоровья и бодрости духа.

Посылаю тебе книгу М. Азадовского [1], тоже вышла по моей инициативе. Книга, по-моему, хорошая. Сейчас читаю корректуру своей книги «На переломе» — о писателях Барнаула, а главное — о забытом Гребенщикове. В 1979 г. выйдет, бог даст.

По газетам знаю, где бывал ты, а как самочувствие — хорошо бы узнать. Не устал, работаете ли? И прежде всего — как со здоровьем?

Обнимаю.

Твой Н. Яновский

1. Азадовский М. К. Статьи и письма. Незданное и забытое. — Новосибирск: Западно-Сибирское книжное издательство, 1978. Книга вышла с предисловием Н. Яновского.

* * *

31 октября.

Дорогой Николай Николаевич! Сперва с праздником осени тебя и Фаину Васильевну! Он, этот праздник, единственно тем хорош, что

хоть на время остановил эти разверзшиеся над нами хляби. Лихо, с мая! С мая почти без перерыва. Это ж надо довести до такого гнева всевышнего, он поливает, поливает, да градом, да бурей-ураганом, у меня до се в кабинете стекло выхлестнуто, а лесу повалило, а крышу посрывало!..

Сейчас подморозило и даже не верится, что, может быть, под ногами сухо, а над головой небо видно.

Я дважды был в Сибири. В Улан-Удэ, на секретариате и в <нрзб>, в сентябре в Овсянке 12 дней. Купил я себе домик в Овсянке, в родном переулке, против бабушкиного дома, чуть наискосок, рядом с домом брата дедушки, дяди Александра, жену которого и дом которого изобразил в «Поклоне» под видом несчастной Авдотьи. Дома у нас стоят бешено дорого, да что делать-то, чтобы роман написать, надо уединяться, прятаться, здесь уже работать невозможно, в городе, под окнами улица грохочет, в деревню стало невозможно попасть, дороги на Вологодчине рухнули, все размыто в грязь, реки уходят в зиму вышедшими из берегов. Сейчас Алёша, мой двоюродный братка, принимается делать маленький марфетный ремонт в избушке — (две комнаты, кухня, верандочка, двор) дом поставлен в 1965 году, ладен и крепок, мне на мой век хватит. Буду на лето уезжать, от телефонов и многолюдствия. Близость Москвы и Ленинграда, с одной стороны, благо, с другой...

Осенью мне удалось поработать. Дождь загнал в избу, в деревенскую. И хотя не было электричества (уронили столбы пьяным трактором), я писал много и как-то даже лихорадочно и сделал книгу об Александре Николаевиче [1] на 10 листов (половина листажа — его письма), но думаю, что и письма, и мои прибавления к ним убудут листов до пяти, уж больно все «не в кон», тому, что ждут от меня о покойнике и от него о самих себе и нашем дражайшем времени. А до этого написал пьесу и, кажется, на этот раз — путную. А «Черемуху», переработанную много, напечатали в 8-м номере журнала «Театр» и еще четыре новых коротких рассказа напечатал «Новый мир» в № 10 [2].

Есть уже верстка первого тома собрания сочинений. Вчера я состряпал второй и сегодня отослал в издательство. Завтра уберусь в деревню, добывать воспоминания об А. Н., которые встанут главным куском в книгу публицистики, и всю эту самую публицистику пересмотрю, разобью на части. Много чего накопилось. Жизнь-то идет, там квакнешь, там лептнешь чего-то, о ком-то или о чем-то черкаешь, а в кучу собралось — гляди-ко времяотражение своеобразное, часто нечаянное. Опасен все же наш брат-писака, хочет не хочет, а если думает и работает, выдает «с головой» и себя, и свою действительность, о которой можно сказать фразой героя моей новой пьесы: «Она (действительность) его за муки полюбила, а он ее за жопу укусил»...

Берут пьесу-то в Москве, Ленинграде, у нас. Такое барахло кажется по подмосткам, что и я сделался «рыбой». Но более нет у меня никаких «отвлекающих» замыслов, все вытесняет роман. Лишь «Затеси» искрят в башке. И вот, когда я расчищу все это впереду, что и засяду плотно за роман. Я уже его «вижу» почти наскрозь, т. е. основную магистраль

вижу, а по обочинам еще будто местами и впереди не все видно, но это дело времени и работы.

Да! Уже твердо знаю, что дали за «Рыбу» Гос. премию. Все радуются вокруг, а я в каком-то смущении внутреннем. Во-первых, все же, как ни крути, это покупка, во-вторых, перенесли Женю Носова на год, а он болен да, повращавшись среди секретарей, людей в большинстве своем самовлюбленных, проговоривших себя вещать в качестве лит. вождей «вечные» истины и жрать дармовую водку на разного рода «мероприятиях», боюсь, болезненно воспримет свое «ущимление», а мне не привыкать, я бы плюнул и растер. Кабы этот пустяк не испортил наших добрых, дружеских отношений.

Беда! Беда! И не знаешь, откуда и придет. Ну, что делать. Если нарушит это наши отношения, значит, они непрочные были...

За книгу Азадовского спасибо. И не забудьте потом вкупе с какой-либо другой прислать мне «Тают снега» — это единственный у меня экземпляр, ладно?

Домашние мои все Вам кланяются. Маленькому Витьку позавчера исполнилось 2,5 года, он уже говорит: «Я с дедой полечу в Сибиль на самолетике». Хороший, быстро развивающийся малыш, но временами бывает истеричен, видимо, сказываются ведра лекарств, влитые в него в раннем детстве.

Ну, обнимаю, целую Вас.

Ваш Виктор П.

1. «Зрячий посох» (опубликовано в 1988 г.).
2. «Черемуха». Драма в 2-х актах // Театр. — 1978. — № 8. Четыре коротких рассказа (Падение листа. Жизнь Трезора. Гемофилия. Древнее, вечное) // Новый мир. — 1978. — № 10.

* * *

8.XII.1978.

Новосибирск

Дорогой Виктор Петрович!

Не ответил тебе сразу на интереснейшее письмо и пожалел, потому что после ноября заболел и тут же «грянули» запущенные дела. Главное из них — сдача в набор IV тома «Лит. наследства Сибири». И по объему это много, и комментарий убийственный, т. к. речь идет о столетней давности. Нужны и знания и интуиция. У меня вспухла и дрожит голова. И закончил я эту работу лишь вчера, предстоит одна-две встречи с редактором, и том пойдет в набор. Конечно, не избежать разговора с гл. редактором (а он у нас бдит), но это будет касаться только одного вопроса — областничества и с чем его сегодня едят. В этом вопросе определенной договоренности у историков нет, потому мне легче говорить то, что хочу.

Меня очень обрадовало, что ты закончил воспоминания о А. Н. Макарове — с нетерпением буду ждать публикации, равно и того объединения статей, рецензий и интервью по литературе и искусству. По письмам А. Н. к тебе я убедился, что возникшая дружба его существенно поколебала, точнее, заставила подумать о многом том, о чем раньше он был уверен неколебимо. Это касалось по преимуществу общественных проблем и вопросов. А его тонкое эстетическое чутье, его знания литературы сразу заставят подумать о системе взглядов, «выстроенных» во времени, к тому же оно (объединение) имеет свойство самообогащаться. Статья, заметка порознь не то, что вместе, они дополняют друг друга. Потому я очень хочу видеть и читать эту твою книгу.

А где «Последний поклон» весь вместе? Книга разве не в этом году выходит?

Будучи нынче в Пицунде, я закончил «разговор» о «Царь-рыбе», но завершить работу так и не сумел — все лежит в самом первоизданном виде. Зато завершил первые четыре главы, а самая первая — «Начало» принята «Сиб. огнями» и сдана в набор для № 3 за 1979 год. Они ждут от меня и главу о «Царь-рыбе». Черт с ними! Дам, в конце концов, в «Сиб. огни» — это не вотчина Никульковых.

А моя статья о «Прощании с Матёрой», побывав в четырех органах печати, обрела наконец сторонников в журнале «Север» — в № 2 за 1979 г. В ее общественной части они опасаются цензуры, но хорошо то, что в корректуре все «огнеопасное» сохранили. (Да и ничего крамольного в статье нет — я пользовался сведениями из печати, только эмоционально их окрасил.) В Иркутске (товарищи из альманаха «Сибирь» — по их заданию я писал статью) сразу побежали со статьей в Обком, и он им «порекомендовал» не печатать, а гл. редактор альманаха не постеснялся мне об этом сообщить. В «Севере» поступили правильно: сами не стали выступать в роли цензоров и за помощью ни к кому не побежали.

В Евг. Носова я верю. Не будет же он поступать как В. Сапожников. А если будет, то знать об этом непереносимо больно.

А награде Вашей я рад — ты ее заслужил, а раз осознаешь — все-таки это покупка — то, значит, все нормально: как и прежде, «служить» будешь народу, людям честным и честно.

В свою книгу (на 1979 г.) я включил статью «Деятельное добро» в старой редакции. Теперь в ней много нового, и я ее исключил. И по договору не положено новое, в монографию предназначенное, печатать, потому заменил другими статьями.

Твои книги, которые я брал на время, освободились, но я как-то не рискую посылать их почтой. Но ты должен быть уверен, что я все, в том числе первые публикации, рецензии, непременно верну. Может, с оказией, может, на денек-два из Москвы заверну...

Марии Семёновне, всему семейству твоему поклон и привет.

Обнимаю.

Твой Н. Яновский

* * *

28.XII.1978.
Новосибирск

Дорогой Виктор Петрович!

Посылаю тебе небольшую книжицу, вышедшую в Барнауле и о барнаульских писателях [1]. Четыре года пролежала-провалилась она в издательствах, планировалась на 1977, 1978, 1979 годы поочередно, и вдруг выскочила в 1978 году. Чудеса да и только!

Переplet, конечно, никуда, а бумага хорошая. Очевидно, потому, что книга издана к 250-летию Барнаула. Для тебя в ней есть знакомые лица. Но некоторых я «восстановил» буквально по рукописям (предварительно их опубликовав). А о Г. Д. Гребенщикове впервые у нас с такой подробностью. 12 лет я собирал материалы (затеял для этой цели переписку с людьми из Франции, так и с людьми из США, в том числе и с самим Г. Д. и его женой, пока они были живы), 4 года очерк никто не печатал, хотя я его не раз предлагал сибирским органам печати, его год «изучали» в Комитете по делам печати. Считали, что я напрасно трудился, и вот — очерк увидел свет, и ты представляешь мою радость.

Конечно, Гребенщиков — не Бунин, не классик! Но все равно это наша культура, русская от основания, и от нее мы отказываться не будем.

Я ограничился только Сибирью, потому что, несмотря на усилия, не мог исчерпывающе собрать произведения Гребенщикова зарубежного периода, хотя они в шестидесятых годах дважды их высылали — и ничего не дошло... А в наших библиотеках всего, конечно, нет — никто не собирал специально всю эмигрантскую литературу.

Словом, с удовольствием посылаю тебе эту книгу.

Обнимаю

Твой Н. Яновский

1. «На переломе».

* * *

(На открытке, без даты.)

Дорогие Фаина Васильевна!

Николай Николаевич!

С Новым годом! Здоровья! Покоя! Работы по сердцу!

«Поклон» вышел в «Современнике», но я его еще не видел. Весь пойдет в библиотектор. Я постараюсь достать и прислать. Женя Носов написал мне письмо, успокоил. Все в порядке. Премию ему дадут в будущем году, об этом мне написали аж из Америки! А о Макарове надо Вам почитать в рукописи. Боюсь, что вещь эта не пройдет, а пройдет, так вся ошипанная.

Заезжайте! Зимой, кроме второй половины января и начала февраля (буду в Переделкино), я собираюсь сидеть дома, заработать право ехать на все лето в Сибирь отдыхать. Дома все живы-здоровы. Кроме деда — Петра Павловича.

Все Вам кланяются, а я обнимаю и целую.
Ваш — Виктор Петрович.

* * *

16.I.1979.
Новосибирск

Дорогой Виктор Петрович!

Открытку получил — спасибо за добрые пожелания. И успокоили вы меня, сообщив о хорошем письме Евг. Носова. А то, что его произведения отметят премией, и я несколько не сомневался.

Теперь два слова о делах, для меня неотложных.

«Советский писатель» я попросил изменить срок представления рукописи до 1/IV.79 г. Эту зиму я часто болел и был занят сдачей очередного тома «Лит. наследства», работы весьма трудоемкой.

Главу о «Последнем поклоне» я отложил, т. к. почувствовал, мне ее, повесть, надо видеть всю целиком и в окончательном на сегодня варианте (я же хорошо помню твои дополнения и изменения в рукописи).

Читая письма А. Н. Макарова, я немало выписал. Но ведь это одна сторона дела, другая ты сам в твоих отношениях с А. Н., поэтому, если есть пока лишний экз. рукописи, пришли, пожалуйста, и — всю, не только то, что связано с А. Н. Макаровым. Даже твой отбор выступлений по литературе чрезвычайно важен для монографиста. Выбраться к тебе был бы необыкновенно рад, но книгу-то дописать за эти два с половиной месяца надо обязательно. Написана она по существу вся, опоры ее выработаны, но надо еще раз пройтись по всему тексту и немало дополнить, как мне теперь, после перерыва, представляется.

Я слышал, что ты недавно интересно выступал на радио. Я об этом не знал, иначе непременно послушал бы. У тебя нет записи этого выступления?

Вот сколько у меня просьб и дополнительной мороки. Не связывайтесь с монографистами — надоедливый народ.

Рукопись книги я верну незамедлительно, когда прочту — ну максимум недельки на две. Но если не получится, ничего не поделаешь, тогда сообщите ее содержание (по названиям — ведь многие, если не все, твои выступления по литературе у меня есть).

Ну вот, кажется, и все.

Первая глава монографии «Начало» уже набрана в «Сиб. огнях», вчера я подписал корректуру. Набрана для № 3 [1], но вряд ли в третий номер попадет, как мне уже сообщили. Могу прислать рукопись и раньше. Но я хотел послать сразу всю книгу, как только ее закончу (теперь только в апреле).

А летом по дороге в свои края, может, к нам с Марией Семёновной заглянете? Летом, кстати, я никуда ныне не собираюсь. И такая встреча для нас была бы очень и очень желанной!

Марии Семёновне и всему твоему семейству от нас с Ф. В. пожелания здоровья и большой привет.

Как здоровье Петра Павловича?

Обнимаю

Твой Н. Яновский

1. Яновский Н. Начало. О раннем периоде жизни и творчества В. Астафьева // Сибирские огни. — 1979. — № 3.



Екатерина КРАСИЛЬНИКОВА

ПЛЯСКИ НА КОСТЯХ: РАЗРУШЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО НЕКРОПОЛЯ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ В ПАМЯТИ РАЗНЫХ ПОКОЛЕНИЙ

Старые кладбища, воспетые романтиками, — святые места для верующих, источники страшных сказок и мистических легенд. Не одно поколение поэтов искало вдохновения среди замшелых могильных плит, хранивших память о великом и трагическом. В начале прошлого века в России получила распространение некрополистика, оформившаяся в самостоятельную историческую дисциплину о старых кладбищах и надгробных надписях. Увлеченные искатели досконально обследовали места упокоений, копировали надгробные таблички, описывали виды некрополей, составляли объемные генеалогические справочники. Постепенно в науке сложилось понятие некрополя как сочетания захоронений (включая места, где уничтожены мемориальные памятники) и комплекса источников по истории их формирования и существования. История некрополя тесно сопрягается с проблемами коллективной памяти поколений и памяти о поколениях. Существующий некрополь отражает характер поколения, но и память о некрополе характеризует поколение — его способность оглянуться в прошлое, быть терпимым и благодарным.

Мое увлечение некрополистикой длится уже около десяти лет. Неудивительно, что этот мой интерес разделяют немногие. Сибиряков мало волнует история старых городских кладбищ (исключение составляет Томск). Да и может ли быть по-другому там, где не сохранилось тихих монастырских погостов, поросших вековым мхом, каменных плит на могилах генералов царской армии и юных княжон? Исторический некрополь сибирских городов сравнительно беден и слабо осмыслен в ценностном ключе. Однако его «возвращение» новым поколениям сибиряков для восстановления связи с ушедшими поколениями — важная духовно-нравственная задача.

В 2008 г. мне удалось представить на суд широкой читательской аудитории научно-популярную краеведческую работу под заголовком «Божья нива», посвященную истории старых, ныне уничтоженных кладбищ Новосибирска. В 2009 г. это исследование было опубликовано издательским домом «Сибирская горница», специализирующимся на краеведческой литературе, под одной обложкой с другим произведением «Погосты, кладбища, братские могилы...», принадлежащим перу краеведа М. И. Корсаковой. Вышедшую книгу назвали



«Новосибирский некрополь». Эта книга имела мало общего со справочными изданиями, подготовленными в традициях российской некрополистики. Появление «Некрополя» в формате научно-популярной книги было обусловлено тем, что некрополистика как направление краеведческих исследований до сих пор не получила в Новосибирске сколько-нибудь заметного развития; популярных книг или статей, посвященных рассказу о лицах, некогда упокоившихся в земле крупного сибирского мегаполиса, практически не существовало. Таким образом, наша книга послужила, прежде всего, привлечению общественного внимания к этой актуальной сфере краеведения.

В «Божьей ниве» в занимательной форме рассказывалось о создании и уничтожении новосибирских кладбищ, об отражении истории города, региона и страны на характере новосибирского некрополя; «восстанавливались» забытые новосибирцами имена, говорилось о заслугах и перипетиях судеб людей, живших и умерших в Новосибирске. На замысле книги сказался и возникший тогда у меня интерес к проблемам исторической памяти, мест памяти и политики памяти.

Дальнейшие исследования, посвященные истории некрополя городов Западной Сибири в период между Гражданской и Великой Отечественной войнами, вывели на новую проблему: отношение к старым городским кладбищам Западной Сибири и их сносу, выраженное представителями разных поколений. «Великий перелом» рубежа 1920—30-х гг., «Сталинская революция», помимо прочего был нацелен на формирование новых культурных ценностей в сознании молодого поколения. Именно поэтому источники отражают конфликт между «молодыми» и «старыми», имевшими разный опыт переживания исторических событий, разные круги общения и приоритеты и осознававшими эту разницу.

В этой статье я охарактеризую проблему оценки разрушения исторического некрополя представителями различных поколений в документальной прозе Сибири. Для этого предстоит кратко описать события, связанные с разрушением старых кладбищ западносибирских городов (20—50-е гг. XX в.); выявить оценки, сопряженные с описаниями разрушения старых кладбищ, существующие в автобиографических и мемуарных произведениях западносибирских авторов второй половины XX — начала XXI вв.; показать динамику этих оценок и ее зависимость от изменения исторических (социально-политических) контекстов в рамках обозначенного периода.

Судьба исторического некрополя городов — административных центров Западной Сибири советского времени драматична. В областных городах не сохранилось ни одного кладбища из тех, что функционировали до Великой Отечественной войны. В соответствии с советской политикой памяти большинство из них было уничтожено в 20—30-х гг. XX в., в 50—60-х гг. этот процесс завершился. Еще в мае 1924 г. в Новосибирске состоялся первый комсомольский субботник, участники которого разрушили старейшее в городе мемориальное Воскресенское кладбище, где покоились люди, имевшие высокий социальный статус до революции: дворяне, священнослужители, купцы, представители администрации. На месте разрушенного кладбища был основан сад, ставший позднее образцовым для города и региона парком культуры и отдыха.

В 1927 г. в Томске было закрыто кладбище женского Иоанно-Предтеченского монастыря, а в 1929 г. и кладбище мужского Алексеевского монастыря. Оба эти погоста являлись элитными и мемориальными. Здесь

покоились иерархи церкви, почетные граждане и дворяне, профессура Томского университета, деятели искусства, состоятельные предприниматели. В годы Гражданской войны здесь неоднократно хоронили колчаковцев, павших в боях с Красной армией. В 1928 г. в Томске официально закрыли «переполненное» Вознесенское кладбище, достопримечательное, прежде всего, участком, где покоились усопшие еще до революции купцы-благотворители, жертвовавшие деньги на строительство храмов, социальных и культурных учреждений. А в 1939 г. закрыли и Преображенское кладбище — менее престижное до революции, но примечательное могилами томских ученых, деятелей культуры, революционеров и подпольщиков, умерших уже в советское время. Томские кладбища «исчезали» постепенно, ветшая, покрываясь горами мусора, застраиваясь жилыми домами и заводскими корпусами.

В ноябре 1931 г. горсовет Барнаула постановил закрыть два старых кладбища: Нагорное и Крестовоздвиженское ввиду их переполнения и невозможности расширения. Было также принято постановление об организации ряда субботников для устройства на месте кладбищ садов и стадионов. Нагорное кладбище считалось более престижным. В его пределах покоились останки многих выдающихся людей: горных инженеров, просветителей, ученых, предпринимателей и священнослужителей. Исторический некрополь Барнаула уничтожался быстро и радикально. В 1935 г. дело дошло до устроенного городскими властями «вскрытия» склепов на Нагорном кладбище. Целью являлась «добыча» драгоценностей, принадлежавших когда-то умершим. Это, в сущности, мародерское мероприятие привлекло толпу зевак, которые помогали специальной комиссии сортировать «добытые для нужд государства» кольца, перстни, браслеты, кресты и даже золотые зубы. В предвоенные годы на месте старых кладбищ Барнаула был разбит парк культуры и создана местная ВДНХ.

В Омске после Гражданской войны функционировало два основных кладбища — Шепелевское и Казачье, имевшее значение мемориального. Уже в 1920-х гг. оба они пришли в запустение. Повсеместно наблюдались случаи вандализма. В 1935—1936 гг. горсоветом был поставлен вопрос о закрытии Казачьего кладбища в связи с планами местных властей построить на его территории новую больницу. Но лишь 15 августа 1941 г. исполнительный комитет Омского областного совета депутатов принял решение закрыть Шепелевское и Казачье кладбища. В итоге Казачье кладбище функционировало до 1942 г., Шепелевское также было закрыто в 40-х гг. (точная дата не установлена). Развалины исторического некрополя Омска исчезали долго. Сначала было разрушено и застроено Шепелевское кладбище, и лишь в 70-х гг. окончательно было стерто с лица земли Казачье.

Государство в этот период не заботилось о сохранении старых кладбищ. Вандализм в местах, где имелись людские захоронения, не признавался в те годы преступным. Старые элитные погосты не могли не раздражать местные советские органы власти социальным составом контингента лиц, некогда с большими почестями здесь погребенных. Уничтожая погосты, большевики продолжали «бить буржуев и попов». Разрушение некрополя классовых врагов являлось продолжением революционной борьбы, в которую включалась и молодежь с целью ее политической социализации. В 1930-х гг. лидеры государства идеологически ориентировались исключительно на будущие успехи развития страны. История воспринималась властью как «служанка идеологии», а живая коллективная память о предках — как препятствие к насаждению исторического нар-



ратива сталинского периода. Даже «революционный» некрополь (коммунистические кладбища 20-х — начала 30-х гг.), формированию которого уделялось пристальное внимание после Гражданской войны, уже утратил идеологическую актуальность. Теперь и он разрушался, поскольку носители власти считали, что несколько «правильно» сконструированных фигур памяти советских лидеров, усопших в последние годы (В. И. Ленин, С. М. Киров, Г. К. Орджоникидзе и пр.), заменят жителям провинциальных городов живую, изменчивую и несовершенную в идеологическом смысле память о предках и местных героях. Свою роль в дискредитации исторического некрополя, безусловно, сыграла и анти-религиозная пропаганда.

При этом нельзя признать уничтожение исторического некрополя абсолютно управляемым процессом. Свою роль в исчезновении старинных сибирских памятных мест сыграла хозяйственная разруха и модернизационные процессы — индустриализация и урбанизация, быстро менявшие привычную сибирякам городскую среду. Мемуаристами неоднократно обращалось внимание на то, что многие жители городов участвовали в разрушении старых кладбищ по инерции, бездумно становились участниками повсеместного бытового вандализма, неотделимого от бесхозяйственности и невежества.

Однако, как показывают источники мемуарного характера, многим сибирякам судьба исторического некрополя отнюдь не была безразлична. Одни сокрушали некрополь осознанно, из идейных соображений, другие пытались его защищать. Свидетелями «баталий» часто оказывались дети, что впоследствии становилось поводом для осмысления повзрослевшими детьми ценностных установок родителей и условий собственной нравственной социализации.

Пожалуй, впервые рефлексию над конфликтом поколений, сопряженную с воспоминаниями о разрушении кладбища, можно увидеть в автобиографическом романе новосибирского писателя и актера театра оперетты И. М. Лаврова «Мои бессонные ночи». Название произведения отражает его суть — мысли о сокровенном, неоднозначном и значимом в личном плане. Существенное внимание в романе уделено детству автора, выросшего в большой, но далеко не дружной семье: отношения между матерью и отцом всегда были сложными, между детьми также не во всем было взаимопонимание. Лавров не дает явной и развернутой оценки поколению родителей, однако их образы, представленные в романе, для автора типичны. Мать изображена как забитая труженица и страдальца из бедной семьи, вынужденно, по воле родителей, из-за нищеты вышедшая замуж за зажиточного пьяницу и дебошира. Описанием отцовской жестокости начинается глава о детстве, сюжетом о смерти и похоронах отца глава завершается. Таким образом, память автора о детстве целиком пронизана чувством тревоги и обидами на отца. Отец — ломовик, позже водовоз и легковой извозчик, неисправимо злой, в целом недалекий, но практичный человек. И. М. Лавров упоминает, что его отец был в годы Гражданской войны красноармейцем, однако изображает его человеком вечно недовольным, критично и недоверчиво относящимся к советской власти. Очевидно, что образы «старорежимных» родителей — противников всяких изменений и нововведений созданы автором не без влияния пропаганды времен его детства, очернявшей «мещанские ценности» и прошлое сибирских городов, изображавшееся в самых мрачных красках.

Красной линией через первую главу романа проходит тема противоречий между поколениями детей и родителей. Конфликт обычно возникает на почве

политической и религиозной. Даже много лет спустя автору присуще острое ощущение разрыва времен, разрушения связи между поколениями. Подростки 20-х гг., воспитывающиеся в советской школе, не желают жить как их родители. На уровне семейных отношений это проявляется в сопротивлении разнузданному дебоширству отца, которое мать предпочитает терпеть. Молодежь раздражает религиозность матери, лишь старший сын, который ее жалеет, защищает мать, признавая при этом ее неисправимость: «Пусть мать живет как хочет, она заслужила»; «Она родилась в другое время». Другие спорят о том, нужно ли ее «лечить» от «опиума религии». Рассказывая о своем возвращении в дом матери в зрелом возрасте, Лавров замечает: «Никакие революции, войны, мировые потрясения не смогли изменить мать». Только в последней главе автор переходит к рассуждению о поколении таких несчастных матерей, потерявших сыновей в годы войны. Религиозность матери он так и не принимает, а лишь сочувствует таким, как она.

В отце дети осуждают «замашки хозяина», не желают выслушивать ностальгические рассуждения отца и его собутыльников о «старой России». Отец в свою очередь высмеивает «кирпичи на Дом Ленина», в сборе которых участвуют его дети: «Управляют государством! Доуправлялись! Аж своему вождю не на что памятник поставить!» В романе дети пытаются рефлексировать над причинами родительской «темноты»: «Наверное, жизнь его сделала таким. Ну что он видел? Малограмотный, рос и жил среди ломовиков. Водка. Тяжелая работа. Большая семья...» Образ отца статичен, как и образ матери.

В качестве наиболее острого конфликта между поколениями в романе представлен сюжет о комсомольском воскреснике на месте старого кладбища. Это событие глубоко потрясло автора произведения. Много лет спустя он описал свои чувства: «Мне стало нехорошо. Я так чувствовал себя, когда видел вещий сон перед отцовским дебошем». Мальчик стал свидетелем того, как «весной комсомольцы решили переделать кладбище в парк». Распевая во все горло «Смело мы в бой пойдем за власть Советов!», вооруженные лопатами, они пришли на место старого погоста. Воскресенская церковь уже пострадала от их вторжения, крест был сброшен. Стоял солнечный майский день, «среди шумящих на ветру берез залягало железо, затрещало дерево, выворачивали кресты, памятники, оградки, стаскивали их в кучу». Пожилые люди, собравшиеся на кладбище, пытались предотвратить разорение погоста. И. М. Лавров воспроизводит словесную перепалку между защитниками кладбища и его погромщиками. Противники разрушения кладбища (интеллигенты и «старухи») зывали к совести, напоминали о божьей каре за разрушение святого места, называли комсомольцев «дикарями», забывшими о том, что в земле погоста лежат их «деды, которые возводили этот город».

Участники воскресника отвечали, что «было объявлено: “Кто хочет перенести родных на новое кладбище — переносите”, люди переносили, а здесь остались безнадзорные могилы». Формулировка «безнадзорные могилы» вызвала новую вспышку раздражения у «стариков», которые, как и комсомольцы, перешли от разумных аргументов к взаимным оскорблениям. Разрушителей лишь раззадорили крики защитников некрополя: «Мелькали лопаты, сравнивая холмики, громко звучали топоры и пилы, с треском и шумом валились березы — прорубали аллеи...»

В романе И. М. Лавров не занимает ничью сторону в конфликте, не осуждает молодежь, не поддерживает стариков. Он не берется делать выводы о том,



нужно ли было сносить старое кладбище. Сюжет с разрушенным погостом выступает для него олицетворением духа времени, по которому автор испытывает ностальгию, но одновременно его мучают тяжелые, крайне неприятные воспоминания о том периоде.

Роман Лаврова свидетельствует о том, что к теме разрушения кладбища и молодежь и родители неоднократно возвращались в спорах. Очевидно и то, что у жителей города оставалось много сомнений в правильности устройства сада «на костях». Одна из героинь романа комсомолка Сашка Сокол, утверждавшая, что «безнадзорные» могилы никому не нужны, спорила с матерью автора о том, нужно ли сносить церкви и разрушать кладбища. Девушка даже сочинила стихи:

*На часовенке нет креста,
Колокол сняли давно,
Часовня косая пуста,
В выбитых окнах темно.*

*И где мужиков крестили,
Где в старину венчали,
Там в шапках они курили,
На пыльную паперть плевали.*

*На кладбище скрыты могилы,
Гулянье в саду до утра...*

Мать пыталась спорить, но в итоге предпочла не возражать подросткам, максималистски отстаивавшим свою позицию.

В 1991 г. была опубликована книга историка и краеведа В. Д. Славнина «Томск сокровенный», подготовленная в перестроечное время. Это произведение мемуарно-краеведческого характера. Славнин родился на Алтае и вырос в Томске. Именно этапы личного «погружения» автора в томскую старину и осознания ее ценности и есть основная тема произведения. Книга по замыслу автора должна была стать альтернативой стандартной советской краеведческой литературе, пропитанной идеологическим пафосом. С первых страниц он обвиняет советскую историческую науку в «социальной инерции», «свинцовом идеологизме» и «черно-белом мышлении». Уже в самом начале автор заявляет: «Пришла пора спросить себя: часто ли вспоминаем мы, что полноправными членами человечества являются все без исключения поколения людей — и мы, и прежде жившие, и грядущие, независимо от классов и сословий? <...> Очень мы обязаны предкам нашим. Неприлично нам не ведать об их деяниях, пренебрегать их достижениями, радостью и горем. Попросту скучно, неинтересно жить без такого знания. А если знание это одновариантно, то не скучно — страшно». Уже эта заявка свидетельствует о том, что тема поколений будет неоднократно затронута в книге. Автор исходит из убеждения, согласно которому память и постижение традиции, укорененной в семье, спасает человека от культурной маргинализации и дезориентации. Этой мысли соответствует вывод: «Мой Томск — это город, увиденный триединым взором деда, отца, моим собственным». «Мне повезло, — заключает автор, — сызмальства формировали во мне глубокую привязанность к Сибири вообще и к Западной — в особенности».

Главные герои книги Славнина — представители томской интеллигенции двух поколений, границы которых четко не обрисованы. Его дед и отец не сливаются с общей массой своих ровесников, в значительной степени сохраняя верность ценностям поколения дореволюционной томской интеллигенции, прежде всего университетской. Отец, как и А. А. Адрианов (сын областника и краеведа А. В. Адрианова), старающийся сохранить преемственность поколений, противостоит своим ровесникам, отвергающим ценность памяти об интеллигенции дореволюционного периода и 1920-х гг.

Уже в первой главе упоминается разрушенное Преображенское кладбище, где в 1931 г. было предано земле тело биолога, профессора ТГУ П. Н. Крылова. Воспоминание о могиле Крылова, перенесенной с Преображенского кладбища благодаря инициативе его ученицы Л. П. Сергиевской, приводит автора к рассуждению о невозможной утрате важного для Томска памятного места, которое могло бы подтверждать «славу Томска и его авторитет»: «Подумалось: если бы не высокая духовная связь Ученика и Учителя, под каким фундаментом, под какой мостовой упряталась бы память о Порфирии Никитиче? Ведь Преображенское кладбище, принявшее его тело в тридцать первом, полностью застроено серыми “хрущевками” и заводскими корпусами. Как все же не повезло В. В. Сапожникову, похороненному там же». Для Славнина посещение могилы тождественно посещению человека, разрушение могилы — утрате памяти, в которой продолжается жизнь после смерти. С сюжета о могиле П. Н. Крылова начинается характеристика поколения старой томской интеллигенции, ставшей свидетельницей революции. Описание характеров людей, знакомых В. Д. Славнину благодаря его деду, музейному хранителю, для автора является способом компенсации утраты памяти — процесса, в котором разрушение некрополя выступает в качестве одного из главных звеньев. Для томской интеллигенции поколения деда В. Д. Славнин выбирает такие характеристики, как преданность делу, самоотверженность, скромность, деликатность и честность; в их образе жизни отмечает бытовой аскетизм и подвижничество, «нечто жертвенное, народническое: положить душу на алтарь добра, науки, просвещения».

В. Д. Славнин вспоминает, что его отец вскоре после возвращения в 1952 г. из длительной и неудачной экспедиции решил посетить старое, уже закрытое Преображенское кладбище, надеясь отыскать могилы деда и бабушки. Поход на кладбище предписывала старая русская традиция. Даже атеист В. И. Ульянов (Ленин), вернувшись из эмиграции, отправился первым делом на могилы матери и сестры Ольги. Картина старого кладбища представляла, по словам автора, «мерзость запустения». Увиденное довело отца В. Д. Славнина до слез и обострения болезни.

Не только Славнины посещали закрытое кладбище. Аналогичный печальный опыт имел, к примеру, также А. А. Адрианов, вернувшийся из лагеря: «Первым побуждением Адрианова было поклониться родным могилам, у которых он не был с 1935 года, оказалось — нечему...» Вспоминая о могиле ректора ТГУ профессора В. В. Сапожникова (ум. в 1924 г.), автор сообщает, что его отец задался целью отыскать и спасти могилы выдающихся томичей от уничтожения. Автор вменяет в вину своим современникам разрушение могил известных врачей В. Н. Савина и А. А. Кулябко, а также В. Ф. Обнорского — пионера рабочего движения, упокоившихся на Преображенском кладбище. По воспоминаниям В. Д. Славнина, его отец особенно негодовал из-за утраты



могилы революционера И. Е. Кононова: «Большевики пошли! От, большевики! Ясное море! Обнорского застроили, Кононова забыли! Ладно, там — “бывшие”! А тут своих... Ну народ, яз-зви-то их!»

Славнины обследовали также разрушенное кладбище Алексеевского мужского монастыря, где, в частности, покоились останки Г. Н. Потанина. Спасение могилы Г. Н. Потанина, с которым семья Славниных была близко знакома еще до революции, стало для Д. П. Славнина делом чести. Ему удалось добиться перезахоронения останков знаменитого ученого и публициста в Университетской роще. Подробно останавливаясь на «потанинской эпопее», В. Д. Славнин критикует советскую историографию, посвященную областничеству, и призывает новое поколение историков переоценить его вклад в культурное и социально-политическое развитие Сибири.

Помимо кладбищ, закрытых в советское время, В. Д. Славнин обращается к теме старинных томских кладбищ XVII—XIX вв., застроенных и забытых еще до революции: «Вот и выходит, что старинные приходские кладбища — тоже часть живой истории Томска. В прямом и переносном смыслах город стоит на костях первых русских воинов. Им мы обязаны тем, что обитаем на семи холмах над Томью. И мы же вершим надругательство над прахом их, выворачивая из котлованов, разбрасывая кости и глумясь над пробитыми черепами». Эти кладбища автор открыл для себя в юности, занимаясь археологией вместе с отцом и неоднократно удивляясь мародерству местных жителей, беззастенчиво рывшихся в откопанных строителями старинных колодах. Славнин свидетельствует о тщетных попытках А. А. Адрианова добиться перезахоронения человеческих останков, найденных при строительных работах. Все эти случаи становятся для автора причиной обвинить поколение своих современников в неблагодарности, которая, по его мнению, не была столь характерна для предыдущего поколения. Упрек звучит не только в адрес обывателей, но также в адрес местных властей и музейщиков, на совести которых, по мнению Славнина, была, в частности, «загубленная» в музейном подвале женская мумия XVII века, которую «уничтожили жара и потоки горячей воды с нечистотами из канализации». Автор считает, что мостовщики XVII—XVIII вв. «были людьми совестливыми и богобоязненными», поэтому они перезахоранивали найденные случайно чужие останки, чего точно нельзя сказать о строителях 1950—1960-х гг. В итоге следует жесткое заключение: «Нет, дьявольский план Сталина сработал безошибочно: лиши народ памяти, предков, национальности — уйдет и нравственность; потом делай что хочешь, управляй как вздумается. И началось все с церковью, кладбищ, народных обычаев, объявленных пережитками прошлого». Таким образом, в «Томске сокровенном» проведена четкая грань между поколением томичей, морально сформировавшимся до революции и остававшимся творчески и социально активным вплоть до «великого перелома», и поколением 30-х гг., преимущественно забывшим прежние ценности. На этот поколенческий разрыв В. Д. Славнин смотрит с разочарованием и пессимизмом.

Еще одна популярная книга «Мой Томск», в которой затронут вопрос уничтожения томских кладбищ, принадлежит журналисту С. П. Привалихиной. Истории томских кладбищ, изложенной в популярной форме, посвящена отдельная глава. Работа не является автобиографической. Однако автор очень эмоционально оценивает историю томского некрополя, во многом повторяя оценки В. Д. Славнина. Софья Привалихина резко критично оценивает разрушение старых кладбищ, упрекая в этом своих современников и несколько идеализи-

руя поколение томской интеллигенции, чьи могилы были уничтожены в 30-х гг. «Обидно, что были уничтожены могилы лучших и достойнейших людей Томска. Обидно за Курлова — основоположника сибирской терапевтической школы..., за Салищева — хирурга, делавшего уникальные операции..., за Лыгина, сотворившего исторический центр Сибирских Афин... Но почему-то больше всего за П. П. Нарановича, выстроившего здание университета, первого за Уралом и девятого в Российской империи. Не забываем повторять о первом университетском городе в Сибири, о Сибирских Афинах, а имя ушедшего в 40 лет П. П. Нарановича остается как бы ни при чем. В стороне. Ни памятника. Ни могилы. <...> Хотя “воздали” ему ни больше ни меньше других, покоившихся на профессорском кладбище Иоанно-Предтеченского женского монастыря».

На рубеже XX и XXI вв. в городах Западной Сибири было опубликовано несколько сборников воспоминаний старожилов, посвященных их родным городам. В контексте данного исследования представляют интерес воспоминания А. Тростоневского из сборника «Мой Новосибирск. Книга воспоминаний». В этом кратком автобиографическом рассказе тема разрушения кладбища раскрывается в одном абзаце, но картина разрушения Воскресенского погоста представлена выразительно: «Помню, как я ходил с отцом на воскресник по сносу старого кладбища (теперь на его месте Центральный парк и стадион “Спартак”). Рабочие сворачивают с могил памятники и надгробия, а оркестр наяривает “Марш энтузиастов”, заглушаемый криками “Антихристы!” и проклятиями пожилых людей». Здесь вновь отражен конфликт между поколениями, однако, как и в романе И. М. Лаврова, не дается моральной оценки событию и поколениям. Этот сюжет представлен в контексте тезиса «Тридцатые годы — время преобразования города», в контексте описания советских строек, делавших город другим.

Тема сноса и разорения старых кладбищ представлена и в воспоминаниях барнаульцев, опубликованных в сборниках 2005 и 2007 гг. Из восемнадцати рассказчиков пятеро вспоминают старые кладбища. Многие мемуаристы упоминают о создании парков на месте кладбищ, не давая этому никакой моральной оценки. Так, А. Ф. Кравцова рассказывает: «В 40-е понадобилось превратить кладбище в парк культуры и отдыха. Снесли памятники, вырыли котлован для озера, устроили аттракционы. Местная детвора мечтала обзавестись, да и обзаводилась черепами, костями». Старое Нагорное кладбище фигурирует в воспоминаниях как место семейной памяти стариков. К примеру, Т. И. Славнина рассказывает: «В 1956 году в нынешнем Нагорном парке открыли ВДНХ Алтайского края. До 1956 года там находилось заброшенное Нагорное кладбище. В детстве дед водил нас туда гулять. Помню могильные плиты, памятник Н. М. Ядринцеву. В 50-е гг. барнаульцы приходили туда помянуть своих близких». Однако этот же автор сообщает, что молодежь с удовольствием проводила время в парке, не обращая особенного внимания на то, что обвал земли на обрыве открывал «старые гробы, человеческие кости, черепа и волосы». Из воспоминаний следует, что для разных поколений место старого Нагорного кладбища имело разное значение. Однако и в этом тексте нет моральной оценки ситуации. Отсутствует оценка события и в воспоминаниях Г. А. Чайкина, который подробно рассказывает о «вскрытии» Нагорного кладбища летом 1935 г. Этот сюжет соседствует с описанием снятия креста с храма. И в обоих сюжетах уделяется внимание реакции местных жителей: детей и молодежи. «Могилы так и оставались незакрытыми, а после ухода комиссии работу продолжала ребятня.



Мальчишки вынимали из могил кости и черепа, которые потом валялись повсюду, не только на кладбище, но и на улицах». При снятии же креста «было много желающих дернуть за веревку». Другой мемуарист, Д. Г. Паротиков, описывающий это же событие снятия креста, сообщает о реакции взрослых: «Все молчали. Кто-то в толпе крестился, а кто-то стоял, угрюмо глядя в землю».

Возможно, будучи зависимыми от заданного формата сборника и задания редактора, его авторы воздерживаются от оценок. Некоторые мемуаристы выражают совершенно спокойное отношение к устройству парков на месте погостов, воспринимая эту ситуацию как данность. Однако есть и оговорка: «Мы не понимали тогда, что парк находится на кладбище». Один из рассказчиков зафиксировал все-таки свое недоумение: «Парк меланжевого комбината — это бывшее кладбище. В 1942 году его открывали и я туда пошел. Я знал, что там было кладбище. Мне было интересно посмотреть. Там работала танцплощадка, играл духовой оркестр, но я пошел дальше. И вот я увидел могилки, еще не заглаженные, не заасфальтированные. Пошел в сторону стадиона “Красное знамя”, а там большая куча каменных крестов. И я не понимал: вот здесь кресты, а там танцуют и веселятся». Из источников, приведенных в этом сборнике, следует, что поколением, выросшим в межвоенные годы, старые кладбища воспринимались как памятные места стариков, утрачивавшие это значение для молодежи. Таким образом, вновь в мемуарах 2000-х гг. намечается тема разрыва между поколениями, прежде всего в ценностном смысле.

По всей видимости, разрушение старых кладбищ воспринималось жителями городов Западной Сибири с эмоциональной остротой. Однако по идеологическим причинам в документальной прозе эта тема зазвучала не сразу, длительное время оставаясь достоянием устного нарратива. Долгое время в Сибири публиковалась мемуаристика, заострявшая внимание преимущественно на военно-революционной героике. Однако для более раскрепощенной документальной литературы 60—70-х гг. становится возможной актуализация поколенческой тематики в психологическом контексте и в контексте ностальгии. Оценивая отношения поколений, И. М. Лавров выбирает остросюжетные примеры, «выносит сор из избы», говоря о драках между отцом и сыновьями, задевает «больное», воспроизводя скандал на кладбище. Однако в своих неявных оценках автор остается верным советским идеологическим установкам. Произведение В. Д. Славина, содержащее многочисленные обвинения и критические суждения о нравственном облике поколений советского периода, также отвечает социально-политическим контекстам перестроечного времени, когда началась официальная реабилитация жертв сталинского террора, повсеместно зазвучали демократические идеи, активно возрождалась православная церковь. Вообще, в западносибирской периодической печати неоднократно публиковались статьи краеведов, заострявших внимание на осквернении старых кладбищ, упрекавших местных жителей в «беспамятстве». В этом контексте становится понятной риторика журналиста С. П. Привалихиной. Однако волна обличений и громогласных упреков в адрес советской эпохи и целых поколений схлынула уже к концу 1990-х гг. Поэтому, вероятно, в мемуарах 2000-х годов однозначные оценки и упреки исчезают, остается лишь констатация фактов и ностальгическое настроение.

Сегодня в городах Западной Сибири разное отношение к историческим кладбищам. В Барнауле на месте старого Нагорного кладбища, «перестроенного» в советский период в местную ВДНХ и разрушенного в 90-х гг., навели по-

рядок, восстановили несколько надгробий выдающихся барнаульцев, поставили поклонный крест и памятный камень, обозначающий, что это место не просто заброшенный парк, а старейшее памятное место города. Барнаульцы не тронули памятник Ленину — напоминание о некогда существовавшей здесь Выставке достижений народного хозяйства Алтайского края. Омичи разбили на месте мемориального Казачьего кладбища сад — своеобразный музей под открытым небом, где выставили уцелевшие надгробия, построили храм, напоминающий верующим, что кладбище, пусть и оскверненное, — это святое место. Думается, что аналогичных инициатив явно недостает Новосибирску, где «пляски на костях» продолжают, а память о поколении «первожителёй» города слаба. Возможно, появление памятных знаков в Центральном парке и Березовой роще могло бы дать пищу для размышлений писателям и краеведам нового поколения и помочь нашим землякам сделать шаг к восстановлению разорванной связи между предками и потомками.

Литература

Барнаул в воспоминаниях старожилов. XX в.: в 2-х частях / отв. ред. Л. М. Дмитриева. — Барнаул: Изд-во Алтайского гос. ун-та, 2005—2007.

Красильникова Е. И. Исторический некрополь Барнаула: преемственность традиций и политика памяти советской власти (конец 1919 — начало 1941 года) // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. — 2013. — № 1. — С. 109—112.

Красильникова Е. И. Кладбища Томска как места памяти жителей города (конец 1919 — первая половина 1941 г.) // Вестник Томского государственного университета. — 2012. — С. 115—122.

Красильникова Е. И. Исторический некрополь Новосибирска: преемственность традиций и политика памяти советской власти (конец 1919 — начало 1941 г.) // Вестник Томского государственного университета. — 2014. — № 380. — С. 80—91.

Красильникова Е. И. Казачье кладбище в Омске: преемственность традиций и советская политика памяти (конец 1919 — начало 1941 г.) // Вестник Кемеровского государственного университета. — 2014. — № 4, т. 1. — С. 44—49.

Лавров И. М. Мои бессонные ночи: роман-воспоминание. — Новосибирск: Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1977. — 688 с.

Мой Новосибирск: книга воспоминаний / сост. Т. И. Иванова. — Новосибирск, 1999. — 363 с.

Новосибирский некрополь. — Новосибирск: ИД «Сибирская горница», 2009. — С. 12—150.

Омский некрополь. Исчезнувшие кладбища / сост. И. Е. Бродский, Л. И. Огородникова. — Омск, 2005. — 232 с.

Привалихина С. В. Мой Томск. — Томск: Изд-во Томского гос. ун-та, 1999. — 188 с.

Славнин В. Д. Томск сокровенный. — Томск: Томское кн. изд-во, 1991. — 328 с.

Томский некрополь. Списки и некрологи погребенных на старых томских кладбищах (1827—1939 гг.) / отв. ред. Н. М. Дмитриенко. — Томск: Изд-во Томского гос. ун-та, 2001. — 328 с.

Станислав СЕКРЕТОВ

ХОРОШО ТАМ, ГДЕ НАС НЕТ

О романе Олега Ермакова «С той стороны дерева»

Озеро Байкал по праву называют сердцем Сибири. Величественное «сибирское море» обладает некой таинственной силой, притягивающей к себе. О нем писали и пишут как советские классики, так и современные прозаики. Теме пути на великое озеро и попыткам приблизиться к его загадкам посвящены произведения разных авторов. К примеру, герой недавней книги Елены Крюковой «Тибетское Евангелие» безумный старик Василий-Исса идет к священному Байкалу и растворяется в нем.

Главный герой романа Олега Ермакова «С той стороны дерева» семнадцатилетний Олег Шустов с детства стремился сбежать на Байкал и стать лесником. Первая неудачная попытка случилась в девятом классе, а после окончания школы мечта полностью осуществилась: центральный персонаж книги вместе с давним другом Валеркой приехал в один из прибайкальских заповедников и стал сперва рабочим, а впоследствии и лесником.

Почти каждому в подростковом возрасте хотя бы раз приходила в голову мысль уйти из дома и начать новую, уже взрослую, самостоятельную жизнь вдали от родителей. Многие, начитавшись приключенческой литературы, принимались мечтать о необитаемых островах и

строить большие планы. Были и те, кто доводил свои фантазии до реального побега. Но после одного или нескольких дней путешествия выяснялось, что градус романтики понижается, а уровень всевозможных тягот, напротив, растет. Словом, надо возвращаться. Наконец, поступив в вузы, все практически единодушно решали, что взрослая жизнь теперь уж точно началась...

Если мы познакомимся с историей жизни писателя, то обнаружим, что в романе сильны автобиографические мотивы: когда Олегу Ермакову было семнадцать, он действительно какое-то время работал лесником на Байкале. Байкал становится своего рода магнитом, притягивающим искателей счастья и свободы из разных уголков страны. Олег — единственный персонаж книги, приехавший сюда в поисках неведомых чувств. Прожив на Байкале почти год и узнав о судьбах остальных людей, трудившихся в заповеднике, он понимает, что «здесь все похоже», все «бегуны» — эскаписты, люди, сбежавшие от обычной жизни.

Всех заставила пуститься в дорогу старая поговорка — хорошо там, где нас нет. На том берегу озера всегда все иначе, с другой стороны дерева творится что-то мистическое. В объяснение названия книги автор рассказывает легенду о Сифе.

«В царстве пресвитера Иоанна (о котором грезил средневековые путешественники) было дерево Сиф. Попавших к нему путешественников Иоанн предостерегал обходить дерево “с другой стороны”. Но один из них был уже стар и решил обойти именно “с другой стороны”. Путники замерли. А он в восхищении позвал их за собой, но те предпочли уйти побыстрее прочь. Они вернулись на родину. А старик там, за деревом Сиф, исчез навсегда».

Хочешь жить, как заведено предками, — живи по правилам, хочешь узнать затаенное — обойди дерево с другой стороны и выясни, что на том берегу.

Таким образом, перед нами роман о познании в философском смысле этого слова.

Впрочем, познание можно рассматривать и в бытовом смысле. Главный герой попадает в такие ситуации, с которыми в родном Смоленске мог бы никогда и не столкнуться. Медведь задрал теленка и ободрал бок корове; ребята едва не погибли, заплутав в лесных дебрях; молодому парню Роману до кости раздробило голень, когда вытаскивали севший на мель катер... Возможно, простые случайности, возможно, мистика. Местная мифология говорит: обидел природу, не проявил уважения к Хозяину — получи наказание. У природы свои правила, но найти с ней общий язык можно. Так, эвенк Мишка Мальчакитов, встретившись в тайге с медведем, сумел с ним «договориться», и зверь ушел в сторону. Тот же Мишка рассказал Олегу сказку:

«Молодая ругнулась на огонь, и во всем стойбище не стало огня, а мужики на промысле. В какое жилище баба ни пойдет, сразу огонь тухнет. Но одна старуха узнала, чё... да как, мол, сругнулась на огонь из-за ребенка, ему искра на щеку попала, а, говорит, теперь надо мальчика от-

дать бабушке — хозяйке огня... И отдали, сразу огонь во все стойбище вернулся».

Познает наш герой и неизведанные любовные чувства. Каждая девушка вызывает прилив удивительных эмоций в душе Олега. Сразу хочется привести себя в порядок, выглядеть лучше, чтобы на тебя обратили внимание. Но все девушки быстро исчезали, так что тема любви в романе, не успев разгореться как следует, тут же гаснет.

Удивительно, но, осуществив байкальские мечты, персонажи книги не успокаиваются и не сидят на месте. То и дело кто-то приезжает, а кто-то уезжает — роман наполняется десятками эпизодических героев: поучаствовали в маленькой сценке — ушли на второй план или навсегда исчезли. Казалось бы, атмосфера заповедника должна быть спокойной и размеренной, однако персонажи находятся в постоянном движении. Олег Шустов и сам срывается в Улан-Удэ, откуда открывается масса путей в любую сторону света. Но все же герой возвращается обратно к Байкалу. Его новая соседка Кристина, с которой вроде начинают вырисовываться отношения, внезапно уезжает, и к ее возвращению никаких предпосылок нет. Друг Валерка, тоже с детства стремившийся на Байкал, в какой-то момент просто решает отправиться домой в Смоленск — погулять перед армией.

В общем, все беглецы от мира, приехавшие в заповедник в поисках чего-то иного, обнаруживают, что, хотя здесь категории времени и пространства смещены, люди, по сути, те же самые. Все ищут собственной выгоды, плетут интриги, устраивают провокации. И вместо того, чтобы стать ближе к природе, лишь отдаляются от нее.

О том, чтобы как-то переломить ситуацию, главный герой даже не помышляет. Он отчасти уходит в себя. Погружается в мир литературы: Еври-

пид, Древняя Греция... Он размышляет, проводит параллели, а библиотечные книги оживают и стародавние времена уже начинают восприниматься в качестве иных берегов:

«Но я вдруг со всей отчетливостью понял, нет, не понял, это просто коснулось меня, пробрало дрожью — знание жизни на меловых берегах Средиземного моря. Это все было правдой: топот ног по сходням триер, бляение жертвенных овов, витийства поэтов, чаша цикуты и прогулки философов в тени роцц. И в этой тьме, озаренной на другом берегу веков, в какой-то лачуге на топчане, укрытом бараньей шкурой, лежал некий юнец, вперив взгляд темных глаз — прямо в меня. Я ощутил силу этого взора, этой дуги».

Наш герой начинает сочинять разные истории, записывая их в тетрадку. Поначалу Олег решает, что мир «интереснее любых книжек», и сжигает написанное, но впоследствии с сочинением нового произведения юному леснику уже «мир слов казался ярче, чем мир за моим окном». Если считать книгу автобиографической, то выходит, что именно в прибайкальских лесах Олег Ермаков решил стать писателем.

Финал у романа открытый: мы не знаем, когда и при каких условиях герой покинул заповедник. Может, напрямую отправился в армию, может, успел еще куда-то съездить, может, ему удалось побывать на том берегу и «с другой стороны дерева».



Светлана ГОЛИКОВА

«РЫБАЧИЙ БЕРЕГ» НАТАЛЬИ НАГОРСКОЙ

Наталья Николаевна Нагорская (1894 или 1895 — 1983) — график, этнограф. Училась в Киевском художественном училище у О. Ионасона, А. П. Праховой, Ф. Г. Кричевского (1913—1917); в студии А. А. Экстер в Киеве; во ВХУТЕМАСе у А. А. Осмёркина, В. А. Фаворского, П. Я. Павлинова (1921—1924). Жила в Новосибирске в 1924—1980 гг. Член-учредитель и секретарь правления общества художников «Новая Сибирь» (с 1926); член Союза советских художников (с 1932). В 1925—1930 гг. работала в Новосибирском краеведческом музее. Была внештатным сотрудником Сибкрайиздата, художником-оформителем в Ленинградской филармонии, эвакуированной в годы войны в Новосибирск, инструктором изобразительного искусства в Областном Доме народного творчества. Участница I Всесибирской выставки живописи, графики, скульптуры и архитектуры в Новосибирске, Омске, Томске, Красноярске, Иркутске (1927); западносибирских краевых художественных выставок в Новосибирске (1933, 1934); областной художественной выставки в Новосибирске (1940).

Весной 1925 года Наталья Николаевна Нагорская, незадолго до того приехавшая в Новониколаевск после завершения учебы в московском ВХУТЕМАСе, приняла приглашение участвовать в этнографической экспедиции по Нарымскому краю. Эта поездка положила начало будущему сотрудничеству художницы с городским краеведческим музеем и стала ее первым путешествием по Сибири.

Работая в исследовательских экспедициях, Н. Н. Нагорская следовала своему увлечению народными художественными ремеслами, возникшему еще в юности, в Киеве. «С Киевским музеем и кустарным магазином — дружила, — вспоминала она. — Делала эскизы росписей для ку-

старного магазина, узоры (типа украинских вышивок) для подушек, расписывала деревянные яйца (использовала узоры со старых ситцев)». В Сибири, становясь художником-этнографом, выполняя зарисовки остяцких и хакасских орнаментов, делая натурные бытовые наброски на Алтае, изучая гончарный промысел в районе Кольвани, Наталья Николаевна присоединялась к широкому кругу авторов, проявлявших активный интерес к местному традиционному искусству и стремившихся к созданию профессионального «сибирского стиля». И все же, осознанно входя в этот круг, Нагорская оказывалась непохожей на других. Ее творческие работы середины 1920-х годов очень дале-

ки и от реалистически точного воспроизведения повседневной жизни коренных обитателей края, и от стилизации мотивов изобразительного фольклора. Первые сибирские впечатления Нагорской выражены совершенно иным художественным языком, продиктованным ее принадлежностью к московской школе ксилографов и ее творческим темпераментом. Яркий пример этому — исполненная в 1925 году гравюра «Нарым. Рыбачий берег».

Для этой композиции избрана простая тема: домики рыбаков на высоком речном берегу и холмистый пейзаж в глубине. Уходящие вдаль холмы пустыньны, и все приметы человеческой жизни — старые бревенчатые избы, растянутые для просушки рыболовные сети и лежащие возле них лодки — сосредоточены на самом краю берега, у границы земли и воды. Акцентируя мотив пограничности, грани, встречаясь на которой предметы и природные стихии предстают во всей полноте присущих им свойств, в единстве и противоборстве, Нагорская уверенно и точно использует образные возможности гравюры на дереве. Для воплощения своего замысла она обращается к технике, побуждающей художника к лаконичности, к отказу от несущественных подробностей, позволяющей достигать высокого пластического и эмоционального напряжения. Вслед за своим учителем В. А. Фаворским стремясь «к цельности, к сложной простоте», Н. Н. Нагорская обобщает конкретные наблюдения, сделанные ею в нарымской экспедиции, и создает произведение, исполненное подлинной драматичности.

Определяющей среди изобразительных средств, примененных в «Рыбачьем берегу», становится контрастность. Статичность берега, показанного большим силуэтным пятном в центре листа, противостоит динамичной диагонали

далеких холмов. Мягкие, округлые очертания обрыва контрастируют с резкими, угловатыми формами стоящих на нем домов, с острой, зубчатой линией береговой кромки. Экспрессивны столь характерные для ксилографии соотношения черного и белого, воспроизводящие сложные конфликты света и тени. В то же время различные элементы пейзажа уподоблены друг другу, что создает впечатление их изначального родства, их принадлежности единому миру. Клубящиеся контуры древесной кроны повторяются в абрисе тучи; упрощенные силуэты лодок сходны с полосами земли на холмистых склонах; многочисленные переключки штриховых приемов в изображении неба и реки, рыбачьих неводов и деревьев вдали усиливают ощущение их общности. Художница идет здесь по пути, на котором, по словам В. А. Фаворского, «все произведение, его цельность становится как бы волной, поглощающей все предметы, которые тем не менее остаются...».

Осмысление противоречивости и одновременно своеобразного тождества составляющих частей композиции нераздельно связано с мотивом движения, пронизывающего весь лист. Эта тема возникает и благодаря многообразию способов гравирования, к которым обращается Нагорская. Пространственно глубоким и тревожным воспринимается небо, изображение которого построено белыми и насыщенными черными плоскостями с неровными краями, с беспокойно вторгающимися в них линиями, штрихами различной толщины. В контурах дерева, нависающего над водой, замкнут целый вихрь линий — горизонтальных, вертикальных и диагональных, изогнутых и волнообразных, сгущенных и разреженных. Подробная штриховая разработка преодолевает однородность темной массы берега и передает его объемы. Изо-

бражение сетей, выступающих из густой тени обрыва, созданное утонченными линиями и дробными точечными штрихами, вносит в гравюру неожиданную ноту изящества и придает ей образную завершенность.

В этом мире, воссозданном и преображенном творческой волей художницы, жизнь природы и жизнь человека протекают в их неделимости, в подвижной изменчивости и в постоянстве их сущност-

ных проявлений. Этот мир одновременно хрупок и защищен. Здесь ветхое рыбацье жилище упорно удерживается в зыбком равновесии на всех ветрах, на краю земли. Здесь ствол дерева низко стелется над водой, но сильная его крона устремляется вверх. Здесь рыболовные сети надежно укрыты под прочными береговыми сводами. Этот мир наполнен простым и всепоглощающим чувством притяжения жизни и этим — прекрасен.



АВТОРЫ НОМЕРА

Голикова Светлана Павловна — заместитель директора по научной работе Новосибирского государственного художественного музея.

Кармалита Кристина родилась в Новосибирске. Окончила факультет психологии Новосибирского государственного педагогического университета. Стихи публиковались в журналах «Сибирские огни», «После 12», «Ликбез» и др. Лауреат Международного конкурса драматургов «Евразия-2014» (1-е место в номинации «Пьеса для камерной сцены»). Член товарищества сибирских драматургов «ДрамСиб». Член Союза писателей России. Живет в Новосибирске.

Кирилин Анатолий Владимирович родился в Барнауле в 1947 г. Автор семи прозаических книг, изданных в Барнауле и Москве. Публиковался в журналах «Сибирские огни», «Алтай» и др. Живет в Барнауле.

Красильникова Екатерина Ивановна родилась в Новосибирске. Окончила Новосибирский государственный педагогический университет. Кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и политологии Новосибирского государственного технического университета. Автор книг «Новосибирский некрополь» (в соавторстве) и «Новый быт сибирского Чикаго». Живет в Новосибирске.

Кубрин Сергей родился в 1991 г. в г. Кузнецке Пензенской области. После службы в армии поступил на службу в органы внутренних дел. Работает следователем. Печатался в журналах «Урал», «Октябрь», «Волга», «Сибирские огни», газете «Литературная Россия» и др. Живет в Пензе.

Леснянский Алексей Васильевич родился в 1982 г. в селе Белый Яр Красноярского края. Окончил Хакасский институт бизнеса, факультет маркетинга. Публиковался в журналах «Урал», «Сибирские огни». Лауреат премии «Дебют» (2013), лауреат Международной литературной премии им. И. Ф. Анненского. Живет в Абакане, работает редактором сайта телекомпании.

Секретов Станислав Вячеславович родился в 1986 г. в Москве. Окончил филологический факультет Московского педагогического государственного университета. Как критик публиковался в журналах «Новый мир», «Знамя», «Дружба народов», «Урал», «Нева», «Волга», «Бельские просторы» и др. Живет в Москве.

Серебряная Леля (наст. имя Ольга Дмитриева) родилась в 1981 г. Работает редактором в издательстве Хакасского государственного университета им. Н. Ф. Катанова. Член Союза писателей России. Живет в Черногорске.

Шипилов Николай Александрович (1946—2006) родился в Южно-Сахалинске. Учился в авиационном техникуме и педагогическом институте в Новосибирске. Работал токарем, бетонщиком, штукатуром, монтажником, корреспондентом окружной военной газеты. Окончил в 1989 г. Высшие литературные курсы в Москве. Поэт и прозаик. Секретарь Союза писателей России. Автор нескольких романов и сборников рассказов. Автор и исполнитель песен, многие из которых вошли в бардовские антологии.

Частные лица и организации в Российской Федерации и в странах СНГ могут подписаться на журнал «**СИБИРСКИЕ ОГНИ**» в любом отделении связи — красный Объединенный каталог, подписной индекс — 46587.

Верстка: *О. Н. Вялкова*

Корректурa: *М. Н. Долгов*

630048, г. Новосибирск, ул. Вертковская, 10, оф. 315,
тел.: **(383) 344-92-94**
E-mail: **sibogni@sibogni.ru** Сайт: **сибирскиеогни.рф**



Сдано в набор 12.08.2015 г. Подписано в печать 9.09.2015 г.
Формат 70x108/16. Печать офсетная. Усл. п. л. 8,7.
Тираж 1500 экз.

<http://книгосибирск.рф/>

Во всех случаях полиграфического брака
просим обращаться в типографию.